ISSN 0027-8238

Пятидесятилетие Победы

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№2 1995



50-летию Победы посвящается

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым —
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья, —
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой,
Поклонимся за каждый смертный бой!

Михаил ЛЬВОВ



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей России
Издательско-производственное
обьединение писателей России
Международный фонд
славянской письменности и культуры
Сотрудники редакции
и члены Совета редакции

№2 1995

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Компьютерная верстка М. Г. Акколаевой
Оператор Ю. Г. Сотова
Корректоры С. А. Артамонова, С. Н. Извекова.

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222. Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 32. Телефоны: 200-24-24 (секретариат); 200-23-88 (отдел прозы); 200-24-90 (отдел поэзии); 921-48-71 (отдел очерка и публицистики; отдел критики); 921-43-59 (технический центр); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 01.01.95. Подписано в печать 07.02.95. Формат 70 x 108 1/16. Бумага газетная. Офсетная печать. Усл.печ.л. 16,8. Усл. кр.-отт.17,5. Уч.-изд. л. 18,6. Тираж 28 523 экз. Заказ 250. 103750, Цветной бульвар, 32. Ордена “Знак Почета” типография “Красная звезда”, 123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ПОЭЗИЯ



50-летию Победы посвящается

ЮРИЙ ЛАБРЕНЦЕВ



ДОМ

(главы из поэмы)

Д Ы М Ы О Т Е Ч Е С Т В А

* * *

Листаю памяти архивы.
И видится разрывов дым,
Пожаров огненные гривы
Да фронтовых дорог извивы,
Что нам достались, молодым.

...Тогда, в строю гвардейской части,
В окопной слякотной ночи,
Казалось мне пределом счастья
Поспать разутым у печи.
Но по ступеням лет шагая,
В тепле ухоженных квартир
Менял я свой ориентир,
Передовую забывая,
Как уцелевший дезертир.

И ныне, млея в благах быта,
У телевизора в плену

ЛАБРЕНЦЕВ Юрий Эдуардович родился в Ленинграде в 1925 году. Прошел героический боевой путь по фронтовым дорогам. В 1955 — 1957 годах был председателем колхоза-“тридцатитысячником”. По своей основной профессии — художник-конструктор. В “Нашем современнике” публикуется впервые. Главы из его поэмы “Дом” печатаются в журнальном варианте. Живет в Санкт-Петербурге.

Живу, позевывая сыто,
Смотрю, читаю про войну,
И вдруг всерьез, полусердито
Себя сомненьями кольну:
Да был ли, был ли я когда-то
В одной траншее с тем солдатом,
Что, опустив свой меч устало,
Глядит сурово с пьедестала?
А может, мне бывалый кто-то
Поведал правду о войне?..
Но вот же — выцветшее фото,
Где я на танковой броне.
И вот они, мои медали
За Вену и за Будапешт...
Выходит, был. Глаза видали
Ту жаром брызнувшую брешь
И люк спасительный, мелькнувший
Кусочком неба в дымной мгле...
Был грохот, башню отшвырнувший.
Но я уже слетел к земле.
Успел слететь. Успел прижаться.
Успел чуть-чуть переползти.
А где-то — вовремя подняться,
А где-то — впадинку найти...

* * *

По всей стране однополчане
Стоят, впрессованы в гранит.
Стоят с потухшими очами.
Стоят с заглохшими речами.
За них минутами молчаний
Война с живыми говорит.

Но слышит ли потомок близкий,
Как примогильная трава
Оттуда, из-под обелисков,
Доносит скорбные слова:
— Не для того мы леденели
В снегах под реквием ветров,
Чтоб хомяками вы сидели
В уютных норах из ковров...

Не для того! Не для того
Мы встали насмерть: кто — кого!

Порой с последним сухарем,
В грязи, неделями без сна,
В жару, в мороз и под дождем
Служили мы тебе, страна.
Служили честно. Как могли.
Мы с поля боя не ушли.
Нас, мертвых, братья унесли.

Везде — в лесах и на стерне
Лежали мы, как дань войне.
Кто на боку, кто на спине.
Искорчась. В ужасе гримас.
С шарами выпученных глаз.
Со ртами в розовой слюне...
Лежали в жуткой тишине,
Как невзорвавшийся фугас...
— Родные! Помяните нас

В послепобедном вашем дне.
Не ради нас. Нам не ожить.
Для вас. Чтоб совестливей жить.

* * *

О чем скорбят убитых кости,
Об этом знаем только мы,
Кто черпал лиха полной горстью,
Кто клялся мертвым на погосте
И — выжег гнездище чумы.

Мы — не безвестные герои,
Как о погибших говорят.
Мы те, оставшиеся "трое
Из восемнадцати ребят".

Мы те, оставшиеся "трое"
От всех несчитанных атак.
Мы не юлили пред судьбою.
Мы шли вперед от боя к бою
И — взяли все-таки рейхстаг!

* * *

Мне ль недовольным быть судьбой?
Мне ль называть ее превратной?
За все рубцы передовой,
За все страданья жизни ратной
Мне было воздано с лихвой,
Когда отправился обратно
С войны с победою домой.

Мы ехали тогда в теплушках.
Пыхтел румынский паровоз.
Вино плескалось в мятых кружках...
Ох, как мы ждали этот мост!
Ох, как мы ждали: скоро ль, скоро
Та пограничная река,
За серединою которой —
Россия, наши берега?..
И — вот она!
Из всех вагонов
Волною крики торжества.
Орали метрах еще в ста
От пограничного поста...
А там!..
У вскопанных газонов,
Без орденов и без шевронов,
В зеленых новеньких погонах
Стоял парнишка — страж моста.

И был такой он симпатичный,
Такой геройский паренек —
Стоял, как будто самолично
Один для всех страну сберег.

Ему братва "ура" кричала.
А поезд шел по колее,
Катил нас — жизнь начать сначала,
Катил — по милой нам земле.
И, вмиг забыв метели, грозы,

Безумье пролитых кровей,
Мы, будто девицы-мимозы,
Уже не сдерживали слезы:
Прими, Россия, сыновей!
Ты погляди-ка, ты послушай,
Как проняло фронтовиков.
Как мы, вытряхивая душу,
Горланим с присвистом "Катюшу"
Да не жалеем каблуков.

Потом ФД-локомотив,
Легко вагоны подхватив,
В родные дали нас помчал.
А я в дверях страну встречал.
Встречал столбы и провода,
Составов налетавший грохот.
Встречал мосты, дома, стада,
А где-то кустик у пруда.
...А за спиной взрывался хохот,
И пляс дробил распев баянный.
И мчался поезд. Мощный. Рьяный.
Единственный из поездов,
В котором я, от счастья пьяный,
Подставив грудь ветрам с садов,
Вдыхал в прогорклости дымов
Земли весенней запах пряный.
А ветер пел мне: "Жив... ты... жив..."
И этот радостный мотив
Поныне слышу я порой,
Когда идет солдатский строй.
Я в те минуты сам не свой.
Я рад, что нет за мной вины,
Что там, в огне передовой,
Мы не стояли за ценой.
Спасибо, друг, товарищ мой,
Соратник, ветеран войны!

ИЗВЕЧНЫЙ КРУГ

* * *

Когда почил правитель грозный,
То новый, спрятав страх былой,
Велел тернистый путь колхозный
Расчистить кадровой метлой
И тридцать тысяч добровольцев
Призвал на выручку в село,
Туда, где вольничало Зло,
Где лиходеям и пропойцам
Досталось кормчее весло.
Так, по велению Кремля,
В колхозах встали у руля
Избранники — "посланцы града".
Самоотверженного склада,
Войной обстрелянный народ,
Из тех, кто слыша: — Братцы, надо!.. —
Чеканит три шага вперед.
Мечталось им поднять колхозы,
Взять штурмом планов высоту.
А там — надои: смех и слезы,
И ни копейки на счету;

А там — растерзаны дороги,
И нет житья от сорняков:
А там — пять девок да убогий —
Единственный из "мужиков".
И никнет в поле спелый колос.
И тщетно травы ждут косу.
И редко-редко детский голос
Аукнет в ягодном лесу...
Там корни вырваны войной
И стройками "любой ценой".

* * *

Вошел, пригнувшись, председатель
В избушку из дровяника.
Вошел, как, может быть, предатель
Входил с повинною в ЧК.
Вошел и жалкий, и суровый:
Заел проклятый скотный двор.
Опять не до́ены коровы.
Опять нелегкий разговор.
Вошел. С порога буркнул: — Здрасьте!
И стал понуро у окна.
В углу кровать. Доярка Настя
Лежит в испарине. Больна.
На лавке в страхе две девчонки
Застыли с куклой из чулка.
Худы, белесы, как опенки.
Глаза — четыре василька.
У печки возится стряпуха.
Взглянула — будто на врага.
Совсем стара. Туга на ухо.
Седа, согбенна, как яга.
Уж эта слезынек хлебнула
На поминальных киселях.
Лишь одного война вернула.
С медалями. На костылях.
Пришел. По первости старался,
Пока не ткнулся в борозду.
Да так, считай, что не поднялся.
Оставил сирот на нужду.
Ту, про́клятую, что постыло
Глазеет изо всех углов.
Нужду, что тучею наплыла
Из ненасытных городов.
Молчи, деревня! Притерпись!
Но дураки перевелись.
И если свалится доярка,
То на замену дуры нет.
И у начальников запарка:
Беги, уламывай чуть свет
Калеку или перестарка,
Сули за труд покосы, дров.
Не то хоть сам дои коров.

Доить-то ведь не аппаратом,
Как в электрическом раю.
Тут надо пальцами, захватом
Тягать молочную струю.
Тут надо ледянистым скатом
Не раз, не два сходить к ручью, —
Хоть мало-мальски напоить,

Хоть мало-мальски обрядить
Четырнадцать!
Не двух, не трех.
Хоть как очистить от лепех...
Так трижды в сутки. День за днем.
Зимой. С коптящим фонарем.

Прогнала бабка бригадира.
Мол, ирод, нашивал ли крест?
Да мне с картошины мундира
Пальцами нонечь не соскресть.
И вот явился председатель.
Сам соизволил бить челом.
Стоит, как жалобы податель,
Стеснив собою утлый дом.
Гремели ходиковы стуки.
Фырчал из печи чугунок.
А старая подняла руки:
—Ты посмотри на них, сынок...
И руки будто заскрипели,
Как сухостой скрипит в лесу.
Они, казалось, еле-еле
Ладони держат на весу.
О, эти руки! Руки-крюки!
Где отыскать для них слова?
Их осквернила бы хвала.
В них безобразье долгой муки
В трудах, униженных до зла.
Мослы. Да мышц сухое лыко.
Да кожа — сморщенный наждак.
Да вен бугрится голубика.
Да ногти — ломаный пятак.

Ну, что тут скажешь после вздоха?
Тут пасть, колена преклоня.
Но председатель знал, пройдоха,
Какого выпустить коня:
— Прости нас, бабушка Прасковья,
Коль виноваты пред тобой.
Но в чем, скажи, вина коровья?
За что до срока на убой?
Скажи, крестьянское ли дело,
Чтоб молоко перегорело?
Когда ж, скотину заведя,
Себя жалели, ей вредя?

Молчала, глядя в пол, старуха.
Дрожала мелко голова.
И, наконец, сказала сухо:
— Бесстыдники... Хозяева-а!
Был тихим голос хрипловатый,
Но плетью свистнули слова.
Уж лучше б выстрадалась матом.
Как плюнула: хозяева-а...

И десять дней она доила,
Поила, чистила, кормила.
Собрав последние силенки
Своих стожильных бабьих рук.
И помогали ей девчонки,
Две белобрысые внучонки
Не разорвать извечный круг.

Извечный круг трудов безликих.
Трудов, забывших про корысть.
Трудов поистине великих,
Что для Прасковьи — просто "жисть".
Та жизнь, что, будто на приколе,
Кружилась: дом, коровник, поле.
Где в каждой тропке навсегда
Утоптаны ее года.
Та жизнь, в которой воедино
Слились и люди, и скотина,
И ключ, сбегающий с холма.
И та, у кузницы, рябина,
Что горько-сладкая в мороз.
И внученьки — кровинки сына.
И кладбище в тени берез.
И горемыка их колхоз,
Где корм весною — с крыш солома...
Здесь все ей дорого до слез.
Здесь все до радости знакомо.
И, воротясь со стороны,
Она, как бы крестясь от грома,
Как бы снимая груз вины,
Здесь тихо шепчет: — Вот и дома...
И услаждает вздохом грудь.
Мол, остальное — как-нибудь.
Мол, остальное — преходяще,
Любою мерой — суета.
Ведь только дома настоящи
И смех, и грех, и красота,
И настоящий виден друг,
Что не допустит до беды,
Не даст порвать извечный круг,
Предать прапрадедов труды.

....

Насупленный северо-запад.
Поля, как нищая сума.
Деревня будто драный лапоть
В сугробе голого холма.
Лесов ершистая щетина
Да неба серая холстина —
И ветер... Ветер леденящий,
Наотмашь хлещущий кусты.
Летит он к жизни настоящей
От этой мрачной скукоты.
Ему бы говор, смех услышать
Да звонкий голос топора.
Но под соломенные крыши
Забились звуки до утра.
И тщетно в каждое окошко
Стучится ветра мокрый плащ:
Кой раз почудится гармошка,
Да то ли песня, то ли плач.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ

* * *

Бывают странные минуты,
Когда в обыденном, простом
Вдруг видишь гибельный симптом,

И хочется кричать кому-то
О человеке за бортом.

...В погожий ранний летний день
Я брел под птичью разнозвень
Дорогой, что в лесу плутала.
И вдруг, — как будто ночь упала —
Автобусы!.. Штук пять подряд.
Все фары в полный свет горят.
А впереди эскорт охранный
На синей "Волге" офицер
Ведет, — как будто бы туманный
Огородил его барьер.
Едва ползет кортеж машин
Среди корней, как между мин:
Чуть что — и вся-то недолга!
Бывало, так же, где поглуше,
Крались гвардейские "катюши"
Обрушить ужас на врага.

И будто порохом пахнуло
Оттуда, из времен войны.
И тотчас каски-валуны
Нацелили мне в спину дула.
Вот-вот бабахнут из укрытий.
Уж смолк пугливо птичий свист,
И паучок на тонкой нити
Недвижно в воздухе повис.
Я замер. Близится колонна.
Моторы тягостно рычат.
Но нету никаких солдат.
Ни касок нет, ни шлемофонов...
Из всех автобусных салонов —
Панамки белые торчат!

Панамки! Вот так визитеры!
А я-то, старый баламут,
Понапридумал страхов гору.
А тут — среди цветущей флоры
Детишек бережно везут.

Торжественны шоферов лики.
Ведь если в завтра посмотреть, —
Везут судьбу Руси Великой
На летних дачах здороветь.

Смотрю. Мечусь по лицам взглядом.
Мне машет, машет мелюзга.
Мне. Только мне! Всем детским садом.
А я — как вождь перед парадом.
Идут, идут мои войска.
Стою. Приветствую рукою.
Стараюсь чувств не обнажать
И не могу. В душе — такое...
Никак слезы не удержать.
И в том счастливом озаренье
Открылся мне предел Добра —
До полного самозабвенья,
Последней искорки костра.
Оно прекрасно и трагично,
Как та заря на грани дня,
Которой очень, очень лично

Под вечер в тишине больничной
Ожгло пожизненно меня.

Тогда в палате у окна
Лежала мать моя в постели.
Суха, изморщенна, бледна.
И лишь глаза слезой блестели,
Когда, с трудом дыша, она,
Тревожась обо мне, шептала:
— Иди, сынок... тебе пора...
До завтра... Тут же — медсестра...
То было. Было, как вчера.
А "завтра" — маму не застало:
Она скончалась до утра.

То было. Да пребудет вечно
Душа людская человечна!
И мы, когда настанет срок
Последний выдохнуть глоток,
В свое прощанье-одночасье
Последним подвигом своим,
Последними слезами счастья —
Детей на жизнь благословим.

* * *

...За поворот ушла колонна.
Ушла. Рассеялись дымы.
И замела живая крона
Ее железные шумы.
Но я с тех пор, с того свиданья,
Когда взахлеб зовет печать
Любой дорогою домчать
До "рая благосостоянья", —
Хочу, забыв про опозданье,
Вослед автобусам кричать:
— Шоферы! Скорости умерьте.
Не важно — долог ли маршрут.
В сто крат важнее — ЧТО в бессмертье
От нас панамки повезут.

А вдруг у них не будет Дома,
Чтобы вьюнок глазел в окно,
Не будет речки и парома,
Не будет радуги и грома —
Всего того, что быть должно.
И вот уже луга, леса
И все земные чудеса:
Морской прибой и летний жар,
И каждый ершик, и комар —
Переработаны в товар...
И жизнь роями трупных мух
Последний испускает дух...

Как голый череп, Шар Земной
Летит орбитою иной...
Угас лазурный свет короны.
Мертвы промышленные зоны.
Лишь где-то роботы, урча,
Еще грызут, как саранча,
Товаролома терриконы
Да спутник, жалобно пища,
Как пес, хозяина ища,

Кружит, понурив элероны.
Все смолкло. Кончен пир маммоны.
Летит пустой глобальный склеп.
Сожрал планету ширпотреб.

....

Нас могут, славя по делам,
Внести иконой в храм столетий.
Нас могут выбросить, как хлам,
И могут вовсе не заметить.
Но цену истинную нам
Назначат собственные дети.

Не памятником, не крестом,
Не плачем в день поминовенья —
Своей судьбою, как судом,
Дадут нам дети срок забвенья.

И это время не вдали...
Но виноваты ли мы в том,
Что, побеждая, не смогли
Наследникам оставить Дом —
Такой, чтоб рос и вширь и ввысь.
Чтоб только честью в нем клялись.
Чтоб в нем по доброй эстафете
Не обижали чудаков,
Мечты не мяли в первоцвете
И чтили думы стариков.
Чтоб Дом вовеки не подгнил,
Скрепляясь памятью могил.
Той памятью, что не минуть,
Коль ищешь в злом тумане путь
И в слове — толк, и в деле — суть.

Автор перечисляет свой гонорар
в фонд помощи журналу “Наш современник”



**Высокопреосвященнейший ИОАНН,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский**

РУСЬ СОБОРНАЯ

(ОЧЕРКИ ХРИСТИАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ)

Глава 4

"БОГА БОЙТЕСЬ, ЦАРЯ ЧТИТЕ..."

(Империя и соборность)

(Окончание главы)

Империя и земство

Строго говоря, "эпоха земских соборов" заняла на Руси всего полтора столетия. Первый земский собор, созванный царем Иоанном "на двадцатом году возраста своего", то есть в 1550 году, отделяют от последнего, который созвал Петр Великий для суда над царевной Софьей в 1689 году, лишь 139 лет — срок, по меркам тысячелетней российской истории, не такой уж большой. И тем не менее было бы непростительной ошибкой считать, что именно этими жесткими временными рамками ограничивается жизнь русской соборности. Являясь одним из основополагающих свойств нашего национального бытия, она — в разных формах, различными путями и с разной степенью интенсивности — определяла его течение неотступно на протяжении всей истории Руси, с момента крещения в днепровском потоке и до наших дней.

Расцвет земских соборов, их "золотой век", приходится, как мы уже видели, на время царствования Михаила Феодоровича Романова. Со второй половины XVII столетия их деятельность начинает постепенно затухать. Собор 1653 года, принявший историческое решение о воссоединении Малороссии (Украины) с Россией, явился, по мнению некоторых ученых, последним земским собором, где были полнокровно представлены все сословия государства, где обсуждались вопросы поистине общегосударственной важности.

Впрочем, и после него проходили соборы, но их принято называть "неполными". Они обсуждали разного рода частные вопросы, и представлены на них были депутаты от заинтересованных сословий. Общее же число земских соборов, заседавших на Руси, превышает три десятка, и лишь эпоха обвальных петровских реформ окончательно подвела черту под их законотворческой деятельностью. Сам Петр, между прочим, был избран на царство именно собором, который в 1682 году возвел на престол сперва его — десятилетнего отрока, а затем, через месяц, — его шестнадцатилетнего брата Иоанна*.

Продолжение. Начало в №№ 8—11-12 за 1994 год.

* Иоанн V Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича и его первой жены, Милославской, был ребенком слабым и болезненным: страдал цингою и плохо видел. Именно он был законным наследником престола после смерти Феодора Алексеевича (1682 г.), но боярская партия Нарышкиных обошла его и провозгласила царем малолетнего Петра. Тут, однако, взбунтовались стрельцы, и во избежание новой смуты собор решил венчать на царство как Иоанна, так и Петра. 25 июня 1682 года оба малолетних монарха были торжественно коронованы в Кремле, а 29 января 1696 года Иоанн скоропостижно скончался, оставив державу в руках своего младшего брата.

О причинах упадка соборного управления в российской исторической науке не сложилось единого мнения. Одни ученые (например, Б. Н. Чичерин или С. М. Соловьев) полагали, что земские соборы к концу XVII — началу XVIII века просто изжили себя как государственный институт, оправданный, целесообразный и жизнеспособный лишь в годину смут и державных нестроений. Это верно лишь отчасти, хотя пик соборной активности в России действительно приходится на время боярских междоусобиц, и заняты соборы, в основном, ликвидацией их тяжких последствий.

Уже о первом земском соборе летописец говорит: "Видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправды, умыслил Иоанн, впоследствии Грозный, смирить всех в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить вражду, приказал он собрать свое государство из городов всякого чина". Это, казалось бы, подтверждает мнение, что соборы родились именно и исключительно как орудие всенародной борьбы со смутой.

Но все же их роль этим далеко не исчерпывалась. Нельзя забывать, что эпоха земских соборов есть одновременно эпоха напряженного державного строительства на Руси, эпоха ее активного геополитического становления, в результате которого Великое княжество Московское из татарского данника превратилось в крупнейшую империю мира. И в том, что это произошло, несмотря на все препятствия и противодействия, — заслуга земских соборов велика и несомненна.

Другие историки (такие, как К. С. Аксаков) утверждали, что земские соборы стали уникальным по своей эффективности инструментом становления общенационального нравственно-религиозного единства, важнейшим орудием его защиты и гарантом тесной связи Верховной власти с народом, гарантом того, что важнейшие народные нужды станут одновременно и важнейшими приоритетами государственной политики, главными заветами Русского Православного Царя. В соответствии с такой точкой зрения ликвидация Петром этой самобытной государственной структуры знаменовала собой разрыв с живой народной традицией, отход от исконного "русского пути развития" и ставила московское самодержавие на путь превращения в "петербургский абсолютизм", выстроенный по чуждому, западноевропейскому образцу.

В такой точке зрения, несомненно, много правды. И все же представляется, что истина находится где-то посередине.

С одной стороны, соборы, сыгравшие решающую роль в бурных событиях XVII столетия, стали для Российской Империи слишком медлительными и неповоротливыми. Московская старина, дышавшая в них, любила последовательность и постепенность, плохо сочетаясь с возросшим темпом жизни, быстро и неожиданно ставившей перед русской государственной властью все новые и новые задачи. Кроме того, в условиях стабильной государственности потребность в соборном разрешении многих проблем просто-напросто отпала, ибо "в рабочем порядке" обычного делопроизводства они решались и скорее, и проще.

Но с другой стороны, все эти недостатки относились лишь к внешней, организационной форме земских соборов в том виде, в каком она сложилась за время их активной деятельности. Они ни к коей мере не затрагивали благотворную сущность христианской соборности, не касались ее духовного, мистического основания. Русское народное представительство, столь ярко и действенно явившее себя под покровом благодатного соборного начала, нуждалось, возможно, в некоторых внешних исправлениях и поправках. Но его полное упразднение стало одной из тех роковых ошибок, которые предопределили беспрецедентную трагичность русской истории, распад российской православной государственности и нашу нынешнюю разруху...

Надо, однако, ясно понимать, что упразднение земских соборов как таковых вовсе не оборвало саму соборную традицию народной жизни. В зависимости от исторических обстоятельств может исчезнуть тот или иной государственный институт, но никакими силами нельзя изменить многовековое преемство исторического бытия многомиллионного народа, основополагающие принципы его общественной самоорганизации. Пусть земские соборы исчезли, но соборный идеал, укорененный в глубинах нравственно-религиозной жизни Руси, остался.

Остался как единственный способ достичь извечной цели стремлений русского человека — "смирить всех в любовь". Или, говоря научным слогом известного

русского мыслителя-славянофила А. С. Хомякова, достичь "единства в многообразии", гармонично соединяющего все культурное, национальное и бытовое многоцветие Империи вокруг общего духовного стержня, придающего человеческой жизни вечный, непреходящий смысл.

Соборность, как идеал русского державного бытия и как (в большей или меньшей степени) неустранимый факт реальной жизни народа, диктовала условия даже такому радикальному реформатору, каким был Петр Великий. Государь, который, говоря словами Пушкина, "уздой железной Россию вздернул на дыбы", хотя и находился под мощным влиянием европейской культуры, так и не смог (да хотел ли?) до конца порвать с традиционной основой самоорганизации российского общества.

Будучи по широте натуры и образу чувств подлинно русским человеком, Петр не мог не видеть положительных сторон соборного строя и понимал силу его благотворного влияния на систему государственного управления Империей. Но, увы! — европейское умственное иго привело к тому, что преобразователь России попытался по образцу "просвещенной" Европы заменить соборность коллегиальностью. Мы уже указывали на то, сколь тяжелыми стали последствия такой неравноценной замены в церковной области. Нечто подобное произошло и в области гражданской, светской, государственной.

При некотором внешнем сходстве внутреннее различие двух этих форм общественной самоорганизации разительно и неустранимо. Если соборность предполагает в качестве своей необходимой основы наличие органической общности мировоззрения (то есть цель соборов есть всеобщее — непременно всеобщее — примирение и объединение в рамках некоторой высшей идеи), то коллегиальность являет собой простое "механическое", внешнее сотрудничество.

Если соборность предусматривает нравственную цельность и монолитность соборян, которая одна лишь делает возможным доверие нации к самодержавному монарху, ощущение гражданского долга как религиозного переживания, мистического призвания,— то коллегиальность, напротив, представляет из себя систему тотального недоверия. В основе такой рационалистической системы лежит убеждение в том, что все люди по природе своей недобросовестны и лишь взаимный контроль членов коллегии друг над другом позволяет избежать печальных следствий людских пороков и страстей.

В области государственного управления, да и не только в ней, существуют, конечно, вопросы, решение которых лучше всего обеспечивается коллегиальным путем. Вряд ли следует огульно отрицать целесообразность коллегий как одного из инструментов государственной власти. И все же надо ясно видеть, сколь ограниченны возможности коллегиального принципа там, где ситуация требует не рутинной, механической работы, но душевного труда, сердечной зрелости и духовного разумения жизненных коллизий...

Петр Великий не оставил своим преемникам сколь-либо стройной системы державного обустройства земли Русской. Разрушено было более, чем создано, тем паче, что многочисленные новации "царя-плотника" далеко не всегда оказывались жизнеспособными, часто умирая, едва успев родиться. Среди наиболее явных недостатков государственного управления Российской Империи выделялось отсутствие института, аналогичного земскому собору, инструмента, который помогал бы самодержцу ощутить острейшие народные нужды, "из первых рук" узнать о том, что тревожит его многочисленных и разнообразных подданных.

Сей невосполнимый пробел явственно обнаружился сразу после смерти "великого преобразователя" — с 1725 года и едва ли не до конца XVIII века одна за другой предпринимались безуспешные попытки разработать и принять новое Уложение, новый Основной Закон государства, который мог бы заменить "устаревшее" Соборное Уложение 1649 года. С этой целью неоднократно пытались созвать представительную комиссию, в которой были бы отражены интересы всех сословий.

Однако чиновничье-бюрократические методы всякий раз приводили к тому, что собрать требуемое число делегатов никак не удавалось, а если, наконец, это все же получалось, то очередной дворцовый переворот сводил на нет все предыдущие труды. Выборы новых делегатов на местах проводили спустя рукава, уже

выбранных посылали в столицу неохотно — и в результате ни одна комиссия даже не приступила к работе.

Так продолжалось до тех пор, пока внутриполитическое положение России не стабилизировалось при Екатерине Великой, которая не замедлила воспользоваться этой передышкой, дабы в очередной раз попытаться восстановить разрушенную связь между царским престолом и широкими народными массами. За время царствования сей государыни произошло два события, которые несли на себе несомненный отсвет идеи соборного народного представительства: созыв Уложенной комиссии и реформа местного самоуправления.

14 декабря 1766 года Императрица издала манифест, которым призвала представителей различных сословий "не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но допущены они быть имеют в комиссию, которой Мы дадим наказ для заготовления проекта нового Уложения". И действительно, в отличие от предыдущих комиссий, оставшихся, несмотря на все старания их организаторов, только на бумаге, — эта была собрана и приступила к работе.

В ее деятельности приняли участие 564 депутата: 28 от правительства, 161 от дворянства, 208 от горожан (из них 173 представляли купечество), 54 от казаков, 79 от государственных крестьян и 34 от иноверцев*. Единственным сословием, не допущенным к работе в комиссии, стало крепостное крестьянство, ибо предполагалось, что интересы своих крестьян смогут достаточно полно представить помещики, кровно заинтересованные в том, дабы их кормильцы не оскудели и не разорили своих хозяев.

Таким образом, можно вполне обоснованно утверждать, что и по составу, и по задачам комиссия, созванная Екатериной II, являлась почти полной копией земского собора. Но были у них и весьма существенные различия. В первую очередь это касается степени участия представителей духовенства в решении важнейших вопросов обустройства страны. Если ранее на соборах были широко представлены как епископат, так и рядовое духовенство, равно белое и черное, — то теперь единственным представителем Церкви в комиссии оказался митрополит Димитрий (Сеченов), представлявший там Святейший Синод.

Открытие заседаний состоялось 31 июня 1767 года. Полтора года делегаты поработали более или менее продуктивно, но 18 декабря 1768 года, по случаю начавшейся войны с Турцией, комиссия была временно распущена. Больше в полном составе она так никогда и не собралась. Отдельные ее комитеты работали, однако, и далее, вплоть до 1774 или 1775 года. Несмотря на то, что свою основную задачу комиссия так и не выполнила (новое Уложение, вопреки всем стараниям, не было составлено), работа ее принесла, по словам Екатерины, немалую пользу, ибо подала "свет и сведение о всей Империи, с кем дело имеем и о ком пещись должны".

Можно почти наверняка утверждать, что именно труды этой комиссии помогли Императрице осуществить конструктивную реформу местного самоуправления, в результате которой применительно к новым историческим условиям были восстановлены традиционные для Руси начала сословной и территориальной самоорганизации. Здесь, как и во многих других случаях, свое новое воплощение (пусть неполное, частичное) нашла неистребимая русская жажда соборного единения, органично включающего в себя механизмы местного самоуправления как свидетельство полного доверия Государя своим верным подданным...

И все же, несмотря на очевидную необходимость, земский собор на Руси в XVIII столетии так и не был созван. Такой печальный результат стал следствием целого ряда причин, характер которых в равной степени обуславливался и объективными, и субъективными особенностями развития России.

Одна из них — бурный процесс экономической и политической дифференциации российского общества, сопряженный с постепенным, но неуклонным разру-

---

* Обратите внимание: никакого ущемления прав ни по национальному, ни по вероисповедному признаку! Иноверцы участвовали в работе комиссии совершенно наравне с русскими православными делегатами. И это никому не мешало, ибо стержневая, фундаментальная роль традиционных русских святынь в деле державного строительства была очевидна для всех. Иноверческие делегаты прекрасно понимали, что их единоплеменники, соединив свою историческую судьбу с Россией, будут процветать лишь в том случае, если будет силен, един и жизнеспособен державный хозяин Российской Империи — русский православный народ. Нам бы сейчас побольше такого понимания!

шением той сословной организации, которая из века в век являлась становым хребтом русского государства.

Социальные реформы Петра и его последователей носили весьма однобокий характер. Стремление сделать из дворянства главную опору престола привело к тому, что социальная политика правительства была направлена на освобождение дворян от всякой государственной повинности и дарование им многочисленных льгот и преимуществ. А это, в свою очередь, привело к тому, что равновесие сословных прав и обязанностей между крестьянством и дворянством (двумя основными сословиями Руси), которое долгое время цементировало всю сословную пирамиду российского государства, придавая ей устойчивость и крепость, было грубо нарушено, а затем и вовсе упразднено.

В результате последовательных и целенаправленных реформ Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра Феодоровича и Екатерины Алексеевны дворянство постепенно превратилось из служилого сословия, характерным признаком которого являлись жестко определенные обязанности перед государством, — в сословие привилегированное, главной особенностью которого стали особые, исключительные права на владение землей и людьми. Немудрено, что такие перемены вызвали серьезное недовольство крестьян, которые были согласны безропотно переносить тяготы крепостного права лишь твердо зная, что государство обязывает их работать на помещиков именно потому, что помещики сами обязаны служить государству, то есть одна повинность обуславливается и уравновешивается другой.

Освобождая помещиков от служилой повинности, Верховная власть должна была ради соблюдения социальной справедливости освободить и крестьян из их крепостного состояния. Однако никаких шагов в этом направлении в течение всего XVIII столетия не предпринималось (исключение составил лишь император Павел I), что порождало естественное недовольство крестьян, видевших в этом явную несправедливость(1).

В результате катастрофически разрасталось отчуждение между двумя основными общественными сословиями, росла пропасть взаимного недоверия и непонимания, углублялись различия в культуре, мировоззрении, быте и образе мыслей.

Автор знаменитой "Книги о скудости и богатстве", крестьянин И. Т. Посошков, отражая растущие противоречия между земледельцами и их хозяевами, еще в царствование Петра Великого писал: "Крестьянам помещики не вековые владельцы.., а прямой их владелец Всероссийский Самодержец, а они владеют временно". В таких условиях созыв земского собора, который, несомненно, принял бы к рассмотрению несправедливость сложившегося положения, был дворянству не нужен, да и невозможен, ибо Верховная власть, на заступничество которой уповал Посошков, сама не считала благовременным поднимать сей большой вопрос.

Итогом всему явился процесс расщепления единого соборного тела народа на две неравные части, каждая из которых мало-помалу начинала жить собственной замкнутой жизнью. После окончательного закрепления за дворянством его привилегированного статуса не прошло и полутора столетий, как страшные последствия нарушения сословной справедливости завершились крахом Российской Империи, революцией и гражданской войной...

Другой причиной того, что соборный процесс в России на общегосударственном уровне в XVIII веке был прерван, стала законодательная неурегулированность процессов престолонаследия, порождавшая постоянную политическую нестабильность. В 1722 году Петр I издал указ, согласно которому царствующий император произвольно назначал себе наследника, которым мог стать всякий, кого он сочтет достойным сего высокого звания.

Петра можно понять — его конфликт с сыном (царевичем Алексеем, ставшим самым серьезным политическим противником реформаторского курса отца) закончился казнью законного наследника, обвиненного в государственной измене. Детские воспоминания государя, ставшего в девятилетнем возрасте заложником дворцовой интриги, основанной на внутрисемейном конфликте среди царских родственников, тоже подталкивали его к тому, чтобы разорвать устоявшуюся традицию, согласно которой престол наследовался по прямой линии — старшим сыном почившего самодержца.

Но, по иронии судьбы, первой же жертвой нового порядка престолонаследия стал сам Петр. Опасаясь заранее назначить наследника взамен казненного Алексея (а может, просто надеясь на долгую жизнь и спокойную старость), царь, неожиданно простудившийся и смертельно занемогший, — оставил Российскую Империю без престолопреемника. Предание гласит, что, уже отходя в мир иной, государь успел лишь прошептать приближенным: "Оставьте все..." — и усоп.

Кому хотел передать Петр Великий бразды правления державой? Мы никогда не узнаем этой тайны. Несомненно, однако, что результатом такой непредусмотрительности стала жесточайшая борьба за власть, терзавшая придворные петербургские круги долгие десятилетия подряд. В ходе этой борьбы многочисленные претенденты на престол наперебой стремились заручиться поддержкой столичной гвардии, чехарда дворцовых переворотов отодвигала насущные государственные проблемы на второй план, а стремительные взлеты и неожиданные падения фаворитов привлекали гораздо больше внимания, нежели повседневные нужды огромной империи. Само собой разумеется, что в подобных условиях вряд ли могли родиться серьезные планы целенаправленного обустройства русского общества...

В XIX столетии характер сословной политики государства определили два ключевых события, решающим образом повлиявшие на взаимоотношения Верховной власти и высших общественных слоев России. Первое из событий — убийство в 1801 году императора Павла Петровича. Расследование выявило, что ядро заговора составляли представители наиболее привилегированной части дворянства — гвардейские офицеры. Второе событие — мятеж "декабристов" в 1825 году(2).

Суть этих событий была очевидна. Так же, как некогда переродилось боярство, превратившись из главной опоры княжеской власти, всецело способствовавшей "собиранию Земли Русской", в источник бесконечных местнических усобиц, жестоких смут и мятежных поползновений, угрожавших самому бытию российского государства, — так и дворянство к началу XIX века утратило понимание высшего, нравственно-религиозного смысла своего сословного служения*.

Представители сословия, добившегося в общественной иерархии Российской Империи исключительных преимуществ и льгот, забыли о тех обязанностях, с которыми эти льготы сопряжены, и устремились к завоеванию новых, мнимых "прав" — главным образом права решающим образом определять государственную политику во всех важнейших областях действия Верховной власти. Иначе говоря, дворянство перестало быть надежной опорой престола.

Излишне говорить, что смириться с таким положением не мог ни один русский государь. Несмотря на все искания, сопряженные с нарушением соборной организации русского общества, Императоры Всероссийские оставались все же олицетворением власти Божией, а значит — нелицеприятной, надсословной, беспристрастной и равно внимательной к нуждам всех своих подданных. Так же, как Цари Московские ни при каких обстоятельствах не соглашались стать царями "боярскими", венценосные вожди Российской Империи не собирались становиться "дворянскими" императорами.

В реальной политической жизни это означало, что необходимо было быстро найти (или воспитать) другую силу, которая нарушила бы дворянскую монополию на участие в государственном управлении и создала бы дополнительную опору Верховной власти в ее стремлении остаться выразительницей общенародных нужд.

Говоря языком современной политической аналитики, перед Верховной властью со всей остротой встал вопрос о необходимости замены общественной элиты,

---

* С точки зрения социальной аналитики, каждая из важнейших общественных функций имеет своих "социальных носителей" — группу людей, профессионально ответственных за обеспечение эффективности идеологического, экономического или политического управления обществом и государством. Когда эти люди, которых в современной политологии принято называть собирательным термином "элита" (от французского "elite" — лучшие, отобранные), по своим личным, деловым и нравственным качествам способны стать выразителями высших общенациональных идеалов — общество развивается стабильно, всесторонне и быстро. Если же они профессионально непригодны или морально нечистоплотны, воспринимая свое высокое положение в пирамиде социальной иерархии лишь как возможность "покормиться" за счет народа, урвать себе от общественного пирога кусок побольше да пожирнее — государство неизбежно скатывается в пропасть смуты и хаоса.

сформировавшейся в результате петровских реформ. И несмотря на то, что вслух это никогда не произносилось, суть дела выглядела именно так.

Вообще многовековая история российской элиты, издавна сознававшей главной целью своего социального служения создание и сохранение мощного независимого государства, которое могло бы обеспечить народу наилучшие условия для “тихого и немятежного жития во всяком благочестии и чистоте”, — изобилует суровыми испытаниями и драматическими поворотами. Не раз и не два неумолимая логика исторического развития приводила к тому, что исчерпавшие свой “конструктивный ресурс” элитарные сословные группировки покидали российскую политическую сцену, уступая место более энергичным, деятельным и благонамеренным преемникам.

Так, Киевская Русь, стоявшая в годы своего расцвета вровень с императорской Византией, цвела и крепла “под рукой” воинственного и отважного рода Рюриковичей. Многочисленные местные князья с верными дружинами, в нужный момент объединявшиеся вокруг старшего сородича, составляли “правящий класс” страны, обеспечивавший равно ее экономическое процветание и политическую стабильность. Но с течением времени родственная связь ослабела, а властолюбивые соблазны “самостийности” стали слишком сильными: сознание общей ответственности за судьбу державы угасло, и в XII—XIII веках под ударами внешних врагов и внутренних усобиц Русь распалась на уделы, угодившие под верховную власть великого монгольского хана.

Исправить положение, вернуть народу независимость и единство прежняя выродившаяся элита оказалась неспособной. Процесс государственного и национального возрождения, знаменосцем которого стал московский князь, возглавила новая социальная группа — боярство. Не будучи отягощенными удельными княжескими предрассудками, бояре — высшие администраторы и крупные землевладельцы — прекрасно понимали все преимущества соборного единства державы. Становление и рост могучего централизованного Московского Царства, сбросившего постылое иго Орды и совершившего мощный геополитический прорыв на восток — в бескрайние просторы Евразии, в значительной мере обеспечивались энергией, политической волей, административными и военными талантами русского боярства.

Но со временем и эта лидирующая сословная корпорация стала утрачивать свои лучшие качества. Уродливое явление “местничества”, наглухо закрывшего путь наверх для способных, но неродовитых претендентов, подорвало ее жизненные интересы, лишив исторической перспективы. В результате местнические боярские распри, как прежде княжеские, едва не уничтожили Русь, ввергнув страну на рубеже XVI—XVII веков в кровавый водоворот смуты.

Ситуация властно требовала появления нового коллективного лидера нации, новой социальной структуры общества, новых механизмов формирования национальной элиты. Ответом на эти требования стали крутые и суровые реформы Петра, которые подвели окончательную черту под “боярской” эпохой Московского Царства, распахнув России двери в следующий, “имперский” период ее существования. В качестве главного носителя национальной идеи Российской Империи, начиная с XVIII столетия, выступает и новая политическая сила — дворянство.

Надо сказать, что первоначальная концепция социального устройства имперской России была достаточно продуманной и стройной. Лишенные старых местнических амбиций дворяне беспрепятственно выделяли из своих рядов лучших представителей на ключевые государственные посты, сообразуясь в первую очередь с личными качествами претендентов, а не с родовыми заслугами именитых предков. В результате государство вскоре получило в свое распоряжение весьма значительный “кадровый потенциал” высококлассных чиновников и военачальников, дипломатов и администраторов, деятелей науки и культуры.

При этом своевременное обновление нового правящего класса обеспечивалось знаменитой петровской “Табелью о рангах”, позволявшей любому одаренному россиянину, проявившему свои способности на ниве служения Отечеству, получить как “личное” (для себя), так и “потомственное” (то есть распространявшееся на всех его потомков) дворянство. Более того, какое-то время сохранялась даже некоторая социальная справедливость: любой дворянин был таким же “кре-

постным" у государства, как крестьянин у помещика. Его государственная служба, от которой нельзя было отказаться, длилась с ранней юности и до седых волос, составляя своеобразную дворянскую "барщину".

Такое положение дел предопределило быстрый всплеск русской державной мощи. Российская Империя превратилась в сильнейшую мировую державу, самим фактом своего существования способствовавшую установлению на планете более или менее справедливого баланса сил.

Однако спустя некоторое время внутренний механизм дворянской России начал давать все более и более серьезные сбои. Это и понудило Верховную власть к новым реформам, в результате которых новая элита общества должна была быть сформирована на основании государственного чиновничества. Предполагалось, что новая бюрократия станет надежной опорой российскому трону, внеся свежую струю в высшие эшелоны власти и ограничив собой исключительность дворянских привилегий.

В первой половине XIX века эта замена была практически завершена. Стройная система разветвленных государственных учреждений, созданная великим консерватором — государем Николаем I Павловичем, заступила место сумятицы и хаоса, царивших в деле государственного управления в "постпетровской" России. Но и такая система, наряду со всеми своими очевидными достоинствами, имела не менее очевидные недостатки. Ее главной слабостью было то, что она по-прежнему не предусматривала ни земского собора, ни иного какого-либо соборного органа в структуре государственной власти. Царь находил достаточным и удобным общаться со своим народом посредством облеченных его высоким доверием чиновников. А в стране, которой "правят столоначальники" и где "даже урядник есть немножко Помазанник Божий", возможностей для возрождения русской соборной традиции, конечно, не оставалось...

Соскочив однажды с благодатной соборной колеи, российская государственность лишила себя единственного инструмента, позволявшего с безупречной точностью настраивать державный механизм Империи. Попытки обрести в этой области некую равноценную замену приводили к бесконечным реорганизациям и перетряскам. По существу, вся история послепетровской России (вплоть до наших дней) есть история длинной череды реформ, сменявших одна другую почти без перерыва и — увы! — без сколь-либо заметного успеха.

В этом ряду эпоха "великих реформ" Александра II отличается удивительным благородством замыслов и не менее удивительным отсутствием ожидаемых результатов. Впрочем, сие немудрено. Реформаторы по старой привычке, прочно утвердившейся в руководстве страны с "легкой" руки Петра Великого, решили преобразовывать "косную" российскую действительность по "просвещенному" западноевропейскому образцу. Итоги оказались весьма плачевными: общественная стабильность была безвозвратно подорвана, а долгожданные "свободы" явились в итоге лишь питательной средой для политического терроризма, одной из первых жертв которого стал сам августейший реформатор.

Бомбисты-народовольцы развернули настоящую охоту за "коронованным зверем". Годы 1866-й, 1867-й, 1879-й, 1880-й — одно за другим следовали покушения на императора, виновного лишь в том, что он даровал своим подданным права и свободы, о которых они ранее не могли и мечтать. Наконец, преступление все же совершилось, и цареубийство 1 марта 1881 года поставило страшную кровавую точку в деле "либерально-демократического" реформирования Российской Империи.

И все же даже в царствование Александра II Николаевича идея соборности нашла свое воплощение в двух важнейших событиях эпохи. Во-первых, была восстановлена нарушенная еще в прошлом столетии сословная справедливость. Крестьянство — самое многочисленное российское сословие — было наконец-то полностью освобождено от крепостной зависимости, поставлено в положение, позволявшее ему напрямую сноситься с Верховной властью, и уравнено в гражданских правах со всеми прочими сословиями страны.

Во-вторых, несмотря ни на что, продолжалось развитие местного самоуправления. Учреждение выборных земских должностей стало косвенным признанием того очевидного факта, что чиновничья бюрократия, при всех ее несомненных достоинствах, не способна в одиночестве выполнять роль державной опоры госу-

дарства и связующего звена между престолом и подданными Императора Всероссийского, Помазанника Божия, Русского Православного Царя.

Но разрушительные последствия почти двухвекового рабского копирования западноевропейского политического устройства уже сказались на общественной организации Руси столь глубоко и сильно, что почти полностью парализовали благотворные следствия реформирования страны. Упадок дворянского сословия, утерявшего понимание промыслительного смысла своего державного служения, с одной стороны, и недостатки тоталитарной системы чиновничьей бюрократии, с другой, — привели к тому, что главной действующей силой в земских учреждениях стала удивительная по своей вульгарности помесь из обуржуазившихся дворян и разночинцев-интеллигентов.

Сила эта почти сразу же заявила о себе как об антимонархической, антицерковной по своей направленности. С течением времени земства все более и более политизировались и в итоге (как это случилось и с дворянством накануне декабристского мятежа) начали откровенно претендовать на участие в государственном управлении, предполагая таким образом радикально способствовать европеизированию "отсталой" России.

Таким образом, хотя освобождение крестьян и создало необходимые предпосылки для восстановления земского собора в его прежнем, "допетровском" качестве, — все же ни отмирающее дворянство, ни мощная, но косная бюрократия, ни фрондирующее, оппозиционное земство не смогли подняться над своими узкогрупповыми интересами до осознания высших, общенациональных, всенародных целей русского бытия. Испорченный сословный механизм России оказалось нечем заменить. Традиционная структура общества, разрушенная непродуманными реформами, не была преемственной и жизнеспособной. Кризис русской государственности стал несомненным фактом политической жизни страны.

Это хорошо понимал Государь Император Александр III Александрович, вступивший на престол в 1881 году. Злодейское убиение его отца произвело на нового Царя неизгладимое впечатление. Эпоха Александра III, знаменательная небывалым взлетом русской державной мощи, может быть названа, пользуясь выражением Константина Леонтьева, эпохой "исправительной реакции". "Россию надо подморозить", — эти выразительные слова Победоносцева стали негласным лозунгом государственной власти. И действительно, главные усилия правительства того времени были направлены на то, чтобы исправить губительный крен в либерализм, столь явно обозначившийся в годы предыдущего царствования.

Однако усилия власти в этом направлении не могли ликвидировать всесторонний кризис русского сословного общества и российской государственности, но лишь затормозили, "заморозили" его. Очередная попытка реанимировать отмирающее дворянство, превратив его путем наделения властными полномочиями (институт земских начальников) в прочную опору Верховной власти и орудие для ее связи с народом — не удалась. Тлен безверия и безответственности, либерализма и чужебесия лишил сословную пирамиду Руси ее прежней крепости и жизнеспособности.

В качестве ключевой силы снова выдвинулась бюрократия.

Весьма показательно, что именно во время царствования Александра III была предпринята неудачная попытка созыва земского собора. Душой этого предприятия стал известный славянофил И. С. Аксаков, а подготовительные документы разрабатывал один из лучших знатоков истории земских соборов Д. Д. Голохвостов. Покровительство всему делу и его организацию на государственном уровне взял на себя тогдашний министр внутренних дел граф П. Н. Игнатьев.

Манифест о созыве собора планировалось обнародовать 6 мая 1882 года, в день Вознесения Христова (день рождения наследника Цесаревича Николая Александровича), совпадавший с двухсотой годовщиной отпускной грамоты, которой малолетний царь Петр Алексеевич распустил земский собор, избравший его на царство. Заседания же собора должны были открыться через год в Москве, в день Христова Воскресения, совпадая с датой начала торжественного венчания на царство нового императора Александра III.

Однако изо всех этих задумок ничего не вышло. Граф Игнатьев вел дело в глубокой тайне, о подготовке соответствующего манифеста не знал даже влиятельнейший в то время обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев. Рабо-

тавший у Игнатьева Голохвостов вскоре разочаровался в своем высоком покровителе. По его словам, министр внутренних дел был слишком осторожен, его замыслы не имели необходимой широты размаха, и это грозило свести все "не к великому Собору, а к соборишке, очень невинному с виду, но в действительности ужасно опасному" своей половинчатостью и нерешительностью.

Напуганный такой перспективой Голохвостов посвятил в обстоятельства событий Победоносцева, который, вмешавшись, расстроил замыслы графа Игнатьева. Министру не удалось убедить императора в своей правоте, и вскоре он получил отставку. При этом Победоносцев, будучи "идейным" противником созыва в тех условиях земского собора, считал, что вследствие порчи нравов собор, если и соберется, то со временем неизбежно выродится в банальный европейский парламент.

"Древняя Русь, — говорил обер-прокурор, — имела цельный состав, в простоте понятий, обычаев и государственных потребностей, не путаясь в заимствованных из чужой, иноземной жизни формах и учреждениях, не имела газет и журналов, не имела сложных вопросов и потребностей". Победоносцев не без основания полагал, что само по себе никакое собрание не сможет гарантировать восстановления былого единства русского общества, что само правительство должно в первую очередь обрести твердую политическую волю, что благотворные мысли по переустройству русской жизни должны родиться в среде тех, кто по долгу службы призван к управлению российским государством.

Таким образом, разрабатывавшийся в высших чиновничьих сферах проект земского собора был похоронен силами другой части бюрократии, насколько здраво консервативной, настолько же, увы! — творчески бесплодной...

Последние неудачи

В годы царствования последнего Императора Всероссийского Николая II Александровича идея созыва земского собора была весьма популярна. С одной стороны, ее пропагандировали славянофильствующие либералы, которые видели в этом соборе возможность получить российскую копию законодательного собрания парламентского типа. С другой стороны, ее активно поддерживали консерваторы, ратовавшие за восстановление "традиционных форм общения Царя и народа".

Создание Государственной Думы лишь подлило масла в огонь, не удовлетворив никого: ни левых, ни правых. Либералы и демократы считали ее полномочия недостаточными, сетовали на "интриги придворной камарильи", а на деле — рвались к власти, требуя "ответственного министерства" и фактического устранения самодержца из политической жизни страны. Черносотенцы и националисты, в свою очередь, видели в Думе "рассадник революционной заразы" и гнездо крамолы, которое необходимо уничтожить, дабы затем беспрепятственно приступить к масштабным реформам в "истинно русском духе".

"Опыты Государственной Думы первого и второго созыва, — отмечали представители монархических партий, — красноречиво подтверждают наше убеждение в том, что единство, крепость и процветание России возможны только в единении Самодержавного Царя с русским народом без посредства и без расхищения царской и народной земской власти инородческо-космополитической бюрократией и Государственной Думой.

В необходимом для нас в настоящее время земском соборе должны быть соблюдены все его существенные исторические черты, то есть созыв его на определенный срок для решения заранее объявленных населению важнейших вопросов, выдвинутых жизнью... Выбор представителей населения в Собор должен быть произведен по свободному избранию сословно-бытовых групп, непременно из своей среды и с числом депутатов, сообразно важности сословной группы в государственном отношении" (3).

Формально правильная, эта схема имеет единственный, но неустранимый недостаток: на момент ее провозглашения русское общество уже достигло столь глубокого внутреннего разобщения — духовного, политического и бытового — что реализовать сей идеал на практике было просто-напросто невозможно!

Сам Николай II, пожалуй, как никто другой из его венценосных предшественников, понимал жизненную необходимость восстановления соборного единства русской жизни. Хорошо зная историю, он прекрасно понимал, что ни дворянство, ни чиновничество, ни органы земского самоуправления не могут стать опорой Царю в стремлении "смирить всех в любовь". Сперва должны быть залечены те глубокие духовные раны, которые мешают восстановить былое мировоззренческое единство народа, единство его нравственных и религиозных идеалов, его национального самосознания и чувства долга.

Единственной силой, способной на это, была Православная Церковь. И государь совершенно правильно решил, что сперва должны быть восстановлены соборные начала в церковной жизни, а затем уж, опираясь на ее мощную духовную поддержку, — и в общественно-государственной области. Сначала собор церковный, а уж затем — земский: таковы были планы Николая II.

Ясно понимая, что никакой земский собор невозможен без единения с Церковью, Государь был готов произвести грандиозные перемены во всем строе церковно-государственной жизни. "...Речь шла о перестройке всего государственного здания на духовных началах, причем, успех намеченного плана всецело зависел от удачного выбора Патриарха, так как, помимо своих прямых обязанностей по возглавлению Церкви, он привлекался также, вместе с лучшими выборными людьми Русской Земли, в лице Земского Собора, и к участию в управлении государственными делами, как это было в старину" (4).

В марте 1905 года Государь сообщил членам Святейшего Синода о своем решении. Вот как описывает этот судьбоносный момент российской истории, со слов одного из архиереев, известный церковный писатель С. А. Нилус:

"Когда кончилась наша зимняя сессия, мы — синодалы, во главе с первенствующим Петербургским Митрополитом Анатолием (Вадковским), как по обычаю полагается при окончании сессии, отправились прощаться с Государем и преподать Ему на дальнейшие труды благословение, то мы, по общему совету, решили намекнуть Ему в беседе о том, что не худо бы в церковном управлении поставить на очереди вопрос о восстановлении патриаршества в России. Каково же было удивление наше, когда встретив нас чрезвычайно радушно и ласково, Государь с места Сам поставил нам вопрос в такой форме:

— Мне, — сказал Он, — стало известно, что теперь и между вами в Синоде, и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества в России. Вопрос этот нашел отклик и в моем сердце и крайне заинтересовал меня. Я много о нем думал, ознакомился с текущей литературой этого вопроса, с историей патриаршества на Руси и его значения во дни великой смуты междуцарствия и пришел к заключению, что время назрело и что в России, переживающей новые смутные дни, патриарх и для Церкви, и для государства необходим. Думается мне, что и вы в Синоде не менее моего были заинтересованы этим вопросом. Если так, то каково ваше об этом мнение?

Мы, конечно, поспешили ответить Государю, что наше мнение вполне совпадает со всем тем, что Он только что перед нами высказал.

— А если так, — продолжал Государь, — то вы, вероятно, уже между собой и кандидата себе в патриархи наметили?

Мы замялись и на вопрос Государя ответили молчанием.

Подождав ответа и видя наше замешательство, Он сказал:

— А что, если я — как вижу, вы кандидата еще не успели себе наметить или затрудняетесь в выборе, — что, если я сам его вам предложу — что вы на это скажете?

— Кто же он? — спросили мы Государя.

— Кандидат этот, — ответил Он, — я. По соглашению с Императрицей я оставляю престол моему сыну и учреждаю при нем регентство из Государыни Императрицы и брата моего Михаила, а сам принимаю монашество и священный сан, с ним вместе предлагаю себя вам в патриархи. Угоден ли я вам, и что вы на это скажете?

Это было так неожиданно, так далеко от всех наших предложений, что мы не нашлись, что ответить, и... промолчали. Тогда, подождав несколько мгновений нашего ответа, Государь окинул нас пристальным и негодующим взглядом; встал молча, поклонился нам и вышел, а мы остались, как пришибленные, готовые,

кажется, волосы на себе рвать за то, что не нашли в себе и не сумели дать достойного ответа. Нам нужно было Ему в ноги поклониться, преклоняясь пред величием принимаемого Им для спасения России подвига, а мы... промолчали".

"С той поры, — продолжает С. А. Нилус уже от себя, — никому из членов тогдашнего высшего церковного управления доступа к сердцу Цареву уже не было. Он, по обязанностям их служения, продолжал, по мере надобности, принимать их у себя, давал награды, знаки отличия, но между ними и Его сердцем утвердилась непроходимая стена, и веры им в сердце Его уже не стало, оттого, что сердце царево, истинно, в руце Божией, и благодаря происшедшему въяве открылось, что иерархи своих сих искали в патриаршестве, а не яже Божиих, и дом их оставлен был пуст.

Это и было Богом показано во дни испытания их и России огнем революции. Чтый да разумеет (Лк. 13:35)" (5).

На заседании 22 марта Синод единогласно высказался за восстановление патриаршества и за созыв Всероссийского церковного собора, но в связи с возникшими со стороны видных богословов разногласиями Государь 31 марта начертал на докладе Синода следующую резолюцию: "Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне тревожное время столь великое дело, требующее спокойствия и обдуманности, каково созвание поместного собора. Предоставляю Себе, когда наступит благоприятное для сего время, по давним примерам православных Императоров, дать сему делу движение и созвать собор Всероссийской Церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного управления" (6).

В конце того же года, 27 декабря, Царь обратился с рескриптом на имя Митрополита Антония Санкт-Петербургского: "Ныне я признаю вполне благовременным произвести некоторые преобразования в строе нашей отечественной Церкви... Предлагаю Вам определить время созвания этого собора" (7).

Предусмотрительность Государя позволила, несмотря на революционные бури, созвать знаменитый поместный собор 1917—1918 годов. Собор этот, приведя церковное устроение в соответствие с многовековой канонической традицией Вселенского Православия, предопределил духовную стойкость Руси перед лицом жестоких богоборческих гонений советской эпохи. Но противостоять катастрофе, поглотившей русскую православную государственность, не смог даже он...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О благочестивой деятельности имп. Павла I см.: Старый Кирибей. Павловский гобелен. Издание Общества св. Владимира в Сан-Пауло, 1955 г.

2. Историки разделились в понимании того, что было движущими силами обоих событий. Одни рьяно отстаивают их "масонскую версию", другие столь же рьяно ее отрицают. См., например: Н. Е. Марков. Войны темных сил, т. 1, Париж, 1928; многотомную работу Бориса Башилова "История русского масонства", впервые увидевшую свет в Аргентине; статью Е. С. Шумигорского "Император Павел I и масонство" в сб. Масонство в его прошлом и настоящем, т. 2, СПб, 1915.

3. А. Григоров. Земский Собор и Русская Государственность. Доклад, читанный в апреле 1907 г. общему собранию Тамбовского Союза русских людей (год издания не указан), с. 53.

4. Е. Е. Алферьев. Император Николай II как человек сильной воли. — Джорданвилль, 1983, с. 88.

5. С. А. Нилус. На берегу Божьей реки. Ч. 2. — Сан-Франциско, 1969, с. 146—147.

6. С. С. Ольденбург. Царствование Императора Николая II. — Вашингтон, 1981, с. 276.

7. Там же, с. 337.

(Продолжение следует)

50-летию Победы посвящается

ОЛЕГ СМИРНОВ

МЕСЯЦ КОЛОСЬЕВ

Роман

13

Капитан Тенюков взглянул на часовые стрелки и озабоченно сказал шедшему чуть поодаль лейтенанту Таги-заде:

— Время подпирает. К Шалашину обязаны выйти к девятнадцати ноль-ноль. Прибавить темп! Передай команду: "Шире шаг!"

И зашагал размашистей, а Таги-заде, обернувшись, проорал:

— Шире шаг! Шире шаг!

Повторяя приказание, слова эти перекатами пошли по колонне, докатились до хвоста, где замполит Данилкин замыкал строй, подгонял отстающих. И замполит Данилкин, напрягая жилы на слабой, ребячьей шее, протенорил врастяжку:

— Шире шаг! Шире шаг!

Позади никого из первого батальона уже не было, следовательно, выклик Данилкина адресовался как бы идущим впереди, и точно: команда "Шире шаг!" покатилась, повторяемая, вспять, к голове колонны, к капитану Тенюкову. Колонна задвигалась быстрее, хотя вразнобой, и стало очевиднее, у кого силенки еще есть, а у кого — на нуле, невзирая на царский обед.

Жара не сникала, болотная и чадная вонь не разреживалась, дым по-прежнему выжимал слезы. Порывами, как перекатами команд, налетал ветер — то верховик, то низовик, — но и он не мог раздергать многослойную пелену дыма. На западе оседавшее солнце трепыхалось в кронах, как запутавшаяся в сетях крупная красноперая рыба. Нам туда, туда, где заходит, трепыхается солнце. И по возможности скорей.

Колонна втянулась в осинник, и на выходе из него увиделось картофельное поле, в конце его, на взгорье, чернели остовы сгоревших изб. Это и было Шалашино, домов с тридцать, нормальная деревня. На стыке осинника с картофельным полем, в подлеске, батальон залег, а капитан Тенюков связался по рации с командиром полка. Слышимость была скверная, слова еле-еле разбирались сквозь шорох, писк и треск, но проводная связь безнадежно отстала, да и по телефону иногда ни хрена не расслышишь. Так что приходится ругать радиста (а в чем он виноват?) и надрываться в микрофонную трубку.

Подполковник Коноплев пожурил, что на рубеж Шалашина батальон вышел на двадцать пять минут позже, спросил, встретил ли Тенюков полковых разведчиков. По поводу опоздания комбат промолчал, подумавши: "На любовные свиданки и то опаздывают, а уж на фронте-то", и ответил:

— Разведчиков покуда не видать.

— Подгребут. Жди. Они там. Доложат тебе обстановку. Деревню будешь атаковать, как договаривались, без артподготовки, с ходу. Возьмешь — тотчас доложишь. Буду на рации.

Окончание. Начало см. № 1 за 1995 год.

— Доложу, — сказал Тенюков, и тут к нему действительно подгребли с десяток хлопцев в масккостюмах с трофейными автоматами, "лимонками" и финками, — возбужденные, жестикулирующие, попахивающие сивухой. За главного — рыжеусый старшина с удлиненным, лошадиным лицом и столь же длинными, лошадиными зубами. Старшина был под мухой более прочих и весьма говорлив. Представившись Тенюкову, он сказал:

— Капитан, согласно указанию командира полка, обязан доложить...

— Докладывай, старшина, — прервал Тенюков.

— Подполковник Коноплев поставил нам задачу: вырваться вперед, разведать подступы к деревне, систему обороны и огня, наличные силы.

— Ясно, ясно, — опять прервал Тенюков. — Ты по существу.

— Я по существу, капитан, — слегка запетушился старшина. — Но в воинском, извиняюсь, искусстве и форма играет значение.

— Имеет значение, — поправил Данилкин.

— Играет, имеет... какая разница, старшой! По форме, значит... это самое, то самое... тоже ж важно...

— Хорошо. —Тенюков поморщился, вроде бы даже брезгливо. — Форму ты соблюл. Теперь ближе к сути.

— К сути? — неожиданно и непонятно оживился старшина. — Это за нами не заржавеет! Докладываю: взвод полковой пешей разведки визуальным наблюдением установил, что данная деревня занята противником. Силою до роты. Траншея — вкруговую. Под избами, которые не сгорели, сооружены дзоты, их шесть штук. Есть средние минометы, тяжелые пулеметы, гранатометы, огнеметы. Подступы к деревне минированы, но не сплошняком, есть проходы. Приданные нам два сапера обозначат их. Они же выстригут и проходы в "колючке".

— Старшина, в деревню пробовали проникнуть?

— Пробовали. Но отошли. Зато систему огня частично выявили. Да и танкисты нам в том пособили.

— Что за танкисты?

— Гвардейцы, капитан. Их танковая рота с десантом на броне прошла. Севернее Шалашина. Задела край деревни — и дале, на Оршу.

— Опять с гвардейцами перемешались, — сказал Данилкин.

— А еще у меня разведданные от моего агента в деревне, — сказал старшина и хохотнул, как всхрапнул. — Старушка Авдотья молоко фрицюганам по утрам носила, все и высмотрела. Выселенные из деревни старики, бабы, пацанва вырыли землянки в бору, мы спервоначалу на них и наткнулись. Как родных встретили, со слезами.

— И с самогоном, — вставил Данилкин.

— Натурально. И с жареной бульбой! Капитан, угостить первачком из пшенички? У нас баклага...

— В бою не употребляю.

— А старшой употребляет? Стакашок поднесу.

— Не надо, спасибо.

— Мне поднеси, — сказал Таги-заде. — Если, конечно, комбат дозволит.

— Не больше стаканчика, Гусейн.

— Слушаюсь! Больше и нельзя, не то раскиснешь.

"Как я раскис за ужином у комбата, в палатке продрых", — подумал Данилкин и сказал:

— Сам, старшина, не добавляй, уже хорош. И разведчикам не позволяй.

— Кладем резолюцию: тюкнем, когда Шалашино возьмем.

— Кончаем треп, — сказал Тенюков. — Будем готовить атаку. До темноты деревню надо взять!

— Возьмем! — уверенно сказал Данилкин, а больше никто из командиров и рядовых, из пехотинцев и разведчиков ничего не сказал.

На Шалашино наступали с трех направлений: в лоб шла группа старшего лейтенанта Данилкина, слева атаковала группа лейтенанта Таги-заде и справа — группа капитана Тенюкова (в нее входили и полковые разведчики), она-то и наносила основной удар, остальные — вспомогательный, отвлекающий маневр. Общая задача — обтечь, окружить Шалашино, зажать в кольцо его гарнизон и не дать уйти: пленить или уничтожить.

Данилкин лежал за кустиком жимолости, и перед глазами бугрились картофельные, справно окученные грядки: толстые плети ботвы, белый и сиреневый

цвет. Некогда общее колхозное поле изрезано наделами, — новый порядок в Европе, провозглашенный Гитлером. Хотя поперву порядок был старый: немцы колхозы сохранили, так удобнее было з а б а р а б а т ь собранный коллективно урожай. А до того коллективно, организованно проведенная вспашка, сев, прополка, подкормка. Даже бригады и звенья германская администрация сохранила, даже правление и председателя сохранила. До поры до времени...

Данилкин глядел на картофельные наделы, на бело-сиреневое цветенье среди зеленой ботвы и гадал: в какой из этих грядок зарыты противопехотные мины и как эти грядки пристреляны из деревенских изб, превращенных в дзоты? Вон они, избы-дзоты на взгорке. Поле было открытое, чистое: ни деревца, ни кустика, ни камней, ни ям: скрыться от очереди не скроешься. Атаку начнут с трех сторон после красной ракеты капитана Тенюкова. Пока бойцы Данилкина лежат на исходном рубеже, группы Тенюкова и Таги-заде, пригнувшись, без шума, огибают поле справа и слева по кустарникам, по подлескам.

Вид картофельного поля был тосклив и неприятен: все мины не обозначишь и не обезвредишь, хуже того — пристреляно, пристреляно, и ты будешь немцам виден, как голый, как облупленный. Пока они не стреляли. Затаились. Пропустили танковую роту, не вступили с ней в настоящий бой. Так ведь сами танкисты не ввязались в бой, ушли вперед, гуляют теперь где-то по дорогам подле Орши. А эти, в деревне, ждут нашей атаки? Не может быть, чтоб не заметили движения у картофельного поля, у околицы. А что, если надоумятся оставить Шалашино, остерегаясь окружения? После Сталинградского "котла" они стали чувствительны к возможности большого и малого окружения. Пока кукуют в Шалашине. Видимо, предстоит вышибать.

Кто-то в трех-четырех шагах слева высунулся из кустов. Данилкин прикрикнул:

— Эй там, на палубе! Не рыпаться, демаскируешь же! Кто это?

— Ефрейтор Ганюшкин я...

— Кто?

— Ганюшкин Димитрий. В партию меня перед наступлением записывали.

— А-а, вспомнил. Будь здоров, Димитрий. И потому башку не выставляй зазря. И продолжай сражаться, как подобает коммунисту.

— Буду продолжать.

— Давай!

— А меня-то в большевики не записали. — Голосочек донесло из того же места, где лежал Митя Ганюшкин. Голосочек показался знакомым. Данилкин спросил:

— Ты, что ль, Воскобойников?

— Я.

— А-а, Петро Воскобойников... Ну, у тебя ж уважительная причина... Ты ж в тюряге сидел, вроде замаранный, сам признался.

— Не отпираюсь: блатняк. А сражался не слабже того же Митьки Ганюшкина альбо какого другого большевика.

— Все мы, товарищи, в душе большевики, — сказал Данилкин привычно-назидательно. — Все сражаемся за Родину, за народ, хоть член ты партии, хоть комсомолец, хоть беспартийный. У каждого из нас в сердце Верховный Главнокомандующий, Вождь и учитель товарищ Сталин. Правильно я говорю?

— Правильно, — вяло отозвался кто-то третий, кажется — ротный парторг Аникеев.

— Да, товарищи! — Данилкин обрадовался: есть повод и время провести политбеседу. — Партия ведет нас от победы к победе. Возьмем эту деревушку, освободим всю Белоруссию, вступим в заграницу и дойдем до Берлина. Красное знамя затрепещет над рейхстагом!

Во как, от приподнятости духа заблестели глаза, призывное слово партполитработника чего-то значит, даже самого вдохновляет! Однако ж как током стукнуло: стереги красную ракету! А ежели прозеваешь сигнал? Разве тут беседы-собеседы! Так ведь должность такая, сколько уж себя убеждал. Ну и что? В данный момент у тебя дополнительные и, черт подери, ответственные обязанности — командовать группой, собранной из разных рот, повести доверенных тебе людей в атаку и овладеть деревней. Это и есть настоящее, мужское дело!

А война продолжала трудиться, не ведая устали и передыха, и лишь иногда будто затяжно вздыхала: это когда докатывало эхо от взрыва авиабомб возле Орши и за Оршей, возле Витебска и за Витебском. А может, земля стонала?

И вдруг где-то сбоку — Данилкин не понял, справа ли, слева ли — пропели надтреснуто, печально:

Ямщик, не гони лошадей.
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей...

В неуместной обстановке, в неподобающий час прозвучал этот щемящий романс. И Данилкину захотелось то ли вздохнуть, то ли беззвучно простонать. И если бы не ракета красного дыма, ожидаемая от комбата, он, наверное, и вздохнул бы, и застонал без звука. Ракета — сигнал начала атаки, этим живи, собеседования и переживания по поводу романса временно отложи. Хотя бы до взятия Шалашина, там будет полегше. А потом пришла дикая, крамольная мысль, что перед атакой, в которой могут запросто уложить наповал, равно неуместны, инородны и городской душещипательный романс, и его казенные дежурные проповеди.

Из фланговых изб, из проделанных в погребах прорезей-амбразур стеганула парочка пулеметов, — очереди срезали картофельную ботву неподалеку от кустов, где залегала группа Данилкина. Фрицы обнаружили их? Или попугивают на всякий случай? Чтоб мы не совались? Сунемся. Никуда не денемся.

И здесь, слева от деревни, безо всякой сигнальной красной ракеты раскатилась стрельба, неосновательная, необоснованная, внезапная. И безотносительно, казалось бы, к этой стрельбе, как бы вдосыл ей, через минуту, другую ввертелась в небо, как штопор, та самая красная ракета, и следом, тоже как бы без связи с ней, саперы подожгли дымовые шашки, и уж совсем без всякой логической связи по полю поперхали клубы темно-сизого дыма, жирного и до одури вонючего. Но еще более вонючим, обморочно вонючим, был желто-сизый туман, которым будто выстрелили болота к моменту атаки: трехслойная, четырехслойная пелена накатывала на картофельник. Будто по заказу. Ура стечению обстоятельств, атакующие будут менее уязвимы.

— Вста-ать! — Данилкин орал на всю громкость, на какую был способен. — Вста-ать! Вперед, ребятки! Вперед, родимые! Сокрушим оккупантов! За родимую Беларусь! Ура!

Несколько глоток проорали-прохрипели-просипели:

— Ура!

— Вперед, в богоматерь!

— За Беларусь!

Данилкин вспомнил, что не совсем то положено провозглашать батальонному замполиту в атаке, и снова заорал:

— За Советскую Родину! За товарища Сталина! Коммунисты, вперед! Ваш порыв — пример для всех! Ура... мать вашу так...

Последняя, ударная фраза была необязательна, но естественна: материться привыкли, это как пить воду или предпочтительней — наркомовские сто граммов, в пределах совести разбавленных интендантами. Выпить сто граммов — закон природы и приказ наркома обороны. А нарком — кто? Товарищ Сталин. То-то и оно...

Данилкин бежал, привычно сутулясь. И остальные сутулились, как будто это как-то уберегало от пули. А немцы незамедлительно открыли пулеметный и минометный огонь, едва цепь появилась на картофельнике. Группа продвигалась перебежками: пробежишь несколько метров — падаешь, отползаешь вбок, стреляешь, вновь вскакиваешь — и все повторяется сызнова. Кто-то и не вскакивал: ранен ли, убит ли? Мухлюет? Дважды взрывались противопехотные мины: кто-то подрывался, саперы не смогли же обезвредить либо хотя бы обозначить все мины.

Но постепенно огонь по группе Данилкина ослабел, потому что немцам надо было отбиваться и от группы Тенюкова, и от группы Таги-заде. И Данилкин позлорадствовал: "Фрицы занервничали! Запсиховали, голубчики!" Они еще круче запсиховали, когда на правом и левом фланге закипело слитное "ура" и усилилась стрельба: по голосу — наши ППШ, "судаевы", "дегтяри", "максимы", даже пушки-сорокапятки. Зато здесь, по центру, огонь немцев совсем ослаб, — похоже, кое-где начали отходить.

— Ур-ра! — прохрипел Данилкин и выпустил короткую очередь. — Рывок — и мы в деревне! Фрицы дрогнули, стервы! Вперед, вперед!

Через выстриженные саперами проходы в колючей проволоке выбрались к окраинам, к дзотам. К погребам, из которых не прекратили стрелять, Данилкин приказал подползать и забрасывать амбразуры связками ручных гранат и противотанковыми гранатами. И тех, и других хватало, ибо на привальчике, когда завтракали-обедали, подкатила полуторка пункта боепитания и народ основательно отоварился, поживился гранатами и патронами.

Все учуяли в воздухе забродивший запах победы и рвались к Шалашину, перестав остерегаться, напролом, как бы утратив инстинкт самосохранения. Азарт, граничащий с исступлением.

— Ура, б...! Ура!

— За Родину! Ура, славяне!

— За Сталина, едри твою в корень!

— Отомстим фашистам! Умоем кровавой юшкой!

— Айда до Берлина! Даешь рейхстаг!

— Бей, круши гадов! Ломай хребет!

Протрусив с десяток метров молча, Данилкин выкрикнул надсадно:

— Полундра, братва! — Эти словечки выплыли из несостоявшейся морской службы; и следом, опомнившись, он крикнул словечки из состоявшейся службы пехотной, к тому же замполитской: — Вперед, сталинская пехота! Царица полей, ура-а-а!

Приотстав от подчиненных, взбирался по косогору к поваленной изгороди, к бурьяннику, к поперхнувшимся, умолкшим амбразурам, а справа, слева и даже с западной околицы доносилось родимое "ура" тех, кого вели капитан Тенюков и лейтенант Таги-заде: смахивало на окружение. Задами, кустарником, канавами убегали в глубь леса серо-зеленые френчи. Гитлеровцы чесали так шустро, скачками, по-заячьи, что даже не отстреливались. Драпануть от Шалашина подальше — это они делали успешно: уставший, вымотанный батальон капитана Тенюкова преследовать их был просто не в состоянии. Стали вылавливать тех, кто не спроворился удрать, — в сараях, в избах, в блиндажах, в погребах-дзотах. Таких, замешкавшихся или пораненных, было немного, десятка полтора, большинство же, к сожалению, драпанули, будут теперь шастать по лесам, бредя на запад, к Березине, к Борисову, к Минску. В Оршу вряд ли сунутся, туда пошли наши танки.

Мало-помалу стихали пулеметные и автоматные очереди, одиночные выстрелы. Теряло гром и грохот и все большое сражение, от Орши до Витебска. Война брала передышку — временную, на ночь. Но и ночью она не угомонится окончательно, лишь сбавит обороты. Великая труженица. С рассветом замолотит с прежним ожесточением...

Командный состав собрался в центре Шалашина, на сельской площади. Командный состав — громко сказано: три офицера, несколько сержантов — командиров взводов (остатками взводов командовали и рядовые!). Комбат сидел на срубе колодца и поторапливал радистов:

— Давайте Коноплева... не пурхайтесь, давайте Коноплева... Не пурхайтесь!

Но рация командира полка не "ловилась", хотя расстояние — пустяковое, километров пятнадцать — семнадцать, и высотки не Бог весть что — двести с небольшим метров. А помехи в наушниках буйствовали, как в высокогорье. На площадь сгоняли пленных, сбивали их в кучу, — усадили на траву под охраной двух автоматчиков из окружения комбата. По блиндажам и дзотам шарили не только в поисках немцев, но и в поисках более приятного — шнапса, рома, галет, сухой копченой колбасы, консервов и прочего, что водилось у фрицев в изобилии.

Наконец, радист связался с полковым КП, и капитан Тенюков доложил о взятии Шалашина, о потерях и трофеях обещал доложить попозже, после уточнения. Подполковник Коноплев сказал:

— Поздравляю с удачей, благодарю за успешные действия...

— Служу Советскому Союзу! — ввернул Тенюков.

— Твое хозяйство и хозяйство Вербицкого (это второй батальон майора Вербицкого) до утра выводятся из боя. Ты ночуешь в деревне, Вербицкий северо-западнее, в лесу. Ночное движение на город Н. (то есть Оршу, наивная бдительность!) продолжит хозяйство Богдановича (третий батальон капитана Богдановича, бывший в резерве). Ужин тебе подвезут. Я со своим хозяйством двигаюсь к тебе. Оставь мне три-четыре блиндажа для размещения...

— Понял, — сказал Тенюков.

— Я снимусь с места через час. До этого доложишь мне уточненные данные. Может, к тому времени телефонную связь наладим.
— Слушаюсь!
— Ну, бывай... Жди в гости!
Тенюков разговаривал с командиром полка стоя, и теперь опять сел на сруб, понуро опустив плечи, почему-то внимательно разглядывая свои пропыленные, грязные сапоги со спущенными голенищами и ободранные на коленях хлопчатобумажные шаровары (суконные, щегольские он надевал, когда кантовались во втором эшелоне или на доформировании, или в тылу на отдыхе: форсил перед женским полом). И сапоги ординарец Кравец ему ваксил тогда так, что они блестели, как зеркало. И подворотничок бывал белоснежный, и выбрит был до синевы плюс обрызган одеколоном "Кармен". Впечатляет? Женский пол, вроде медсестры Шуры, впечатляло. Да он и без одеколона "Кармен" мужчина первый сорт, чего уж там. Не то, что Данилкин, Денис Степаныч. Но Данилкин Денис Степаныч рад его видеть живым и невредимым. Рад также, что и сам уцелел в бою...
Комбат распорядился выставить охранение, оказать помощь нашим раненым и пораненным немцам, снести в кучу трофейное оружие — и отдыхать, ждать кухни. Сказал:
— Ты, Гусейн, более-менее точно подсчитаешь трофеи, чтобы я смог доложить командиру полка.
— Слушаюсь.
— А ты, Денис Степанович, постарайся подсчитать, хотя бы приблизительно, сколько в батальоне убитых, раненых, пропавших без вести. С твоих слов доложу Коноплеву.
— Хорошо.
— А я ознакомлюсь с захваченными немецкими документами. Но предварительно проведу краткий допрос пленных. Мне пособит сержант Аникеев, он кумекает по-немецки. Аникеев, ко мне!
— По вашему приказанию явился, товарищ капитан...
— Опросим накоротке.
— Как прикажете, товарищ капитан.
— Повторяю: личному составу отдыхать, приводить себя в порядок. Не шастать зря. А то еще мину-сюрприз схлопочешь. Денис Степанович и Гусейн, проследите!
— Слушаюсь, — сказал Таги-заде.
— Хорошо, — сказал Данилкин.
И тут из-за полусгоревшей избы вышел ординарец Ленька Кравец, спутавший все планы и распорядки. Он был обвешан трофейными термосами и флягами, вещмешок даже не завязан, настолько набит консервами, плитками шоколада, пачками галет и сигарет, но физиономия бледно-зеленая, какая-то перекошенная, в глазах — ужас.
— Что с тобой, Леонид? — спросил Тенюков.
— Т-т... товарыш к-к... капитан. — Кравец заикался с перепугу̀.
— Что, что?
— Тамочки, у блинда́жу... Ой, не можу...
— Да говори ты! Не тяни! — рассердился Тенюков.
— Тамочки... людына... висить распята...
— Где? Кто?
— Наш боець, т-т... товарыш к-к... капитан...
Тенюков сильно побледнел, вскочил:
— Леонид, веди!
— Я пойду тоже, — сказал Данилкин.
— Разрешите и мне, товарищ капитан?
— Иди, Гусейн... Двоих из автоматчиков охраны ко мне! Живо! Кравец, веди!
А у Кравца ноги не слушаются, подгибаются. Комбат встряхнул его за шиворот и зло сказал:
— Руки — в ноги... или, наоборот, ноги в руки — и веди!
И Кравец повел, зябко поеживаясь. И шедшие за ним поеживались, хотя было жарко и душно, и лица всех побледнели, а Данилкину померещилось: почернели.

14

Кравец остановился у врытого в овраге просторного толстосрубового блиндажа в три наката, — свидетельство: командный или штабной. Дверь у входа в блиндаж была раскрыта, полусорванная с петель, и будто зазывала зайти, спуститься в сумрачную глубокость сооружения. Доведя до порожка, переходящего в обшитые березовыми палками ступеньки, Кравец затоптался в нерешительности, — на лбу у него проступили крупные капельки пота. Тенюков спросил:

— Здесь?

— Т-т... так т-т...точно, т-т...оварыш...

— Так и спускайся, — оборвал Тенюков.

— Боязно...

— На войне бояться? Пошли! — и Тенюков, отстранив ординарца, начал спускаться по ступенькам. За ним — Данилкин, Таги-заде, автоматчики и уж замыкающим — ординарец Кравец, сгибаясь под тугим вещмешком и стукая термосами и флягами.

В блиндаже было сумеречно, — полоски света падали в раскрытую дверь и низкие и узкие, как амбразуры, оконца, в полосках света толклись пылинки. И в этой пыльной сумеречности Данилкин увидел из-за плеча комбата: к противоположной стене блиндажа кнопками приколоты листы ватмана с похабными, в цвете, рисунками и рядом с ними — к стене гвоздями прибит человек добротными немецкими плотницкими гвоздями-четырехдюймовками (по-нашему, "сотки"). И Данилкин ощутил, как у него запрыгало сердце, липкая испарина выступила на лбу, а зубы застучали, словно от озноба. И дурнота подступала к глотке, давила, душила, жгла. Опыт учил: чего и сколько ни насмотрись на войне, а бывает: нервы сдают, и тебе становится невмоготу.

Данилкин закрыл и открыл глаза — и содрогнулся, только содрогнулся: это вобрало в себя все, что испытал он секундой раньше. Он смотрел на распятого бойца, точнее — младшего сержанта: на окровавленных погонах по две красных, как из крови, лычки. Гвардии младший сержант (окровавленный живой кровью знак на гимнастерке), а Данилкину вдруг увиделся въявь распятый Иисус Христос, каким запомнился по картинкам в учебниках, на церковных стенах. И это сходство, и это несходство пронзили и заставили еще раз содрогнуться.

Смотрели потрясенные, без звука, без движения — как будто сами были намертво пригвождены к дощатому полу. На войне всякого навидались. Повешенный вниз головой партизан-парнишка. Растерзанная групповым изнасилованием пятилетняя девочка. Противотанковый ров, забитый сотнями расстрелянных детей, женщин, стариков. Насаженные на кол пленные красноармейцы. Сожженные дотла деревни с заколоченными в избах жителями. Расчлененные тела больных, которых не сумели эвакуировать с больницей до прихода гитлеровцев. Шоссе с беженцами, по которому на третьей скорости прошла немецкая танковая колонна. Вспоротые животы. Отрезанные груди у женщин и половые органы — у мужчин. Выколотые глаза, отрубленные уши. Этот садистский кошмар, это торжество дьявольского в человеке можно вспоминать еще и еще. Война развязала во многих людях самое низменное, самое подлое, самое жестокое, беспощадное. Именно — война.

Но вот такого, как сейчас, Данилкину встречать прежде не доводилось. Бог миловал. До поры до времени. Глаза привыкали к плохому освещению, и детали проступали яснее. Шляпки гвоздей торчали из кистей, небольших, худеньких, почти мальчишеских, из голых ступней, тоже худеньких и некрупных; простоволосая русая голова опущена на грудь, лицо в кровоподтеках, колотых ранах и ожогах, полуотрезанный язык вывален и держится на жилочке, — лицо распухло от побоев, глаза заплыли, на лбу вырезана звезда. Голова в полузасохшей крови, молодая, стриженная "под ноль". Сколько ж ему лет? Восемнадцать? Двадцать? И за что такая мученическая смерть? Ну, если убивать — так убивайте сразу, без надругательств и мучительств.

Как иногда и поступали наши солдаты, захватив немца в плен. Самосуд? Конечно. Хоть политработники внушали: "Пленных пальцем не тронь!" Увы, пленных фрицев и избивали нередко, а бывало, отводили в кусточки — и очередью. И оправдывались: "Максим Горький учил: если враг не сдается — его уничтожают". — "Так фриц же сдался". — "Сдался, а опосля напал на меня". — "Врешь!" — "Ну поди проверь, вру либо нет". Да, война ожесточала, наверное, поголовно...

— Ну? — простуженно, придушенно сказал Тенюков. — Видали?
Никто не отозвался.
— Я вас спрашиваю: видели? Запомнили?
— Видели, командир. Запомнили, — сказал Данилкин.
— Не прощу этого немцам. Как и много чего еще не прощу, — сказал Тенюков, подошел к распятому сержанту, расстегнул у него гимнастерку, приставил ухо к груди, к левому соску. И опять Данилкин подумал про распятого на кресте Иисуса Христа, и сержант был распят, как на кресте, хотя в действительности был прибит к бревенчатой стене немецкого блиндажа.
Данилкин булькающе закашлялся. Тенюков сказал:
— Сердце не бьется. Мертвый. Да и холодный уж...
— И по роговице видать, что мертв, — сказал Таги-заде. — Загубили хлопца...
— Давайте снимем его, — сказал Тенюков и начал выдергивать гвоздь из левой ладошки.
Каждый старался вытащить какой-нибудь гвоздь, потом общими усилиями тело сняли со стены и положили на нары. Лишь ординарец Кравец как стоял столбом, так и остался стоять у входа, стараясь не видеть того, что проделывали остальные.
— Оставим тело покуда здесь, только прикройте плащ-палаткой, — сказал Тенюков. — Займемся своими делами. Я допрошу пленных. О ЧП доложим в полк. Поручаю это тебе, Денис Степанович.
— Мне?
— Ну да. Это больше по твоей линии. Доложишь замполиту полка.
— Хорошо.
— Оговорись, что доклад предварительный. При допросах могут всплыть дополнительные подробности.
— Ясно, командир, ясно.
Капитан и те, кто был с ним, поднялись из блиндажа. Их уже поджидал Ленька Кравец, еще раньше вышедший на воздух. Он сказал услужливо:
— Товарыш капитан, каки будуть указивки? Насчет трохвеев. Шнапс е, ром е, коньяк е.
— Впору долбануть, — сказал комбат. — Наливай всем по кружке рома. Хоть малость облегчим душу. Выпьем за его упокой. И за упокой всех наших батальонных, кто сложил сегодня голову...
Кружка у расторопного ординарца Кравца оказалась всего в единственном числе, и потому пили поочередно: сугубо по армейской субординации — комбат, замполит, командир роты и так далее. Данилкин осушил кружку, глотку обожгло, грудь обволокло теплом, но ром не в з я л, так натянуты нервы, не отходят. Видимо, это понял и капитан Тенюков. Когда выпили и автоматчики из охраны комбата, он блеснул льдистым взглядом и сказал:
— Не проняло? Нету разрядки? Леонид, повтори! И сам выпей!
— Рому уже нэма, товарыш капитан.
— Наливай что в наличии. Коньяк ли, шнапс ли...
— Вам коньячку, товарыш капитан?
— Валяй.
Выпили по второй, и вроде маленько взяло, напряжение отодвинулось. Захотелось курить. Закурили. Кравец спросил:
— А перекусить, товарыш капитан?
— Еда не полезет в горло. Как, ребята?
Согласились, что еда не полезет в глотку. Надо подождать, пока д о й д у т. Иначе говоря, отойдут от виденного в блиндаже. И когда алкоголь воздействует, как ему и положено.
Вернулись на сельскую площадь, к колодезному срубу. Пленные сидели понуро поодаль, наши же переобувались, перематывали портянки, кто полеживал, подложив под затылок вещмешок, кто похрумкивал трофейными галетами и сухариками из недоеденного сухого пайка. Перед тем как допрашивать пленных, капитан Тенюков ополоснул лицо водой из ведра, выбил из пилотки пыль, пучком травы смахнул ее с сапог, подтянул поясной ремень, расправил сзади складки гимнастерки, — хотел выглядеть перед фрицами достойно. После этого с помощью сержанта Аникеева начал допрос. Он был малоинтересен, пока комбат не обратился сразу ко всем пленным: что им известно о пытках и казни советского младшего сержанта, кто мог совершить это злодейство, располагают ли они какими-либо сведениями о казненном воине?

Немцы потупились, казалось — перестали дышать. Комбат обошел пленных со всех сторон, глядя на них и в то же время как будто поверх, куда-то вдаль. Желваки у него вспухали и перекатывались, и немцы, вскочившие, как по команде, и вытянувшиеся в струнку, голов не поднимали, словно изучали хромовые, не обремененные торфяной пылью щегольские сапоги русского офицера.

Обойдя группу, Тенюков остановился, широко расставив ноги, и упер одну руку в бедро, а другою похлопывал по кобуре с пистолетом. Перекатываясь с пяток на носки, сказал:

— Аникеев, спроси у них еще раз: кто совершил злодейство? Разъясни: все равно вызнаем, пусть лучше добровольно сознаются.

Сержант перевел немцам слова комбата. Пленные продолжали играть в молчанку. Тогда Тенюков, не повышая голоса, сказал:

— Будут отмалчиваться — всех, до единого, расстреляем!

Едва Аникеев перевел эту фразу, как рыжеватый и голубоглазый обер-ефрейтор с оторванным рукавом щелкнул каблуками и попросил у герра гауптмана разрешения дать показания.

— Пускай дает, не стесняется, — сказал Тенюков.

Обер-ефрейтор снова щелкнул каблуками, вытянулся, выгнул грудь:

— Яволь! — И ткнул указательным пальцем в стоявшего напротив плюгавого очкастого, но с отменной выправкой фельдфебеля с забинтованной кистью, по-русски произнес: — Это есть он, Клюгге Эрнст! Приказаль питайт и убивайт гауптман Шейнеман Вильгельм, а Клюгге участвоваль...

— Кто еще участвовал?

— Фельдфебель Метке, фельдфебель Ротенбау. Но они убегайт, здесь они отсутствоваль...

— Та-ак... Аникеев, спроси у фельдфебеля Клюгге: подтверждает ли он эти показания?

Плюгавый фельдфебель щелкнул каблуками и отчеканил — подтверждает. Тенюков спросил:

— Я не ослышался?

— Подтверждает, товарищ капитан, — сказал Аникеев. — Хоть один палач угодил нам в лапы.

— Жаль, что один. Ничего, сержант, доберемся и до прочих. А пока этого — хлопну... Лично! — Трясущимися пальцами он расстегнул кобуру, выхватил пистолет, передернул затвор, вгоняя патрон в патронник. Но на руке у него повис Данилкин, пытаясь повернуть пистолет стволом вверх или вниз, к земле. Немцы в ужасе застыли, испуганно замерли и советские. Лишь Таги-заде не потерял самообладания, бросился на помощь Данилкину:

— Опомнитесь, товарищ капитан!

— Пустите! Пустите меня! — Тенюков яростно вырывал руку, не вырвал, однако нажал на спусковой крючок, грянул выстрел, и пуля, посвистывая, ушла вверх. И вторая ушла туда же, прежде чем Данилкин и Таги-заде отобрали пистолет у комбата. Тот мучнисто белел лицом, как парторг сержант Аникеев, губы судорожно подергивались, руки хватали воздух.

— Вы! Отдайте мне пистолет!

— Ни за что, — сказал Данилкин, тоже трясясь. — Сгоряча напорешь, наломаешь дров, после не расхлебаем. Успокоишься — отдадим.

— На глазах у личного состава унизили комбата!

— На глазах у личного состава, — сказал Данилкин, — ты мог совершить проступок. От которого непросто отмыться.

— Ладно, х... с вами. Не буду стрелять этого гада. Пистолет!

— Слово офицера?

— Да.

— Точно?

— Дважды повторять не намерен.

— На. Держи.

Тенюков взял пистолет, задумчиво посмотрел на Данилкина, подул в дуло. Поставил на предохранитель и сунул в кобуру. Все вздохнули с явным и скрытым облегчением, хотя понимали: следующий, третий патрон остался в патроннике, чуть что — и пуля вылетит из ствола. Куда? Куда ее направят.

Тенюков провел ладонью по лицу, будто стирая мучнистую бледность, и сказал:

— Денис, радируй в полк. Замполиту. Его не будет — доложишь Коноплеву.

Гусейн, разберись с солдатскими книжками пленных, с остальными трофейными документами. Я схожу на картофельник, проверю, как хоронят наших.

— Понял, командир. Будь осторожен, на мину не наступи.

— Постараюсь.

В сопровождении двух автоматчиков, сутулясь и как-то странно кренясь вправо, капитан Тенюков пересек площадь и скрылся в подлеске. Данилкин глядел ему вослед и представлял, как командир батальона станет бродить по полю, от братской могилы до братской могилы и, может, салютно разрядит свой "ТТ" над скорбными рукотворными холмами. Лишь бы не разрядил в раненых немцев, которых мы не всегда подбираем, попозже подбирает местное население, свозит к нам в санчасть. Немцы, как правило, добивают наших раненых, мы это категорически запрещаем, но поди уследи за каждым. Да и накипело у людей на сердце: столько всего натворили гитлеровцы на советской земле! У Данилкина был случай: засек, как пожилой щербатый солдатик в размотавшихся обмотках и несоразмерных английских ботинках-утюгах проколол штыком немца с оторванной кистью. "Ты что творишь, паразит? — заорал Данилкин. — Раненого добиваешь?" — "Так точно, чтоб не мучился, один хрен — помрет", — ощербатился солдатик... "В медпункте ему помощь оказали бы, глядишь, и поправился бы фриц". Солдатик вдруг озверел и рявкнул: "Хлюпик! Агитуешь, чтоб я щадил выродков фашистских? Тех, что стрелили в Курске мою семью, да унучков, а дочку снасильничали и подняли на штыки? Ах ты, комиссаров жалельщик, вали отседа, я за себя не ручаюсь!" — "Угомонись", — сказал Данилкин и не ведал, что еще можно сказать.

Пока Таги-заде с поседевшими от пылюки и поникшими усиками разбирался с трофейными документами, допрашивал пленных, Данилкин разговаривал по рации. Полковой замполит ушел с третьим батальоном, и потому он докладывал подполковнику Коноплеву, — обо всем доложил, кроме попытки самосуда комбата. Коноплева новость о распятом сержанте взволновала, он сказал, что это — вопрос большой политики, он донесет наверх, наверное, этим займется, возможно, не дивизия, а армия. Велел выставить у трупа пост и ждать, когда подъедет командование полка.

— Скоро буду у вас, — сказал Коноплев.

— Ждем, товарищ Пятый, — сказал Данилкин. — До свидания.

— Встречайте!

— Встретим как положено, товарищ Пятый!

Конечно, как положено. Разве что без оркестра. Да он и не положен. Хотя полковой оркестр, именуемый также музвзводом, — под рукой: оркестранты в наступательных боях превращаются в похоронную команду. Отыскивают убитых, сносят в кучу, роют поместительную яму, закапывают в ней убитых, — вот и вся музыка, братская могила готова. Сейчас там, среди полковых музыкантов, комбат Тенюков. Прощается с убитыми.

— Комиссар, — позвал Таги-заде. — Подойди-ка сюда!

— Что там?

— Иди быстрей! Кое-что в кипе попалось. Я аж затрясся!

— Ну? Иду, иду.

Затрясло и Данилкина, когда Таги-заде передал ему серую картонную папочку с оборванными тесемками.

— Что это?

— Насколько я петрю в немецком, протокол допроса. А это — красноармейская книжка казненного. Он — Смирнов Юрий Васильевич, гвардии младший сержант. Из первой роты семьдесят седьмого гвардейского стрелкового полка.

— Не может быть!

— Может, комиссар...

— Не напутал, Гусейн? Подполковник Коноплев сказал: это большая политика.

— Не напутал, комиссар. Да можешь ознакомиться сам, и поймешь. А для точного перевода допроса привлеки сержанта Аникеева, он великий знаток немецкого языка. Шпрехен зи дойч?

— Неостроумно. Скажи: неужто допрос зафиксирован?

— Зафиксирован, комиссар, зафиксирован. Немцы — народ аккуратный, порядок уважает и блюдет!

Солнце плюхалось в болота, за лесами, лимонно-желтый свет подкрашивался сумеречью, читать еще можно было, однако Данилкин приказал ординарцу Крав-

цу подсвечивать ручным фонариком яркости автомобильной фары, — и точку с запятой узришь. Прежде чем Аникеев начал переводить текст допроса, замполит развернул комсомольский билет, заляпанный кровью. Но фотография два на четыре не была запачкана, и лицо парня разглядывалось четко.

Но чем больше всматривался в фотографию Данилкин, тем больше убеждался: ничего схожего между этим юным, тонкой лепки лицом и тем лицом, в блиндаже, — постаревшим, распухшим от побоев, в кровоподтеках, со сломанным носом и выбитыми глазами. Как будто тот, в блиндаже, слепой старец, а этот, на фотографии, — его зрячий внук.

Но это был один и тот же человек. В комсомольском билете сквозь пятна засохшей крови читалось: год рождения — двадцать пятый, член ВЛКСМ — с 1943 года. Юноша, мальчик. Которого смертно состарили пытки и казнь. Однако в нашей памяти он останется вечно юным, сказал себе Данилкин. Как на фотокарточке, ведь правильно говорят: мертвые остаются молодыми. То есть такими, какими погибли. Юрий Смирнов погиб в девятнадцать (или в восемнадцать?) лет. Прости, Юрий Васильевич, что не взяли Шалашина раньше и не вызволили тебя...

Да, комсомолец. А мог быть и коммунистом. А мог быть и беспартийным. Главное — он был русским, советским воином. Да, да, это главное — русский воин, советский патриот. Риторика? Патетика? Брешите, суки! Это высокие, святые слова, и они не потускнеют от времени.

Потом сержант Аникеев, с паузами, то запинаясь, то заикаясь, переводил с немецкого допрос Юрия Смирнова, и чем дальше переводил Аникеев, тем острее становилось у Данилкина сожаление, что, пожалуй, зря он перехватывал руку комбата, что нужно было прикончить этого садиста Клюгте до всяких там трибуналов. Он слушал Аникеева и временами как бы незряче взглядывал на съежившуюся фигуру фельдфебеля.

Что он вытворял, зверюга! Вместе с фельдфебелями Метке и Ротенбау. А ведь Юрий Смирнов был уже ранен в бедро, когда танки были обстреляны из Шалашина, — он упал с танка, в суматохе боя, в ночном мраке товарищи этого не заметили, так гвардии сержант оказался в плену. Его приволокли в блиндаж. Гауптман Вильгельм Шейнеман потягивал коньяк, заедал эрзац-шоколадом, задавал вопросы, а Юрий Смирнов, сказавши: “Я присягу принимал, военный тайны не выдам”, только стонал после этого и мычал. А истязателям надо было знать маршрут, цель, конечный пункт танкового десанта, воинское звание и фамилию командира десанта.

Пытки не сломали гвардии младшего сержанта, — он терял сознание от боли, его обливали из ведра и продолжали изуверство. Допив французский коньяк, гауптман Шейнеман приказал распять русского на стене блиндажа. Что и выполнили три фельдфебеля, двое из которых сбежали, а один — вот он, забился в кучу пленных. Гадина! Их надо давить, пока не укусили. Но и после того, как укусят, — не поздно. Ибо снова уже не ужалят.

— Товарыш старший лейтенант! Не желаете чого пошамать с трохвейного? Сало шпиг, рыбная консерва, копчена ковбаса... Я пробу сымал: скуснотишша. — Ласковый, заискивающий, завораживающий голосочек Леньки Кравца.

— Не желаю, — Данилкин и не повернулся к нему. — Подожду комбата, с ним перекусим.

— А я желаю, товарищ Ленька. Дай кусочек копченой и пару галет, — сказал Таги-заде.

— Товарыш лейтенант, — словно обидевшись, ответил Кравец. — Я обслуживаю комбата и замполита. У вас же е свой ординарец, он обязанный заботиться.

— Мой ординарец убит, — сказал Таги-заде. — Еще до Шалашина.

— Простить, — сказал Кравец, однако без намека на извинительный тон, по-прежнему грубовато. — В данном случáе угощу, товарыш лейтенант. Колы вы ишо и охвицер...

— Совершенно верно. Будущий старший лейтенант. Если доживу до присвоения.

— Доживете! Каки могуть быть сумневания?

— Правильно, Кравец, — сказал Данилкин. — И отвали лейтенанту харчишки, не скупись.

— Слухаюсь.

— Забота о живом человеке — первейшая забота партии, как учит товарищ Сталин, — сказал Таги-заде. — Комиссар, ты на высоте. Как и всегда.

— Не ерничай, Гусейн. И лопай трофеи, — сказал Данилкин и подумал

сперва об ординарце Кравце, который принес им весть про Женю Жубицына, теперь вот — про Юру Смирнова. А потом подумал об этих двух погибших людях: один, чтобы не убивать других, убил себя сам, второй безоглядно воевал как солдат и умер как мученик от рук врага. Какие противоположности, как будто два разных полюса. И никогда не сольются в одно, в целое.

15

Стараясь быть обстоятельным и все-таки торопясь, комкая, Данилкин рассказал комбату о разговоре с подполковником Коноплевым, о тексте допроса, переведенного сержантом Аникеевым, показал красноармейскую книжку и комсомольский билет Юрия Смирнова. Капитан слушал, не перебивая, долго разглядывал фотографию казненного. Сказал:

— Мой земляк, из Костромской области. Из Макарьева. Этот городок недалеко от моей деревни, от Антиповки. Вот как сводит земляков судьба-индейка...

— Да-а, — сказал Данилкин. — Судьба-индейка, жизнь-копейка.

— А еще у меня были земляки. Братья. Погодки. Петя, Паша, Витек. Сгибли на фронтах Великой Отечественной. Кто под городом Ленина, кто под Таганрогом, а кто на Балтике, на флоте. Младшак мой, Витя, старшина второй статьи, погиб в торпедной атаке, покоится в морской водице под Кронштадтом.

— Понимаю, Модест. У меня братки отсутствуют, зато свояки есть. Вернее — были. Сложили головушки. Один под Одессой, второй — под Грайвороном, это также на Украине. Ты меня понимаешь?

— Вполне, Денюшенька.

— Вот видишь, как мы с тобой находим общую тему.

— Бывает. Да и почему не найти?

— Действительно, почему?

Тенюков не ответил, достал из костра тлевшую, в пепле, хворостину, прикурил от нее папироску, задымил, щурясь от табачного дымка. Духота густела, мешала дышать. Вечерняя прохлада где-то таилась в болотах, готовая — рано либо поздно — внезапно обрушиться наземь. И небесный свет меркнул, но заторможенно, как в испорченном кино. И Данилкину казалось: заторможенно, но неожиданно все сломается, и тени хлынут враз, обвально, неостановимо. Да и то: закон природы — после света тьма. А уж утром разберемся, что к чему.

— Замполит, Гусейн... передайте командиру хозвзвода: встретить Коноплева по высшему разряду, по высшей категории, стало быть, — скучно сказал Тенюков. — Извиняйте-прощайте: выпивка чтоб в избытке, ну и закусь подобающая. Порядок в танковых войсках!

— Будет порядок, товарищ капитан, — сказал Таги-заде. — Как скажете, так и будет.

— Уважаю порядок, — сказал Тенюков, выгибая и разгибая спину. — Основа — порядок, мать передышки... Вообще... Передышка!

— Понял, Модест, — поворачиваясь лишь к комбату, сказал Данилкин. — Хоть ты и сбивчив...

— Что понял, Денис?

— Все понял. И вообще, как ты выражаешься... Передышка — мать всего прочего...

— На войне — факт, а не реклама!

Данилкин говорил с комбатом, а сам думал: у Модеста трое братьев сгибло, среди них — Витя, старшина второй статьи на "сторожевике", погиб на Балтике под Кронштадтом, захлебнулся, утонул под свинцовой балтийской волной. Братская могила. Морская.

А ведь когда-то Денис Данилкин мечтал о море. О морской службе, конечно, — не о морской могиле, не о бездонной пучине. О, дурость юношеская! Начитался книг, насмотрелся фильмов о моряках — отравился этой идиотской флотской романтикой! Как матрац сеном, набило его военно-морской фразеологией, доселе не выветрится, нет-нет да и употребит из другой оперы. Словом, старлей! А на флот его не взяли, как ни упрашивал военкома. Потому как разнарядка по флоту была выполнена, и упитанный бритоголовый, как легендарный комбриг Котовский, районный военком турнул его из кабинета:

— В пехоте будешь топать! А пока отсюда топай!

Патриотические чувства Дени Данилкина оскорблены не были: служить-то

в Красной Армии будет, что почетно и славно, ну а не на корабле — что ж, Военно-Морской Флот — это те же Советские Вооруженные Силы, куда входят все рода войск. И пехота, и моряки. Главнейшее — на шлеме или пилотке у него будет красная звездочка! Так успокаивал себя Деня Данилкин. И успокоил. И нормально служил срочную в стрелковых до войны, нормально служил и с июня сорок первого. А умирать на суше даже не так страшно, как на воде. Тут тебя зароют в землю, заимеешь какую-нибудь могилку. А на море?

— Слушай, Леонид, — так же скучно сказал капитан Тенюков. — На Бога надейся, а сам не плошай. Так вот, на командира хозвзвода надеюсь, но и на тебя тоже. Выпивка, закусь в наличии?

— В наличности, товарыш капитан.

— Хватит, если полковое начальство разгуляется?

— Не так, шоб дюже, но хватить... Як добавок к запасам хозвзвода...

— Пошуруй по закромам дополнительно. У тебя нюх на это собачий.

— Трошки маю, товарыш капитан, — не без гордости сказал ординарец.

— Ну и шуруй! Да и для батальонного начальства чтоб было!

— Як штык буде, товарыш капитан!

— Действуй.

— Слушаюсь...

Примостившись на срубе, подложив под блокнот планшет, комбат писал донесение командиру полка о бое и его предварительных итогах. На пеньке примостился Данилкин и писал донесение по своей линии — замполиту полка, писал о прошедшем бое, накоротке, о подвигах коммунистов и комсомольцев — подробнее и еще более подробно, в деталях, о случае с гвардии младшим сержантом Юрием Смирновым.

Когда оба закончили свои сочинения, как назвал их комбат, вовсе стемнело, на торфяниках зажглись светлячки, — блуждающие болотные огни напоминали о чем-то загадочном, нездешнем, потустороннем. И — угрожающем. Да нет, какая эта угроза, на войне угрожает другое и не так.

Полковые штабисты во главе с подполковником Коноплевым не подъезжали, зато по-ямщицки лихо подкатила полевая кухня с пшенной кашей, вторая — с чаем. И вздремнувшие было славяне вмиг пробудились, а бодрствовавшие с котелками и кружками уже выстраивали хвостатую очередь у кухонь, на которых восседали степенные, исполненные достоинства повара в белых, не первой свежести куртках и колпаках, с медными черпаками — их боевым оружием.

Фронтовой быт соткан из невероятных противоречий, и еще недавно потрясенные видом распятого на блиндажной стене сейчас уже деловито, сноровисто стучали ложками о стенки котелков, усердно выскребали дно, затяжными глотками пили невкусный теплый чай. Невкусный? Черта с два! После беготни в бою, когда исходили потом и жажда железно скреблась, — чаек был очень недурен. И пили сколько влезет.

Батальонное же начальство держало марку и не спешило есть пересоленную, подгоревшую пшенку, запивая теплым жиденьким чаем. Ждали подполковника Коноплева и его свиту, чтобы угостить вышестоящих как следует, по-фронтовому, да и самим соответственно угоститься. А ужин — не волк, в лес не уйдет.

На войне непредсказуемо, неугадываемо? Ну, разумеется. Ибо заодно с командиром полка и его штабистами прикатили те два "смершевца" и следователь из дивизионной прокуратуры, которые толклись в батальоне после самоубийства Жубицына, плюс их более высокий коллега — подполковник из армейского "Смерша". Ого, специфическое начальство преобладает, при виде коего и Тенюков, и Данилкин чуток слиняли. Армейский "смершевец" носил то ли еврейскую, то ли немецкую фамилию — Шварцберг, но больше походил на немца: белесый, с серыми стальными глазами, с арийским выдвинутым подбородком. Он-то и задал потом самого крутого жару комбату-один и его замполиту. Хотя, спрашивается, за что? Впрочем, в армии с незапамятных времен известно: начальство всегда право. Да и не только в армии...

Тенюков доложился, командир полка поручкался, представил гостей. Никто из них руки не подал, а следователь из дивизионной прокуратуры цмокнул:

— Да мы с комбатом знакомы, как же. По факту самоубийства бойца Жубицына общались. Жаль, не дообщались...

— Все впереди, еще пообщаемся, — резко, по-немецки лающе сказал подполковник Шварцберг.

— Может, сперва перекусим с дороги? — спросил Коноплев. — По-быстрому подкрепимся — и за дела?

— Пожалуй, — сказал "смершевец" Шварцберг и стеганул себя по голенищу прутиком, как стеком. Хм, истинный ариец. И выправка, осанка арийская, гордая. Как занесло его в Особый отдел, в "Смерш"? Не строй из себя идиота, капитан Тенюков, лучше-ка бегай на полусогнутых, коль лицезришь знатных гостей. Хотя неизвестно, кто здесь гость, а кто хозяин. Вернее — известно...

— Ну-с, комбат, веди в апартаменты, которые отвел для нас, — сказал Коноплев, подергивая лицевым мускулом — последствие давней контузии.

— Слушаюсь, товарищ подполковник, — козырнул Тенюков. — Во-он там блиндаж, просторный и удобный. Стол уже накрыли. А умыться можно тут, у колодца.

— Одобряю, комбат! Товарищи, помоем руки, ополоснем физиономии.

— Пожалуй, — по-фрицевски пролаял подполковник Шварцберг.

— Кравец, поливай! Вот ведро, вот кружка. Вот мыло и полотенца, — сказал Тенюков, и ему сделалось тошно, как будто он сам ординарец.

Первому Ленька Кравец слил из кружки подполковнику Шварцбергу, а вафельное полотенце подал Данилкин, — приспособили и замполита, невелика шишка, поуслужничает, пускай и отводит взор: тоже, вероятно, не в восторге от своей роли. Затем умывались и остальные чины: фыркая, плескаясь, с удовольствием.

— Разрешите вести? — обратился Тенюков к командиру полка.

— Веди, веди, Сусанин. — Коноплев засмеялся, смех его не поддержали. И это тот Коноплев, который приказывал гнать из батальона мешавших работать "смершевцев" и следователя? Он?

Ленька Кравец, раскрасневшийся и разволновавшийся, и бывалые ребята из хозвзвода расстарались: на покрытом клеенкой солидном столе обилие бутылок и тарелок с закусью, аж в глазах рябило. Подполковник Коноплев, удовлетворенный, сказал:

— Узнаю первый батальон. Умеют встречать. Будет с чем повоевать. А, товарищи?

— Пожалуй. — И Шварцберг первым опустился на лавку.

Когда гости расселись, подполковник Коноплев милостиво кивнул Тенюкову:

— Присаживайся и ты. Да и ты, Данилкин, присядь. Хотя бы накоротке. Знаю, у вас забот полон рот.

Армейский особист явно чувствовал себя в этой компании за главного, потому что разрешающе обронил:

— Пусть, пусть посидят немного, товарищ Коноплев. А следом займутся делами, в том числе подготовятся к беседе со мной. И с моими коллегами из дивизии.

— Понял, — сказал командир полка, подергивая щекой. — Приступаем к ужину?

— Приступаем. Учтите, однако: водки не пью, предпочитаю вина. Найдется?

— Как не найтись? — Коноплев услужливо подвинул к Шварцбергу пузатую, но узкогорлую бутылку с пестрой наклейкой. — "Бордо". Французское вино, доводилось пробовать.

— И как?

— Отличное красное!

— Налейте мне кружку.

— Исполним! — Подполковник Коноплев наливал в белую эмалированную кружку темно-красную пенистую жидкость и командовал: — Остальные наливают себе кто чего и сколько пожелает. Шнапс, ром, коньяк... Комбат, мне плесни водчонки! Закуску тоже сами выбирайте...

Тенюков наполнил коноплевскую кружку, а его кружку наполнил Данилкин — тоже шнапсом. Себе плеснул того же, водки, что у интендантов проходит как продукт № 61. На сей раз продукт N 61 был немецкий, хуже нашего и по вкусу, и по крепости, но пить можно. Да чего, скажите, нельзя пить мужику? Но и комбат, и замполит выпили без охотки, лишь пригубили, когда над столом вознесся подполковник Шварцберг:

— Товарищи! Предлагаю тост за Родину, за товарища Сталина! За кровную месть кровавому врагу — гитлеровскому фашизму!

Почему и комбат, и Данилкин выпили без охоты — понятно и ежу: не

уважали пить при высоких чинах, тем паче из Особого отдела, — нужно было блюсти себя, быть на стреме, не вякнуть что-нибудь не то.

Тенюков хлебнул шнапса и как будто впервые уловил: армейский "смершевец" картавит, слегка, правда. Так и немцы иногда картавят, в зависимости от диалекта. Но подполковник Шварцберг не был немцем, — совсем наоборот. Что ж, бывает. И в органах "Смерша" попадаются те, кто совсем н а о б о р о т.

Не поспели п р и л о ж и т ь с я, как Шварцберг, не присев, провозгласил:

— Предлагаю: за наши славные органы! За Лаврентия Павловича Берию и его соратников! До дна!

Вот те на! За Сталина не призывал пить до дна, а за Лаврентия Павловича — до капельки. Служебная специфика? Ну, а за органы — выпить можно и должно, они бывают у человека весьма потребные. Когда работают.

Комбат-один глядел поверх голов сидящих за столом, куда-то в неведомую даль, и бледнел. С чего он бледнел? Почти не пил. И тут Данилкин подумал: прибывшие стучат кружками, звякают стаканами и вилками, перебрасываются застольными словесами, но никто, никто не помянул, что в соседнем блиндаже лежит завернутый в плащ-палатку, снятый со своего чудовищного креста Юрий Смирнов. А ведь командир полка Коноплев Афанасий Лукич назвал все происшедшее большой политикой. Или она превратилась в маленькую?

Но гвардии младшего сержанта вспомнил армейский "смершевец" Шварцберг. Обращаясь в упор отчего-то к капитану Тенюкову, он сказал:

— Вы тут все умные, талдычите, что Юрий Смирнов герой? Дескать, вынес пытки, не выдал военной тайны? Ах-ах! Поставлю вопрос в иной плоскости: как он посмел очутиться в плену? Как не предпочел смерть плену? Присяга нас чему учит?

— Это вы меня спрашиваете, товарищ подполковник? — еще заметнее побелев, спросил Тенюков.

— Тебя, тебя, кого же еще?

— Я считаю: Юрий Смирнов честно выполнил присягу. А в плен попал раненый, без сознания...

— Хоть звание Героя Советского Союза присваивай, ах-ах!

— Будь моя воля, товарищ подполковник, я бы представил его к Герою.

— Щедрая ты у нас, широкая натура. Ты бы, комбат, и самоубийцу Жубицына представил к правительственной награде, а?

— С Жубицыным иное...

— Да, иное! А что в предсмертной записке он своей грязной рукой написал про партию — это как понимать? Как расценивать?

— Не знаю, товарищ подполковник.

— Мы узнаем! Раскрутим! И я, и мои дивизионные коллеги по "Смершу" и военной прокуратуре. И роль командования батальона высветим. Как у вас с политико-моральным воспитанием личного состава, что вы с Данилкиным за люди — расследуем, не беспокойся.

— Я не беспокоюсь, — сказал Тенюков и отхлебнул из кружки, зажевал кусочком колбасы.

— А зря! У нас с крючка не сорвешься! Как только условия позволят, бои прекратятся, все раскрутим. И если что — не пощадим. Относительно же Смирнова... он не герой, а скорее нарушитель присяги и уставов.

— Самуил Аронович, — мягко сказал подполковник Коноплев, — про Юрия Смирнова доложено командиру дивизии и выше, вплоть до командарма. Насколько мне известно, пропаганда наша намерена сделать из него Героя. Решено до Москвы довести.

— Это мы еще посмотрим, — сказал Шварцберг и хлопнул ладонью о пустую кружку. — Афанасий Лукич, подлей мне "Бордо", чтоб я был бордее... бодрее!

Он уже был на взводе, но Коноплев безропотно наполнил ему кружку до краев. Шварцберг хотел было встать, однако покачнулся и не встал. Произнес печально:

— Помянем жертвы войны, жертвы фашистских палачей. В том числе и гражданского населения. — Он выпил полкружки и продолжил: — В Краснодаре проживал мой дядя с семьей, известный скрипач, профессор Вилик. Немцы расстреляли его и семью, как и всех евреев оккупированного Краснодара. После освобождения в сорок третьем выяснилось...

И сидящие за столом увидели, как влажно заблестели глаза особиста. Он отвернулся, промокнул их носовым платком. Вздохнул и допил кружку. Тенюков

подумал, что подполковник Шварцберг, конечно же, совсем н а о б о р о т, но по-человечески его жалко, ибо страдает он от войны подобно всем прочим. А подполковник, будто отвергая эту жалость, сказал:

— Афанасий Лукич, отпустим комбата и замполита? Посидели — пора и честь знать. Пусть занимаются батальоном, да получше. А мы с ними еще побеседуем. По душам! Обещаю им этот разговор...

Когда они поднялись по обрушенным при артобстреле ступенькам блиндажа и на пяток шагов отошли от входа, не сговариваясь, жадно задымили папиросами-“патрончиками”. Данилкин сказал:

— Выпить бы, командир! Без них, без пришлых. В своем составе.

— Не хочу.

— Вообще не хочешь?

— Вообще, — сказал Тенюков, и Данилкину показалось, что в загустевшей, как болотная жижа, темноте он увидел, какие же не греющие глаза у комбата.

— Ладно, не будем пить. Сподобимся соснуть. Сколько получится.

— Давай. Надо как-то забыться, надо как-то восстановить силенки и нервишки.

— У меня плащ-палатка, приляжем вон под тем кустиком.

— Приляжем, — сказал Тенюков и внезапно выплюнул недокуренную папиросу. — Скажи, Денис, как же это можно: даже не взглянуть на Смирнова, на мученика, — прямиком к столу, к выпивке и жратве? Или аппетит себе не хотели портить?

Данилкин шаркнул ногой — под подошвой хрустнул сушняк — и тоже выплюнул недокуренный “патрончик”, выплюнул с каким-то даже ожесточением:

— Откуда я знаю? Норов у них, значит, такой. Повадки, привычки такие...

— Начальство — и все сказано. Власть портит человека. Почти каждого.

— Мы с тобой, Модест, тоже начальники. Пусть и помельче этих.

— Так и в нас дерьма напихано вполне достаточно, Денис. Хотя и поменьше, чем у... — Он не договорил и кивнул в сторону штабного блиндажа.

— Станем начальниками побольше, и дерьма в нас станет побольше? Это хочешь сказать?

— Да. Скверно, если это все-таки закономерность.

— Но есть же исключения?

— Есть. Это мы с тобой.

И оба невесело, вымученно засмеялись. Помолчали. Тенюков сказал:

— Меня впечатлил подполковник Шварцберг, похожий на арийца. И на гестаповца также. Помимо прочего, впечатляет его изначальная подозрительность. А когда тебя начинают в чем-то усиленно подозревать, то и в натуре начинаешь чувствовать: ты в чем-то виноват.

— Точняк, — сказал Данилкин. — Шьют, шьют тебе что-нибудь — невольно начинаешь искать в себе гнильцу.

— Давай, однако, друг Денюша, засыпать, — сказал Тенюков и задышал мерно.

— Давай, — сказал Данилкин, повернулся на другой бок, и сонливость как рукой сняло. Где-то громыхали взрывы, стучали пулеметы, гудели самолеты, взревывали танки. “Колыбельная войны”, — подумал Данилкин. Ну и спи под нее, ты же привык к ней, сроднился, можно сказать. Но иногда не спится под эту колыбельную войны, тоже мне поэт, придумал образ, ерунда на постном масле, язви ее матерь, как выражался бывший ординарец Данилкина Вовка Лапшов, был, был у него свой, личный, пока комбат Тенюков не решил: хватит им одного на двоих. Так замаячил на горизонте Ленька Кравец из Харькова. Коего Леньку замполит Данилкин отчего-то недолюбливает. А замполит, между прочим, должен относиться ко всем ровно, одинаково, не делить на любимчиков и нелюбимчиков. Много чего должен, да не все получается путем.

И не только у него, и не только в этом. Вот — рассуждали они с комбатом: бесконтрольная, беспредельная власть развращает человека. А возможность убивать физически не развращает? Понятно, понятно: ты не убьешь — тебя убьют, тут на опережение. И все-таки справедливое это право не обернется ли после войны некоей обязанностью? Ну, не обязанностью — привычкой решать оружием, легким отношением к чужой смерти? Не задубеем ли, не ожесточимся ли до упора? Не окажется ли с нами это ожесточение в послевоенные десятилетия, не передастся ли по наследству детям?

Данилкин гнал от себя эти и другие мысли, как назойливых слепней, а они все липли, жужжали, жалили, не давали уснуть. Наконец, задремал и увидел сон,

который снился ему на фронте раз десять — пятнадцать. Будто отстал он от эшелона. Как наяву: выскочил Данилкин из пристанционного буфетика, а хвостовой вагон уже за выходными стрелками. Кошмар и ужас! Потому как в ушедшем эшелоне, в обжитой теплушке — личное оружие, планшет с удостоверением личности и прочими документами, лишь партбилет в нагрудном кармане. Данилкин пытается бежать, нагнать воинский эшелон, но хвостовой вагон скрылся за семафором. Платформа обрывается, на краю стоит сомлевший от беды Данилкин. На сей раз к нему, звеня шпорами, подходит военный комендант и бесцеремонно дергает за плечо:

— Прозевал, растяпа?

— Прозевал, — стонет Данилкин.

Но комендант не перестает трясти за плечо, и Данилкин слышит иные совсем слова и признает тенюковский голос:

— Подъем, Денюша!

— Что? — не сразу сообразил Данилкин.

— Приказ выступать. Ночной марш.

— А как же поспать, отдохнуть?

— На том свете отоспимся.

16

— Приказ командира полка? — спросил Данилкин.

— Командира дивизии. Но передан через командира полка, — ответил Тенюков. — Коноплев вызвал меня к себе, сообщил о требовании комдива по рации: первому и второму батальону идти вслед за третьим на Оршу. Немедленно!

— Без роздыха — и ночной марш?

— И ночной бой. Возможно, и не один.

— А чего ж меня сразу не взбудил?

— Зачем? Пока я кантовался у командира полка, ты вздремнул.

— Спасибо, командир.

— Не за что. Но теперь, Денюша, продирай глазыньки — и за труды праведные...

От трудов праведных никуда не денешься. Плохо, что не дали батальону отдохнуть, маленько восстановиться, ведь личный состав измотан до чертиков. Никакого передыху, дьявол забодай. А, между прочим, и война в иночасье отдыхает. Как сейчас: артиллерийская и пулеметная стрельба прекратилась, — лишь в немецком и нашем тылу серия утробных взрывов: работала ночная авиация. Зато днем летчики-ночники отоспятся, придавят минут по шестьсот. А бедной пехоте, сиротинушке, ни днем, ни ночью нету покою. А немцы-то, немцы — они теперь и ночью воюют. В начале войны воевали исключительно днем, ночью — отдых, привыкли к комфорту. Но русские приучили их воевать в любое время суток. И они, вояки смелые и стойкие, надо отдать должное, сражались ночью не хуже, нежели днем. Научили их на свою голову!

Темнота окружала, давила, будто сплющивая людей и предметы. Изредка ее пропарывали белесые осветительные ракеты и ракеты сигнальные — зеленые и красные. И огромное зарево дрожало в небе за лесом, где предположительно находилось шоссе, ведущее на Оршу. Большим городам на войне достается больше всего, и горят они ярче и дольше городов небольших и поселков. Хотя Оршу — районный центр Витебской области — особо большой не назовешь. Но крупный железнодорожный узел — это точно.

Под звяканье оружия и котелков, под зевки и матюки первый батальон построился у околицы. Озабоченный, притопал подполковник Коноплев, от которого исходили воля, решительность и душок шнапса. Капитан Тенюков доложил о готовности батальона к маршу. Коноплев недослушал, сказал:

— Добре, добре. Выступайте. И постарайтесь выдержать темп. Чтоб нагнать третий батальон. А я со штабом снимусь через полчаса после вашего выхода. Тенюков, не теряй бдительности: по лесам бродят остатки разбитых немецких частей, возможны засады.

— Понял, товарищ подполковник.

— Ну, двигай с Богом. Боковое охранение не забудь усилить.

— Не забуду.

— Начинай марш!

— Есть!

Данилкина так и подмывало спросить командира полка: товарищ подполковник, а ваши почтенные и почетные спутники, "смершевцы" и следователь прокуратуры, тоже отбудут с вами? Либо будут ждать, пока бои уйдут подале? Они же жаждут с нами покалякать? О Жене Жубицыне, о Юрии Смирнове, о ком еще? О чем еще? Темы они найдут...

Колонна плелась, постепенно вытягиваясь из бора и втягиваясь в ритм, скорость которого задавал ехавший впереди на своей кобылке капитан Тенюков. Излишней стройности в рядах не было, и Данилкин понимал, как вообще нелегко неотдохнувшим солдатам топать впотьмах, по колдобистому бездорожью, борясь со сном. Уснуть на ночном марше проще пареной репы: как будто в омут нырнешь, как будто сознание потеряешь — брякнешься, как подрубленный, под сапоги идущих вслед; таких обходят или поднимают под мышки, встряхивают, ставят на ноги, ругают:

— Очнись, хрен собачий! Перепил шнапса, что ли? Гляди раздавят! Топай, хрен моржовый!

"Изящная словесность", — машинально отмечает Данилкин и старается не отставать от покачивающегося в седле комбата. На этом марше он изменил своему правилу — идти с ротами, в гуще солдатской. Потому — желал быть рядом с комбатом, чтобы тот воздерживался от слишком уж лихого темпа. И не зря желал: Тенюков взбадривал кобыленку шенкелями и прутом, она зашустрила, и Данилкин, как ни тщился, начал приотставать. Крикнул:

— Командир, умерь прыть!

— Пошто так? — обернулся в седле Тенюков.

— Батальон за тобой не поспеет.

— Поспеет.

— Люди сдохнут. Ты же не слепой: вымотались донельзя.

— Поглядим — увидим. Приказы надо выполнять, я и выполняю. Темпа пока сбавлять не собираюсь. Ферштеешь?

— Ферштею. Но ты не прав.

— Поглядим — увидим. Аллюр три креста, Дочь Чойбалсана!

Так он окрестил монголку, одну из тысяч присланных братской Монголией в дар сражающемуся Советскому Союзу мохнастых, низкорослых, но выносливых лошадок. За "Дочь Чойбалсана" Тенюков заработал замечание от полкового замполита ("Чойбалсан — вождь монгольского народа, и имя лошади звучит бестактно"), да и "смершевцы" предупредили:

— Комбат, смени кличку лошади.

Тенюков сменил на Звездочку, ибо на лбу у монголки белело пятипалое пятно, однако подчас забывался и произносил первоначальное: "Дочь Чойбалсана", хотя тут же поправлялся: "Звездочка, Звездочка". Поправился и сейчас:

— Аллюр три креста, Звездуха!

От комбата-джигита пока что не отставали широкие в шагу верный ординарец Ленька Кравец, возвернутый подполковником Коноплевым, и лейтенант Таги-заде, заделавшийся чем-то вроде заместителя капитана Тенюкова по строевой части. Кстати, Ленька Кравец и поведал: "смершевцы" и военный следователь не поедут с командиром полка, заночуют в Шалашине. Законно: в боях им делать нечего, подъедут днем, когда обстановка будет и яснее, и спокойнее. У каждого свои обязанности...

А вот старлей Данилкин, зам по политической части, отставал и от комбата, и от лейтенанта Таги-заде, и от Леньки Кравца. Напрягался, мобилизовывал наличные ресурсы, но будто кто-то отодвигал его от головы походной колонны. Незаметно Данилкин очутился в середине колонны, сбоку, слева. То есть там, где привык находиться на маршах.

А затем — теперь уже явно замечая это — перекочевал в хвост колонны. Отступать дальше, отставать еще было некуда. Нет, Данилкин сдохнет, откинет копыта, но больше не отстанет, будет топать здесь, замыкая батальонную колонну и не позволяя никому отстать, остаться за спиной замполита. Хромота донимала, сбивалось дыхание, пот разъедал ссадины и потертости, в глазах так темнело, что ночные предметы не виделись, все словно стиралось, и стоило неимоверных усилий, невероятного напряжения воли вновь обрести зрение и ковылять по просеке, а не черт знает куда. Хватало даже и на то, чтобы засечь отстающего бойца и по-командирски прохрипеть ему:

— Эй, мужичок, прибавь пару! Не то оторвешься от колонны, заплутаешь в лесу, нарвешься на фрицев!

Видимо, действовало последнее соображение, боец поддавал ходу, настигал замыкающих. А иногда действовало вообще нечто несуразное. Не замполит крикнул, а отделенный командир с ефрейторской лычкой:

— Не отставай, танцуй! Танцуй, паря!

Танцуй — в смысле рви когти, жми вперед, это нам подходит. И Данилкину вспомнилось: когда в батальон приходит полевая почта, то раздающие письмишки замполит или ротные, или старшины по неукоснительной армейской традиции приказывали счастливцу:

— Танцуй, а то не дам письма!

И счастливчик неловко, по-слоновьи топал, изображая некий танец, брал долгожданный мятый треугольник и, нетерпеливо разворачивая бумажку, отходил в сторонку, уединялся. А смог бы станцевать сейчас Денис Степанович Данилкин, получи он весточку из Североуральска, от жены и сына? Пожалуй, нет. Ибо нету ни капли силы. Хотя, впрочем, сыскал бы эту каплю и потопал ногами по-слоновьи: такое письмо оживило бы и мертвого, ей-Богу. Так что не отставай, паря, танцуй. Прав отделенный с ефрейторскими погонами: вперед, на Запад, и пошибче. И ты, старлей, тоже командуй. И Данилкин, хрипя, выдал:

— Товарищи, не отставать! Наша задача — нагнать третий батальон! Это приказание самого комдива! Вперед!

Из-под туч вывернулся месяц, и Данилкин увидел, что у ефрейтора отделенного погон держится на живой ниточке, вот-вот оторвется. "Пришить бы", — подумал Данилкин, как о чем-то существенном. И снова чернота пролилась с неба, словно лунного свечения не было в помине. Опять заколыхались смутные, размытые силуэты, — не воинский строй, а толпа.

Сколько прошло времени, Данилкин не знал. Оно для него как бы остановилось. Плелся с ожесточенным упорством, но на крики его не хватало, он лишь поднимал руку, слабым движением подгонял отстающих, как будто в темноте кто-то мог заметить это.

В какой-то момент Данилкин обнаружил, что отстающие солдаты начали подтягиваться. Не сразу сообразил: темп движения снизился. Неужто комбат решился на это? Похоже. Иначе комбат уедет один, а подразделения останутся далеко позади. Даже верный ординарец Кравец и лейтенант Таги-заде не угонятся за верховым. И когда вновь вынырнул ущербный месяц, Данилкину почудилось: все же это воинский строй, а не цивильная толпа.

Нет, точно: скорость марша замедлилась, и колонна уплотнилась. И вовремя. Потому что ее настигли тарантас подполковника Коноплева и несколько сопровождавших его конных автоматчиков. На всю дивизию легковая машина — "эмка" — была лишь у генерала, командиры полков обходились добытыми на войне линейками, дрогами, кибитками. Но самый знатный тарантас был у Коноплева: на рессорах, на колесах-дутиках, впряжена пара гривастых гнедых с затейливой сбруей, с возницей — чистопородным цыганом с серьгой в ухе. Этот тарантас тыловики добыли еще в Смоленске, и он переходил от одного командира полка к другому, оставаясь достопримечательностью части. Не тарантас, а шик и блеск!

Когда возница-цыган, лихач, осадил лошадей возле Данилкина, тот подбежал — откуда прыть взялась — к тарантасу, бросил пятерню к виску, доложил как положено. Подполковник Коноплев ворчливо сказал:

— Вижу, что на марше, хоть и темно. Не слепой. Плететесь, как дохлые. Садись, подвезу к комбату. Накоротке поговорим. Второй батальон неплохо идет, а вы — хреново. Что еще хуже — другие полки вырвались, а наш отстает. Батя втык мне сделал... Садись, говорю!

Но едва отъехали, как в голове колонны заварилась пальба, а следом с тыла тоже ударили по батальону — из пулеметов, из минометов. Командир полка мгновенно оценил обстановку:

— Фрицы устроили ловушку! Пропустили батальон и ударили. — Приказал: — Савелий, загоняй тарантас в кусты, мы заляжем в кювет! За мной!

Штабисты и конные автоматчики, спешившись, залегли и открыли автоматный и винтовочный огонь по вспышкам выстрелов на придорожных холмах. То же делали и солдаты батальона, — при свете луны было видно, как люди сбегали с просеки, залегали в кювете, в ямке либо за бугром, за пеньком, отстреливались: уловилась уже и пулеметная скороговорка. Не растерялись, молодцы, отметил Данилкин, выпуская короткие автоматные очереди в сторону холмов, что побли-

же: убойная сила автомата — сто — сто пятьдесят метров. Чертовы немцы: неплохо взяли нас в огневой мешочек, ни вперед, ни назад и вправо-влево далеко не уйдешь: болота, сами же фрицы засели на незаболоченных холмах. Вот тебе и разбитые деморализованные фрицы. Стойкие, гады. И коварные. Преподнесли сюрпризик. Вместо того чтобы драпать без оглядки, обложили нас и поливают огнем. Ладно, бой так бой. Не робейте, хлопцы, отвечайте огнем на огонь. С нами командир полка. Не пропадем, выстоим, пробьемся!

Трещали выстрелы, и темнота словно разрывалась с треском. Месяц скрылся, и Коноплев приказал:

— Передать по цепи, чтоб пускали осветительные ракеты!

Но и немцы стали пускать в направлении просеки осветительные ракеты. Каждый хотел видеть своего врага получше, чтобы бить наверняка. Насмерть бить.

Да, конечно: любой бой — это неразбериха и раздолбайство, однако ночной бой — неразбериха и раздолбайство втройне. Потому как — темно. Не знаешь точно, куда пулять, в своих можно вмазать. Куда продвигаться — вообще никому неведомо. Даже командиру полка. Спасибо выплывающему месяцу да осветительным ракетам. Последние надежней, ибо месяц то и дело заходит за тучу. Будем мудохаться до рассвета? И этого никто не знает.

И в какой уж раз старший лейтенант Данилкин ошибался: подполковнику Коноплеву было ведомо, что и как предпринимать. Сперва он прищучил своих штабистов:

— Как вы-то, поросята розовые, прозевали, что въезжаем в ловушку?

На что ответа не последовало. Затем пропесочил отсутствующего комбата-один:

— Тенюков-то, боевой вроде офицер, и тот вляпался в историю. Не батальоном ему командовать, а командой выздоравливающих ранбольных!

Тут ему кое-кто из штабных поддакнул. Затем Коноплев выдал — как будто самому себе:

— Это же позор на всю Европу для батальона, для полка! Что скажет о нас Академик? Обломает нам рога — и правильно сделает!

Обычно комдивов подчиненные ласково называют Батями. В сто девяносто второй стрелковой дивизии ее командира звали и Батей, и Академиком. Последнее прилепилось к генерал-майору Маевскому постольку, поскольку на фронт попал прямиком с преподавательской работы, с кафедры тактики Академии имени Фрунзе.

Данилкину он увиделся деликатным, интеллигентным человеком, который после кабинетной, вузовской работы, получив боевую дивизию, старался утвердить себя решительностью, строгостью, окриками вроде: "Обломаю вам рога!" или "Ноги повыдергиваю!" Но голос при этом повышал редко, носил пенсне и бородку-эспаньолку, — вполне профессорский вид, к тому же — доктор военных наук. В дивизии Маевского побаивались, но уважали и почтили прозвищем — Академик.

— Принимаю решение, — сказал Коноплев. — Полковой группе — продвигаться кюветами в голову колонны, к Тенюкову. Сколотим ударный кулак и будем прорываться через заслон. Прорыв возглавлю лично... Вопросы?

— Вопросов нет, — ответил замначштаба из-за спины Коноплева.

— Замполит, ты пойдешь с нами, в группу прорыва...

— Слушаюсь, товарищ подполковник, — сказал Данилкин.

— За тобой партполитобеспечение операции, хо-хо!

— Понял, — ответил Данилкин, хотя и не понял, что значит этот смешок командира полка. И как партийно-политически обеспечить? Агитировать за Родину, за Сталина, своим "ура" высекать групповой победный вопль? Так ведь в ночном бою атакуют без криков "ура", молча. Да и вообще кто сможет обеспечить успех боя, то есть в итоге спасти от смерти и коммунистов, и комсомольцев, и беспартийных большевиков? Разве что Всевышний, в которого верил покойный Женя Жубицын и в которого не верит покуда живой Денис Данилкин.

Подполковник, пригнувшись, затрусил по канавке, за ним штабисты, полковые автоматчики, Данилкин со своими автоматчиками и стрелками из разных, перемешавшихся рот; прикрыть тыл оставили сержанта Аникеева с двумя ручными пулеметами и группой автоматчиков.

Бестолковая, вперехлест, перестрелка не стихала, взмывали и догорали ракеты, в темноте слышалось загнанное дыхание, ругались вполголоса, вскрикива-

ли и стонали вполголоса. Кого-то, наверное, ранило, кого-то убило. Простите, родные, бросаем вас. Днем, при свете, как-нибудь и разберется кто-нибудь, кого увезут в санбат, кого зароют в землю. И опять заспешат на запад, к новым боям.

Обессилевшие, добрались до ровика, где теснились капитан Тенюков, лейтенант Таги-заде, ординарец, связист, два или три автоматчика. Автоматчиков и ординарца комбат выдворил, освобождая местечко для командира полка, замначштаба, Данилкина, двух-трех офицеров из полка. Капитан попытался доложить подполковнику, тот оборвал:

— Отставить доклады! И без них ситуация ясная. Подвел ты, капитан, наш полк. Что скажет Батя, Академик про нас? М....ами обзовет, и правильно! Будем исправляться! Идем на прорыв. Ударим по высотке, ты поведешь группу справа просеки, я слева. Предварительно обработаем высотку из ротных и батальонных минометов. Атакуем по моему сигналу: серия из трех красных ракет. Усек?

— Так точно, товарищ подполковник!

— Данилкин пусть идет с тобой, Таги-заде останется на исходном рубеже, с резервом...

Немцев сбили с высотки лишь с третьей попытки, зато потом погнали здорово, рассеяли, кого ранили, кого убили, были и пленные. После этого немцы и в тылу колонны, и с флангов стрелять перестали, ушли от просеки в межболотье. Успех был несомненный, но приключилась и беда — ранило подполковника Коноплева. Уже рассветало, и было видно, как он бледен, как подымает и тут же роняет голову. Ранение, как выражаются медики, средней тяжести: пулевое, пробито плечо, — но кровотечение обильное. Рану заткнули тампоном, туго забинтовали. Уложили Коноплева на разостланной шинели, — капитан Тенюков поддерживал ему голову и слушал, что говорил командир полка тихо, но внятно:

— Комбат, меня отправь в санбат. На моем тарантасе. Доложи комдиву...

— Будет выполнено, товарищ подполковник.

— А сам жми на Оршу. Только на Оршу. Чем быстрей войдешь в город, тем быстрей заживет моя рана.

— Постараюсь, товарищ подполковник. А вы поправляйтесь, все мы желаем вам скорейшего выздоровления...

— Не впервой попадать в госпиталь. Выкарабкаюсь. А вам всем боевых успехов. Даст Бог, и свидимся еще, — сказал Коноплев совсем тихо, и щека у него дернулась.

А Данилкин подумал, что знаменитый тарантас с лихим возницей-цыганом перейдет к очередному командиру полка! Отвезут Коноплева, и тарантас вернется в часть, чтобы возить того, кто примет полк. Кто это будет? Да уж найдется, кадровики подберут из резерва.

Между прочим, командиров полков выбивает из строя не столь уж часто, еще реже — комдивов. Часто выбивает комбатов. И до страшного часто выбивает ротных и взводных — все одно, как солдат и сержантов. Которых словно косой косит. А батальонных замполитов выбивает, как и самих комбатов. Тут они, считай, на равных. Иных выбивает временно, по ранению, иных — насовсем, если убьют. Как вышибет из строя в очередной раз старлея Данилкина? Будем надеяться: временно, по ранению. А может, дойдет до финала Великой Отечественной целым и невредимым? Вряд ли. Хотя все возможно, на войне все возможно. Данилкину встречались люди, не получившие с июня сорок первого и царапины. Разумеется, это представители доблестных тыловых служб.

17

Орша, Орша! Она была близка, вот она! Однако близок локоть, да не укусишь. То есть с ходу городом овладеть не удалось. И батальоны, и полки, и дивизии, ломая вражеское сопротивление, без ожидаемой скорости продвигались к пригородным поселкам. Немцы дрались как смертники, без боя не уступая и версты. Лишь на рассвете двадцать седьмого июня четыреста девяносто первый полк, которым временно командовал начальник штаба полка, вместе с другими частями и подразделениями сто девяносто второй стрелковой дивизии, вместе с гвардейцами одиннадцатой армии ворвался городские окраины.

Батальон капитана Тенюкова вышел в район железнодорожной станции и депо. Маленько припозднились, там уже шел бой: третий батальон опередил,

гвардейский полк и гвардейские танки опередили: танки лупили по эшелону, по локомотиву, стоявшему под парами на единственном сохранившемся пути. Здание станции, пристанционные строения, депо разрушены, красный кирпич развалин — как запекшаяся кровь. Гудели пожары на ветру, желтый, серый и черный дым уходил в небо, застилая солнце. Семафоры разбиты, рельсы разорваны, перекручены, шпалы вздыблены, будто накренившийся штакетник. Гарь и смрад. Сухо и жарко. Испить бы водички. Куда там! Капитан Тенюков командует:

— Таги-заде, заходи справа! Данилкин, заводи своих слева!

Так они обходят развороченное локомотивное депо, бросают несколько гранат в мелькнувших там немцев. Из будки стрелочника бьет крупнокалиберный пулемет по группе Данилкина. Тот машет рукой:

— Ложись! Прижимайся к стенке!

Прижаться бы можно, да кирпичи от взрывов нагрелись так, что кожу обжигают. Значит, прижиматься надо с умом, с толком. По-пластунски держась поближе к раскромсанной стене депо, бойцы продвигаются к выходным стрелкам, к платформам. И здесь соединяются с группой Таги-заде, с которой находится и комбат. Бронебойщики наконец-то нащупали пулемет в будке стрелочника и подавили его, подожгли будку. Еще бы не подожечь, ежели и танки от бронебойных пуль занимаются пламенем.

Тлела трава, испятнанная мазутом, с треском лопались стволы фруктовых деревьев в дачных садах, а сами дачки-скворечники сгорали безгласно, как немые. На ветках спекались зрелые яблоки, груши, сливы, на корню хило дымились колосья ржи, пшеницы, овса, ячменя, ботва картофеля и стручки гороха.

Гвардейские танки преследовали отходящего от станции на юго-запад противника, а гвардейская пехота и с ней полки сто девяносто второй стрелковой дивизии вступили в город. Завязались уличные бои, довольно, впрочем, скоротечные: немцы метались, как в мышеловке. Советских войск в Оршу вошло больше, чем нужно, и вскоре некоторые части были выведены из боев. В том числе и полк, до сих пор именуемый в оперативных донесениях как полк, где командиром подполковник Коноплев. Четыреста девяносто первый полк отвели в сосновый бор, у северо-западной окраины Орши.

Батальон капитана Тенюкова разместили на опушке, на берегу синего-синего озерца, усеянного бело-желтыми водяными лилиями и кое-где в камышах. Велено было приводить себя в порядок, хоть неподалеку, в городе, слышались еще пулеметно-автоматная стрельба, взрывы гранат и мин, гудение танковых двигателей. Прислушиваясь к этим близким шумам, Данилкин подумал: "Фрицев добивают. И добьют. Здорово! Орша освобождена!"

И на душе стало радостно и возвышенно. Как будто воспарил на некие минуты над землей, очищаясь от наносного, недостойного, нечистого. Ах ты, Боже ж мой! Еще один советский город свободен, еще десятки тысяч людей вызволены из фашистского рабства, спасены от уничтожения! И способствовали этому воины, с которыми замполит Данилкин плечом к плечу шел по огненным дорогам войны.

Но радость померкла, хотя возвышенность пока держалась, — померкла оттого, что подумалось: какой ценой плачено за это освобождение? И сколько же голов положено с июня сорок первого? Не сосчитать, сколько ни считай. Погибнуть за Родину — дело святое, и все-таки безумно жаль загубленные жизни. Миллионы жизней... И сколько еще положим голов, покуда дойдем до Берлина? И горечь прокралась в сердце, разъедая его, разрывая на мелкие части, которые впоследствии трудновато будет соединить. Да, война бьет по сердцу без пощады. А оно ведь не из железа.

А живые — что ж, живые: коль приказано приводить себя в порядок в ожидании полевых кухонь, солдаты выбивали пылюку из пилоток, гимнастерок и шаровар, счищали грязь с сапог, умывались в ручейке (приближаться к озерку и купаться Тенюков категорически воспретил: могут быть мины), босые ступни овевал ветерок, портянки сушились на набиравшем летнюю дурь солнце, в тенечке на разостланных шинелях и плащ-палатках полеживали, покуривали, подремывали, кто молчком чистил оружие, кто вслух гадал, чего привезут подрубать полевые кухни и когда старшины подбросят хлеб, сахар и курево, кто комментировал боевые шумы в Орше:

— Гансам каюк. Вскорь затихнет. Точняком говорю, верь фронтовику, опыт у меня три годочка, день в день!

— Да у всех опыт, — лениво отзывается напарник.

— Предсказываю: иделали вдох-выдох и махнем на Минск аж! — сообщает многоопытный.

— Не спорю, — соглашается ленивый напарник. — А вот за Гиви Касашвили жалкую. Дружок мой, срубило ночью, на болотах. Мировой был грузин.

— А у меня срубило дружка, белоруса. По хвамилии Губаревюч Василь. На родной земле срубило, значится.

Ну а сколько ж всего в батальоне убитых, раненых, пропавших без вести? Это вместе с Таги-заде и подсчитывали Тенюков и Данилкин, который подумал: "Мрачная статистика". Наскоро отряхнулись от пыли, наскоро умылись, — верный ординарец Ленька Кравец услужливо слил из котелка, услужливо подал полотенце, спросил:

— Товарыш комбат, по чарке не желаете? С устатку? Для бодрости? Разрешить, га?

— После, после, — отмахнулся Тенюков, а Данилкин и Таги-заде одарили друг друга сочувственным взглядом: промочить глотку было бы не во вред.

Кроме своих потерь надо было доложить о вероятных потерях противника. Ну, это можно сделать на глазок и без ложной скромности. Ибо нигде так не врут, как на рыбалке и на войне. Юмор? Кладбищенский, наверное. А Данилкину надлежало сочинить еще одну бумагу: каков процент среди наших потерь составляют члены ВКП(б), кандидаты в члены ВКП(б) и члены ВЛКСМ (каждая категория отдельно). И тут уж извольте без фантазий. И рапорты — после каждого боя, теперь — как бы итоговый: от начала наступления до взятия Орши.

С подмогой лейтенанта Таги-заде, взводных, отделенных, фельдшера, санинструкторов, санитаров и всех, кто свидетельствовал, как кого-то ранило и убило, составили список потерь. Он был обычным, стало быть — ужасающим: четверть батальона была убита, ранена треть, одна пятая пропала без вести (то есть скорей всего убита). Господи, с кем же, спрашивается, воевали и прорвались до Орши? Ох, велика же ты, цена победы!

А после замполит Данилкин с той же подмогой плюс свидетельства уцелевших ротных парторгов и комсоргов, агитаторов, редакторов "боевых листков", политбойцов и просто партийно-комсомольского актива составил список своих, специфических потерь, — на поверку, коммунистов погибло, ранено и пропало без вести столько же, сколько и беспартийных, а членов ВЛКСМ погибло в два раза больше среднего. Значит, в основном погиб молодняк. Которому жить бы да радоваться, любить бы девок да рожать деток. Ах ты, Боже мой!

И, атеист, безбожник до мозга костей, замполит Данилкин вздыхает как церковная старуха и готов даже осенить себя крестом. Если бы умел и если бы это позволяла партийная принадлежность. Рядовых жалко, это безусловно, но повыбивало ведь костяк — ротных, взводных, лучших вообще. А лучшие на то и лучшие, что рвутся вперед. Но передних и скашивает прежде. Ах ребята, ребята!

Неплохо бы на биваке у Орши хоть парочку, другую вступлений в ВКП(б). И в комсомол, конечно. Но руки до этого вряд ли дойдут. Более неотложные встают заботы. Не то говоришь, замполит. Пополнение рядов ВКП(б) и ВЛКСМ — второстепенно? Городишь, братец, городишь. Ничего, если в Орше подзадержатся — оформим несколько заявлений, при содействии партийно-комсомольского актива.

А еще нехудо бы черкнуть письмецо в городок Североуральск: дескать, ваш муж и отец жив-здоров, с боями идет на Запад, громит фашистскую сволочь, освобождает народы, а возьмет Берлин — и воротится к вам на Урал, дорогие и любимые. Почему-то припомнился домашний цветок, красующийся на подоконнике в горнице: сочный, зелененький, усеянный розовыми соцветиями, "Ванька-мокрый", поскольку поливать его надо ежедневно, и ответственную эту миссию исправно выполнял глава семейства. Нынче "Ваньку-мокрого" поливает жена. Все они дождутся его, воина-победителя, в том числе и цветок "Ванька-мокрый". А вовлекать в партию надо, ох надо...

В разгар составления скорбных списков на опушку вышла деваха в пилотке набекрень ("Как морячок в бескозырке", — подумал Данилкин), с узкими погонами сержанта медицинской службы. Замполит как глянул на нее, так и застыл с разинутым ртом. Было на что разинуть рот: осиная, перетянутая командирским поясом талия, широкие бедра, высокая грудь распирает гимнастерку с медалью "За боевые заслуги", юбчонка обтягивает выпуклый зад, брезентовые сапожки не скрывают стройность длинных ног. А лицо! Прямой нос, полные, чувственные

губы, раскосые глазищи, в которых полыхает черный огонь. Огонь, сжигающий мужиков, и пепла не остается!

Деваха шла быстро и упруго, а затем и побежала к полянке, где находились Тенюков и Данилкин. Она двигалась, и женское в ней тоже двигалось — как бы само по себе: груди, ягодицы. Тенюков и Данилкин враз встали. Комбат воскликнул:

— Шурик?

— Я, Модичка! Я, дорогой!

Тенюков сделал шаг навстречу и остановился. А Шурка с разбега ткнулась ему в грудь, приникла, будто слилась. Тенюков поцеловал ее в губы и хотел отстраниться. Не тут-то было: Шурка обнимала намертво и словно жалила короткими, частыми поцелуями. Данилкин опустил глазки, затоптался смущенно. Модест, наконец, расцепил ее руки:

— Шурик, неудобно же. Люди кругом!

— Ну пойдем в густняк, подале. Истосковалась я, иссохла...

— И я соскучился. Но забот выше головы. Невпроворот: отчетность, осмотр личного состава, совещания, прием пополнения и прочее.

— Любимый, как я рада! Вижу тебя живого...

— И я рад. Позже увидимся. Если удастся вырваться.

— Давай отойдем в сторонку, милый.

Они отошли, но до замполита долетали обрывки разговора: счастливая, сияющая, она просила, почти умоляла, он отрицательно качал головой, что-то, хмурясь, объяснял, обещал неопределенно: "Ближе к вечеру вырвусь. Если обстановка позволит..."

Как понял Данилкин, тылы батальонов и полка и санрота, естественно, переместились к Орше, где-то рядышком с первым батальоном. Так что возлюбленную пару разделяет не расстояние, а лишь неотложные фронтовые заботы комбата-один. Но коли оглядываться на все заботы и хлопоты, то Модест может не выбраться к Шурке. А жаль! Война — это война, живое — это живое, а молодость — это молодость.

И, быть может, впервые Данилкин не осудил связь Тенюкова с этой огневой медсестрой, и захотелось назвать ее не Шуркой, а Шурой, не девахой, не бабой, а женщиной, и не распутницей, а возлюбленной. И то сказать: кровь кипит-бурлит у молодых да сильных, ну и пусть кипит. У Дениса Данилкина и возраст постарше, и здоровье пожиже, и жена с сыном имеются. Нет, не будет он осуждать комбатов роман, закроет на это глаза, более того: кое в чем и подможет фронтовой любови, если потребуется. Кто знает, не исключено, Модест и Шура доживут до Победы и поженятся. Зарегистрируются. Официально. И пойдут у них детишки. Также вполне законные.

Данилкин увидел, как прощально обнялись и поцеловались Тенюков и медсестра. С опущенной головой она побрела по опушке вспять, а он, помедлив, повернулся и зашагал к Данилкину. Подойдя, сказал:

— Ты уж извини за эти лирические сцены.

— Мне нечего извинять.

— Как тебя понимать? Ты ведь косился на меня за Шурку...

— За Шуру? Было да сплыло. Озарило: жизнь есть жизнь.

— Ну, спасибо, Денюша. Взаимопонимание ценю. И в личных вопросах — ценю.

— Добро! Будет окошко в нашей маете — навести ее.

— Навещу. Я ж к ней привязался. Было бы только оно, окошко.

— Найдется...

— Хотя скажу тебе, Денюша, честно: когда держишь в руках списки погибших, как-то не по себе становится, совестно становится: у тебя подружка, а они уж никогда не смогут испытать женскую ласку.

— Это так, Модест.

— Впрочем, вернемся к нашим баранам, как говорят на Востоке. Какие бараны? Глупости порю. Вернемся к отчетам, рапортам, донесениям, представлениям и так далее. Я читаю эти списки, и подмывает крепко выпить, снять с души тяжесть.

— И я бы выпил. Недосуг.

— Да. Может, к вечеру выпьем. У ординарца есть запас.

И снова зашуршала бумага, зачиркали "вечные перья" немецкого происхождения. Немецкими чернилами вписывались русские, украинские, белорусские,

казахские, армянские имена в этот знобящий сердце список. Списки были разные, но от каждого веяло мертвящей тоской. А влажный зной тек с облачного неба, на лбу выступали капельки пота, Данилкин рукавом гимнастерки смахивал их — аккуратно, чтобы не капнули на бумажный лист. В этой работе мог бы пособить батальонный писарь, но его фамилия фигурировала в списке убитых. Парень был грамотный, с десятилеткой, с красивым почерком. Таким почерком заполнять бы наградные листы на оставшихся в живых героев. Но героев павших больше. Хотя и на них заполняют наградные листы. Если кого-то не пропустят впопыхах...

Затяжной вздох Тенюкова заставил Данилкина посмотреть на комбата, и что-то в его глазах поразило. Что? Не было в них привычной льдистости, была — нормальная человеческая отзывчивость на свои и чужие радости и беды. Живые теплые глаза человека, способного сопереживать. Дай-то Бог. И мне бы отучиться от армейской задубелости, проникнуться бы непреходящим чувством сострадания. К своим людям, конечно. К врагам — беспощадность. Как говорил великий пролетарский писатель Максим Горький? "Если враг не сдается, его уничтожают", — все это любили повторять. По-моему, правильно говорил. Потому как, если гитлеровцы не сдаются, мы их уничтожаем. Не уничтожим мы их, они нас уничтожат.

Закапали дождинки, и офицеры, прикрывая бумаги чем можно, юркнули в палатку. Которую, натурально, сразу разбил Ленька Кравец, едва стали на бивак. В палатке было сумеречно, но глаза привыкли, освоились, и работа была продолжена. Здесь же находились и полевые телефоны — к счастью, они помалкивали: общеизвестно — чем меньше общаешься с начальством, тем лучше. Для тебя.

Дождик моросил, то слабея, то усиливаясь, вкрадчиво стуча по брезенту. Дождь для солдата в полевых условиях — хрен с редькой. У него нет брезентовой палатки, устраивайся под листвой погуще, накрывайся плащ-накидкой, если она в наличии (плащ-накидки далеко не у всех). Да не спасет никакая накидка от затяжного дождя, даже комбатовская палатка протекает в проливни. Впрочем, все это ерунда на постном масле: дождевые капли — не свинцовые пули.

В проходе возникла башка в капюшоне — Ленька Кравец:

— Разрешить, товарыш капитан?

— Заходи, — сказал Тенюков.

— Товарыш капитан, дозвольте угостить? Жарены грибочки! На штыках поджарыв!

— Как на шампурах?

— Так точно! Скусно! Солдаты усе жарят соби на штыках. Костериков развели!

— Солдатская смекалка, — сказал Тенюков. — Снимем пробу, Денис?

— По-быстрому! И по стопке, Модест, придется принять?

— Придется. Шуруй, Леонид.

Ну и что? Жизнь продолжается. От высокого — к обыденному, житейскому. Да ладно, хоть тут не разводи философий, замполит Данилкин.

Ленька Кравец снял со штыков нарезанные пластинами, прожаренные, с дымком белые грибы и колосовики, сложил их в миску, подал по куску хлеба и раскладному пластмассовому стаканчику шнапса. Комбат сказал:

— За павших!

Данилкин кивнул, и они, не чокаясь, опорожнили посуду. Заели шашлыком из грибов. Действительно, вкусно. Тенюков сказал:

— Побаловал нас, Леонид. Теперь уматывай, нам надо завершить работу.

— Слухаюсь, товарыш капитан. Привезуть обед — побеспокою...

С закопченными трехгранными штыками под мышкой, с флягой под другой мышкой, ординарец из палатки, однако, не вышел, примостился в закуточке, у телефонистов, о чем-то с ними шепотком поколдовал. Тенюков таким же свистящим шепотом произнес:

— Эх, Денис, Денис, вот выпиваем мы за павших... А у меня чувство: в их гибели виноват и я.

— Ты?

— Как командир... Наверное, что-то упускал, не так делал, где-то ошибался. А ошибка в бою — это человеческие жизни.

— Все мы виноваты. Живые виноваты перед мертвыми...

— Для меня слабое утешение.

— Да я и не утешаю. Я же с тобой в одной упряжке. Что причитается тебе, то и мне.

— Наверное...

Зазуммерил телефон. Связист-сержант позвал:

— Товарищ капитан! Вас! Командир полка...

"Коноплев?" — подумал Данилкин и сообразил: Коноплева нет, полком командует начштаба, о прежнем командире подумалось по привычке. А комбат, выслушав, что ему говорили, сказал:

— Так точно! Понял. На совещание офицеры придут в полном составе. На "хозяйстве" останется Таги-заде...

Отдал трубку телефонисту и сказал Данилкину:

— У нас в запасе полчаса. Закруглимся с бумагами и двинем на полковой КП. На офицерское совещание.

— До чего любят совещания! По поводу и без повода собирают, уму-разуму учат, ставят задачи, а как их выполнить — сами не ведают.

— Разошелся, замполит. Осуждаешь вышестоящих.

— Да ну их к...

Данилкин не договорил и покосился на закуток. Тенюков похлопал его по костлявой спине:

— Опасаешься стукачей? И разумно поступаешь... Ну, поехали!

Закончив писанину и прихватив ее с собой, чтобы сдать в штабе полка из рук в руки, Тенюков и Данилкин направились на КП. Заодно прихватили и весь офицерский состав батальона, кроме лейтенанта Таги-заде. Тенюков мрачно усмехнулся: наличный офицерский состав — пять человек, не считая, повторяем, Таги-заде: сам комбат, замполит, командир минометного взвода, командир взвода связи, командир хозвзвода. А большинство боевых офицеров — выбыло, двенадцать человек было: кто ранен, кто убит.

Бои в Орше загасли, слышны лишь отдельные автоматные и пулеметные очереди, еще реже — гранатные взрывы. Финал — вот он, немцам амба, Орша, считай, освобождена бесповоротно. И это, пожалуй, затмевает остальное, что там ни говори. Во всяком случае, так должно быть. Небо очищалось, проклюнулось предыюльское яркое солнце, стало жарко и душно. На лесных тропах мутные лужи, смешанные с грязью прелые листья налипают на подошву, а где песочек — вода впиталась, идти сподобней.

На совещании в полку выяснилось, что потери офицерского состава во втором и третьем батальонах схожи с потерями первого батальона. Да и потери в рядовом и сержантском составе примерно одинаковые. Это значит: полк сильно обескровлен, потерял значительную часть боеспособности.

Офицеры сидели на кочковатой опушке прямо на траве, скрестив ноги по-турецки. Трава была сырая, солнце пеклое, офицеры — усталые, измотанные, с нетерпением ждущие, когда закончится совещание, черт его раздери. Говорильней не заменишь дел, которые остались в батальонах. Но надо набраться терпения и, не подремывая, не кемаря, слушать выступление врид командира полка.

А говорил тот прописные истины. Которые офицерам первой линии известны лучше, чем кому-либо. Итак, полку выпало прорывать сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону противника. Задачу выполнили, но понесли ощутимые потери в людской силе и технике. Часто нарушалось взаимодействие с соседом. Несвоевременно устранялись повреждения связи, что отрицательно сказывалось на управлении подразделениями. Непродуманно было организовано снабжение боеприпасами, продовольствием, нерегулярно доставлялась горячая пища и так далее, и тому подобное. Но город и железнодорожный узел Орша Витебской области освобожден, и это основной итог. Теперь надлежит привести потрепанные подразделения в порядок, продуманно распределить пополнение.

В этом месте офицеры оживились, задвигались, из второго ряда зычно произнесли:

— Без пополнения мы никаких задач не выполним. Тогда нас надо выводить во второй эшелон.

— Разговорчики! — оборвал врид командира полка. — Командование без посторонних подсказок решает, когда и как пополнить полк. Ясно, товарищи офицеры?

Товарищи офицеры не отозвались, даже зычный бас из второго ряда — ни гу-гу.

После выступал полковой замполит — тощий, скрипучеголосый, желчный, в полку не любимый. Майор монотонно говорил о мужестве и героизме коммуни-

стов, комсомольцев, а также беспартийных, об удачных и неудачных примерах партийно-политической работы в бою, о том, что эту работу нужно расширить и углубить, что в ней обязаны участвовать не одни партполитработники, но и строевые командиры, командиры-единоначальники, что он, замполит полка, будет строго спрашивать с тех командиров и политработников, в подразделениях которых будут замечены случаи пьянства, мародерства, трусости.

— Товарищи офицеры, вопросы? — так закончил майор и скрипуче кашлянул.

Товарищи офицеры, включая партполитработников, вопросов не задали: они и речь замполита слушали-то вполуха, переговаривались между собой, зевали, некоторые и подремывали с открытыми глазами, — были такие ловкачи.

Снова вперед выступил врид командира полка, едва ли не торжественно объявивший:

— Товарищи офицеры, отсюда мы не мешкая двигаемся на КП комдива генерала Маевского. Он проводит общедивизионное офицерское совещание. Вста-ать!

— Кочуем с совещания на совещание, как из ресторана в ресторан, — прокомментировали во втором ряду, и кое-кто рассмеялся, кое-кто и выругался. Не матерком, однако внушительно.

А Данилкин, вставая и разминая затекшие ноги, подумал: "Основная задача на сегодня, то есть взятие Орши, выполнена. Но какую цену мы заплатили? Что-то не очень говорят об этом". Обо всем говорят, только не об этом. Тот же зычный хохмач выдал:

— Как в том анекдоте: выпил меньше, чем хотелось, но больше, чем мог!

И опять кто-то посмеялся. Весело кому-то? Замполиту Данилкину — нет. Сложные, противоречивые чувства испытывает. С одного боку, счастлив, конечно, что овладели Оршей, и, судя по всему, пойдем дальше на запад. С другого боку, несчастен, когда думает, сколько у нас убитых, сколько искалеченных. Тут они с комбатом единогласны. С комбатом, у которого в иночасье льдистые глаза, и смотрят они куда-то за горизонт, поверх голов и деревьев.

— Закурим? — спросил Тенюков.

— Закурим, — ответил Данилкин. — Твоих.

— Шутить изволишь?

— Да нет, у меня и впрямь кончились.

— Держи.

Они задымили и зашагали рядом, плечом к плечу. И многие из полковых офицеров затабачили на ходу. Врид командира полка и его замполит раздраженно оглядывались на этих явно не спешащих капитанов и лейтенантов, намеренно не соблюдающих хоть какое-то подобие строя. Но зачем тут строй? Переберемся с совещания на совещание — и все, порядок в танковых частях. И полковое начальство перестало оглядываться.

На командном пункте генерала Маевского, в тылу, по травянистым склонам овражка уже разместились представители двух стрелковых полков, артполка, противотанкового дивизиона, саперного батальона, батальона связи, разведроты, санбата, интенданты, — словом, не хватало доблестного четыреста девяносто первого полка. Вот и он, разлюбезный, явился, сошел, так сказать, с небес. Врид командира полка и его замполит, позеленевшие от злости на разболтанность подчиненных, доложили начальнику штаба дивизии и начальнику политотдела. За опоздание, само собой, получили замечание. Тем не менее офицерики доблестного четыреста девяносто первого начальственное неудовольствие на себе не ощутили, вольготно расселись на склоне, как ни в чем не бывало. Даже отшучивались. На реплику майора-артиллериста, дескать, семеро одного не ждут, зычноголосый хохмач-лейтенант сказал:

— Ежели надо, обождут. Да и куда торопиться? На тот свет? К тому же спешка полезна лишь при ловле блох.

— Говорун, — проворчал артиллерийский майор.

— Да уж таковским меня мама родила, товарищ майор.

Тот только махнул рукой.

Дивизионное начальство куда-то ушло, в березник, к палаткам. А в овражке томился от безделья (некоторые, однако, недурно подремывали) уполовиненный — в лучшем случае — после боев офицерский состав. Данилкин снял пилотку, примял слежавшиеся редкие волосы. Он полулежал, опершись на локоть и морщась от ноющей старой раны и потертости ступней, и думал: "Положить сюда

парочку бомб по двести пятьдесят килограммов — и дивизия останется без офицерского состава. Зачем нас всех собирать в одной точке? Фронт же вблизи. И вообще, на кой это сборище?" И затем с чего-то подумал, что заикаться после контузии он почти перестал, дойдем, скажем, до Минска — вовсе перестанет. Ну и нормально.

Он задремал, а когда открыл глаза, понял: ничего вокруг не изменилось. Не было ни комдива, ни его начштаба, ни начпо. Те же томящиеся по оставленным в подразделениях делам офицерики из полков и батальонов, тот же влажный ветерок, те же рваные облачка над верхушками леса, то же вырывающееся из их чрева ярое солнце, — загорать можно, только этим и остается заняться?

Прямой, напряженный, не похожий на окружение, Тенюков спросил:

— Приятные сновидения, Денюша?

— Никаких снов, командир.

— Тогда ответствуй: какого хрена моржового нас мордуют? Мое место — в батальоне.

— Мое также. Но комдив собрал, нечто сообщит...

— Возможно. Да где же комдив? Чего тянут резину?

— Мне не докладывают, командир. — И вдруг закруглил фразу: — А тебе докладываю: не заикаюсь, ну разве что самую малость.

— Поздравляю. И подтверждаю.

— Могу речи толкать! И агитировать всех подряд, наверху и внизу, справа и слева!

Тенюков, не поднимая взора, спросил тоскливо:

— Что ты столь шутливогласный, Денюша?

— Да просто так, болтливость одолела. Ты же заявлял: у политработников это бывает.

— Не отрицаю: бывает. Закурим?

— Твоих?

— А когда же твоих?

— Когда разживусь, командир!

Перекурили, пуская дым друг в друга. Светило солнышко, набегали облачка, посвистывал ветерок, с полей наносило запахи цветущих и зрелых хлебов. Тенюков сказал:

— Замполит, милый! Чихал я на всю мерихлюндию! Дали бы пополнение! Пополнение — сокровенное желание!

— Чтобы идти вперед, без него не обойтись, — сказал Данилкин, скучновато потягиваясь. — Не дадут — что будем, как будем двигать клешнями? Ждать?

— У моря загорать, — сказал Тенюков.

— Загорать не дозволено и здесь, без моря, — сказал Данилкин.

— Разумеется, можно выставить под солнце свои рубцы от ран. Начальники госпиталей это рекомендовали, скорей заживет. У тебя их много?

— Хватит.

— И у меня в достатке. Штук пять.

Никто из дивизионного командования перед офицерским собранием не представал. Да что же это такое? Данилкин толкнул в бок Тенюкова, тот отфыркнулся:

— Не замай, Денюша! Сколько я знаю? Столько же, как ты, замполит милый. Впрочем, оглянись: смелые и находчивые не теряются, письмишки строчат на планшетах. Напишу-ка и я пару строк некоей знакомой.

— Которая до Шуры была?

— Увы и ах, задолго до Шурика. Леночка, честная девушка, я планировал зарегистрироваться с ней в загсе.

— Что ж помешало?

— Обстоятельства, — сказал Тенюков и не стал их уточнять. — И ты, Денюша, нацарапай домой. Покуда позволяет стратегическое положение на советско-германском фронте. Или, как его называют немцы, — Восточном.

— Дельный совет, Модест, — сказал Данилкин и подумал, что комбат вроде бы шутит, а взор безрадостный. Письмецо, кратенькое, можно накарябать.

Он дописал письмо: целую, обнимаю, желаю и так далее, — когда перед офицерским совещанием (или собранием, какая разница) предстали полковник, начальник штаба дивизии, сухонький, седой старикан, однако затянутый ремнями с выправкой кадрового служаки ("Дореволюционный унтер?" — подумалось Данилкину), и подполковник со свеженькими, непорочными погонами и серебристыми звездочками, начподив, рыхлый, тучный, коротконогий и багроволицый

("Поддает крепко", — определил Данилкин), выдвиженец из секретарей обкомов, следовательно, в военном деле фу-фу.

— Товарищи офицеры! — визгливо, напрягая жилы на иссохшей, морщинистой шее, выкрикнул полковник. — Я имею честь доложить вам следующее...

Офицерье задвигалось, зашумело, потом притихло.

— Товарищи офицеры! От имени и по поручению комдива генерал-майора Маевского Виталия Витальевича и от своего собственного прошу у вас извинения. За непредвиденную задержку. К сожалению, генерал Маевский задерживается у командира корпуса, к которому он был вызван. Генерал Маевский просил передать вам следующее. Первое: часа через два пешим порядком прибудет пополнение, распределить его по подразделениям под непосредственным наблюдением командиров полков и начальников служб. Второе: привести в должный вид участвовавших в боях, внимание прежде всего — состоянию оружия. Третье: отличившихся бойцов и командиров командование дивизии представит к правительственным наградам, офицеров — к внеочередному присвоению звания. Четвертое: к вечеру ожидайте сюрприз. И пятое: товарищи офицеры, в любое время может последовать приказ о выступлении и марше в направлении к Березине, к Борисову. Быть в боевой готовности номер один! Гм, да, вот так... Товарищ подполковник, у вас есть что добавить?

— Нечего. Кроме пожелания боевых успехов, — сказал начподив и сдал назад, хороня свое тучное тело за усохлым полковничьим...

Офицерье выслушало начштаба дивизии внимательно и уважительно. Но сдержанно. Молча. Лишь когда зашло о предстоящем пополнении, отдельные не выдержали: кто гаркнул "ура", кто захлопал в ладошки, кто сказал от души: "Твою мать... Это то, что нужно больше хлеба!" А Тенюков и Данилкин не сделали ни того, ни другого, ни третьего.

18

Солдаты и сержанты передохнули-таки, покамест офицеры мотались по совещаниям. Но вернулись к себе батальонные и ротные командиры, и пяток минут спустя дым стоял коромыслом. Мероприятия рутинные, однако надо было провернуть их до прибытия маршевых рот. А прибудет пополнение, тогда-то и заварится самая крутая каша: исходя из количественного и качественного состава маршевиков, которые достанутся капитану Тенюкову, нужно будет фактически заново сформировать роты, взводы, отделения. Эх, побольше бы вас, желанные маршевички! Если б Тенюков получил роту, штатную, полнокровную, в сто двадцать штыков, это и был бы приятный сюрприз, о котором упомянул начштаба дивизии, седой и сухонький полковник.

Ну а тем временем Тенюков, Данилкин и Таги-заде шествовали вдоль батальонного строя. Батальонного! — и роты не наскребется. Неужто они потеряли до двух третей личного состава? Данилкин противился этой мысли, но товарищ Сталин учит: факты — вещь упрямая, в каком-то докладе эта фраза наличествует, в каком — Данилкин не помнит.

Когда офицеры были у середины строя, подъехала батальонная кухня. А где вторая? Старший повар, узбек с буденновскими вахмистрскими усами, объяснил: полковые интенданты выдали продукты, исходя из потерь. Они, потери-то, сняты с довольствия.

— Экономят, сволочи, — процедил Тенюков. — Хоть раз бы дали солдату наесться до отвала.

— Разрешите раздавать обед, товарищ капитан? — спросил повар-узбек.

— Валяй, — сказал Тенюков и строго скомандовал: — Разойдись на обед!

У кухни мгновенно стала выстраиваться очередь, во главе с ординарцем Кравцом. Впрочем, повара неукоснительно пропускали ординарца вне всяких очередей: обслуживает батальонное командование, понимать надо. Построение, перекличка, осмотр, раздача еды из полевых кухонь — слагаемые фронтового быта, повторяющиеся, второстепенные, однако без этих, второстепенных, примет не было бы того, ради чего существуют войска, — бои и взаимное смертоубийство. А что ж вы хотите? Война!

После обеда вновь было построение, но провести осмотр личного состава толком так и не удалось. Надрывавшийся в телефонную трубку связист: "Дон", "Дон", я — "Волга", я — "Волга"! — крикнул:

— Понял, понял! Слышимость улучшилась! Щас передам трубку! Товарищ капитан, а товарищ капитан!

— Чего тебе? — спросил Тенюков, не поворачиваясь.

— Командир полка на проводе!

— Иду. — Тенюков взял трубку, доложился и выслушал то, от чего хмурое лицо его посветлело: надлежало лично прибыть на полковой КП за пополнением.

— Слушаюсь, товарищ майор!

— Обрадован, Тенюков?

— Еще как! На крыльях лечу!

— Давай лети...

Тенюков с двумя автоматчиками сопровождения с л е т а л в полк и привел если и не роту, то девяносто человек — не сумлевайтесь, товарищи. И был возбужден и радостен, похвастался Данилкину:

— Первому батальону дали больше всех! Второй и третий батальоны огребли лишь по шестьдесят — семьдесят штыков!

— За что же нам такие царские почести? — спросил Данилкин, — он был, конечно, рад пополнению, но в глубине сознания копошилось: а сколько вас, вновь прибывшие, дойдет до Борисова, до Минска? О дальнейшем и не загадываю. Ведь понятно же: коли дивизии дали столь щедрое пополнение (по слухам, восемь маршевых рот), значит, ее из первого эшелона не выведут, бросят в новое наступление.

— Говоришь, царские почести? Нет. Царские почести — это если бы батальон укомплектовали до штатного состава — шестьсот штыков! Но такого в природе не отмечено. — Тенюков призадумался и сказал, почти что повторяя мысли замполита: — Ребят мы получили неплохих. Но как их сберечь? Кто-то поляжет в первых уже боях.

— Да ведь и ветераны не застрахованы. Кто шел от "Осинстроя"...

— Судьба решит.

— Или Бог? Если он есть. Ты помнишь, Модест, Женю Жубицына?

— Как не помнить! Да нам "смершевцы" и не дадут забыть. Удивляюсь, как они еще не достали нас в Орше.

— Где-нибудь достанут, не волнуйся... А мне не дает покоя мысль: Жубицын верующий, а на себя руки наложил. Православие этого не приемлет.

— Может, баптист какой? Или "пятидесятник"?

— "Смершевцы" и прокуратура разберутся, кто он. Заодно — и кто мы.

— Давай о деле. Будем накоротке знакомиться с пополнением. Затем — распределение по ротам, взводам. Мне думается, новичков надо перемешать со "старичками", этот сплав будет надежней.

— Разделяю твою позицию. Уже испытано... А я потом должен выявить коммунистов и комсомольцев, составить их списки, назначить парторгов, комсоргов, агитаторов...

— Как же без этого? Твой хлеб, замполит. Хотя и вояка справный, годишься в строевики.

— Данке шен за комплимент. Перекурили? Приступаем? Гусейн, ты готов?

— Лейтенант Таги-заде всегда готов, как пионер.

— И я готов, командир.

— Кстати, Гусейн, ты будешь моим замом по строевой, либо адъютантом старшим. На усмотрение полка. Не возражаешь?

— Кто же возразит против столь бурной карьеры?

— Ладно тебе, шутник! Приступаем...

Рутинное это занятие? Да как сказать. Воинский труд в любых его проявлениях — это труд, хоть и специфический. Наука же учит: труд создал человека. Правда, воинский, фронтовой труд создает не человека, а скорее его антипод. Не со всеми это происходит, но со многими — да. Однако философствуй-то философствуй, а воевать нужно, никуда не денешься, присягу принимал. Делать нужно абсолютно все, что положено на войне. Азбука? Да уж не высшая математика.

Тенюков, Данилкин, Таги-заде переходили от человека к человеку, тот называл свое звание, фамилию, где служил раньше, воевал ли и кем, год и место рождения, награды, партийность. В основном были стрелки, попадались и пулеметчики, минометчики, бронебойщики, связисты, санинструкторы. Офицеров всего-навсего: два лейтенанта, после госпиталей, и младший лейтенант, свежей выпечки, с трехмесячных фронтовых курсов младших лейтенантов, как выбывший по ранению Саша Заварский. Офицеров с ходу назначили командирами рот,

со взводными повозились: старые сержанты остались на должностях, из новеньких сержантов отобрали на беглый поверхностный взгляд тех, кто п о к а з а л с я. Отделения сформируют уже сами взводные командиры под контролем ротных. Тенюков просил при этом учесть: если друзья, зачислять обоих в одно отделение, если земляки — то же самое. Опыт подсказывал: это на пользу и службе, и людям.

Конечно, невозможно с первого захода запомнить пофамильно или в лицо солдат и сержантов — юных и зрелых, курносых и длинноносых, брюнетов и блондинов, неунывающих и грустных, с жестокими глазами и добрыми, высоких и малорослых, крепкого сложения и хиляков, затянувших поясной ремень до отказа, и тех, у кого ремень свисал с живота. Ну и прочее. Армейская роба красит одинаковой краской. Запомнились фамилии офицеров: комроты-один лейтенант Самсонов, комроты-два лейтенант Пятницкий, комроты-три младший лейтенант Багдасарян. Ничего, ничего, с течением дней притрутся и командиры, и бойцы, получше узнают друг дружку. Особенно в бою.

Тенюкова, признаться, огорчило, что среди прибывших не обильно бывалых, обстрелянных фронтовиков, а Данилкина — что не обильно коммунистов и комсомольцев, придется поднажать с приемом в ряды ВКП(б) и ВЛКСМ. Каюсь, признался себе Данилкин, пустил я на самотек это направление своей деятельности. Дали бы в батальон парторга, черт бы вас побрал! Сколько ж можно без парторга? На скорое возвращение в строй Махмуда Нигматуллина рассчитывать не приходится.

Много времени заняло вручение вновь прибывшим оружия: маршевики пожаловали налегке, как на прогулку. Пока подпылили полуторки со склада, пока роздали винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты, ПТР, боеприпасы, пока сверяли выдачу по списку с росписями — подошел вечерок. Подъехал ужин. И к гневу Тенюкова и возмущению Данилкина, опять одна полевая кухня. Оба враз кинулись звонить: комбат — врид командира полка, замполит — вышестоящему замполиту. Оказалось, интенданты снова выдали продуктов, исходя из потерь. Но потери-то возмещены. Живых людей не учитывают. Или мухлюют. Ну и суки! После скандала, учиненного Тенюковым и Данилкиным, вскорости подкатила и вторая кухня. Не первого батальона, да нам все равно, лишь бы личный состав был накормлен.

Комбат сказал:

— Предлагаю: офицерам поужинать вместе. Но после того, как отужинает батальон. А мы, товарищи офицеры, давайте побудем у кухонь, проверим, как раздается пища, не мухлюют ли старшины с хлебом. И пускай личный состав после ужина отдыхает. Проследить, чтоб был порядок!

Потом офицеры сидели на пеньках и травке у комбатовой палатки, а Ленька Кравец приволок котелки с горячей гречкой и кусочками консервированной колбасы, баклажку с водкой, поставил перед каждым кружку.

Высокий и стройный, с гвардейскими усиками Самсонов, чем-то напоминавший комбата, и крепыш, горбоносый волосатик Багдасарян деловито приняли посудины, готовые к боям и подвигам. При этом у Сурена Багдасаряна были вскинуты широкие жгучие брови, будто он чему-то удивлялся.

— Я не пью, — зардевшись сказал лейтенант Пятницкий, пухлогубый и пухлощекий. — Извиняйте.

— Извиним. — Капитан Тенюков невозмутимо подставил кружку. — Наливай, Леонид. Кто еще трезвенник? Нету больше? А кто женщин не любит? Нету таковых?

— Не тяни кота за хвост, командир, — сказал Данилкин. — Каша остывает.

— Не учи, замполит. Предлагаю выпить за знакомство, за фронтовое братство, за то, чтобы достойно пройти грядущие испытания.

— Красиво говорите, товарищ капитан, — сказал Таги-заде, под черными усиками блеснули кипенно-белые зубы. — Как на Востоке!

Тенюков приподнял кружку, понюхал, словно убеждаясь, что это действительно водка:

— Товарищи офицеры, вновь прибывшие! Не берите пример со старичья, они на правах моих давних сослуживцев позволяют себе иногда пофамильярничать.

Он усмехнулся и начал чокаться по кругу. Выпили. Принялись за еду. Самый завидный аппетит был у непьющего Антона Пятницкого.

Отужинали. Несмотря на уговоры ординарца, продуктом № 61, то есть вод-

кой, по второй баловаться не стали, когда зазуммерил телефон. Дежурный связист позвал:

— Товарищ капитан! До вас звонют...

Не по-уставному, однако понятно. Тенюков услыхал взбудораженный, не шибко трезвый баритончик врид командира полка:

— Как там жизня, непрошибаемый батальон нумер один? Как жизня, Тенюков?

"Зачем коверкает, грамотный же мужик", — подумал комбат и ответил:

— Нормально!

— Не возражаешь, ежель мы с замполитом к тебе с проверкой? Ась?

— Не возражаю.

— Ну, до встречи, Тенюков. Будем без променадов...

Какие там променады на фронте? Тем более что от КП полка до КП батальона километр-полтора. Не успеешь сообразить — как визитеры полковые будут у тебя. Известно и то, что проверки бывают разные...

Полковые начальники сели на пенечках, спросили, как распределено пополнение, капитан Тенюков ответил, и больше ничего не проверяли. Врид комполка сказал:

— Мы с замполитом хотели порадовать вас. Тенюков, Данилкин, Таги-заде представлены к правительственным наградам. К каким — не скажу, дабы не сглазить. Все трое представлены и к внеочередному присвоению воинского звания. Будем надеяться, что на днях Тенюков станет майором, Данилкин — капитаном, а Таги-заде — старшим лейтенантом.

— Спасибо на добром слове, — сказал Тенюков.

— Чтобы не сглазить, надобно выпить. Найдется, комбат? Трофеями не оскудели?

— Найдется, товарищ майор.

— И еще есть повод выпить, — сказал полковой замполит. — Майор Криводубцев утвержден в должности командира нашего полка. Так что отныне у нас законный командир!

— Поздравляю, товарищ майор, — сказал Тенюков. И этот человек, до сих пор как бы для него бесфамильный, обрел ее. Как Коноплев был Коноплевым, так Криводубцев стал Криводубцевым.

— Поздравляю, — сказал Данилкин. — Теперь очередь за званием — подполковник.

— И это не уйдет, — сказал полковой замполит.

— Поздравляю, поздравляю, — сказал Таги-заде, словно спохватившись.

Майор Криводубцев поблагодарил всех кивком. Вновь прибывшие Самсонов, Пятницкий, Багдасарян не осмелились раскрыть рта, но, несомненно, в душе тоже поздравляли майора Криводубцева. Ординарец Кравец, как официант в ресторане, галантно, с поклонами, раздавал кружки и конфетки-подушечки (не трофейные, из пайка, вместо сахара) — сперва полковым, затем батальонным. Майор Криводубцев сказал:

— Существует примета: кто хорошо ест, тот и работает хорошо. А я заприметил: кто хорошо пьет, тот и хорошо воюет. За вояк, за ваш батальон, за наш полк! За боевые успехи всех и каждого! И до встречи в Борисове!

Жахнули по кружечке, заели конфетками. Кроме Антоши Пятницкого, разумеется. Командир полка сделал вид, что не заметил поведение трезвенника, не достойное советского офицера. Сказал:

— Орша полностью очищена от противника, над ней развевается красный флаг. Далее путь дивизии — к Березине, на Борисов и на Минск.

— Да, товарищи офицеры, вспомнил! — сказал полковой замполит. — В дивизионной газете напечатан материал про Юрия Смирнова. Его называют героем!

"Хоть тут "смершевцы" отлипнут", — подумал Данилкин и сказал:

— Герой и есть. Герой-мученик.

— Готовься, Тенюков, к маршу. Возможно, и ночному. Пока из дивизии никаких указаний, но всяко может быть. Будь готов по боевой тревоге поднять батальон.

— Слушаюсь, товарищ майор. Не промешкаем. Не подведем...

— Уважаю такие ответы. Ординарец, налей-ка еще по одной. По отходной!

Галантный увалень Ленька Кравец из Харькова разливал водку, а полковой замполит говорил Данилкину, держа его за пуговицу:

— Ты, Денис Степанович, используй каждую свободную минуту, любую возможность для популяризации отличившихся в боях, в первую голову — коммунистов и комсомольцев. Подвиг гвардейца Юрия Смирнова надлежит широко распропагандировать. Агитаторы, редакторы “боевых листков” подобраны во взводах?

— Да, товарищ майор.

— Нацель их! На индивидуальные беседы нажимайте, а групповые ты и сам можешь проводить...

— Товарищи офицеры! — сказал командир полка. — Выпьем, шоб дома нэ журылись!

— Товарыш майор! — вырвалось у ординарца. — Так же у Харькиве говорять, та на усей Украйне!

— Так везде говорят, — сказал майор, осушил кружку и встал. — Нам пора восвояси. А вам, товарищи офицеры первого батальона, ни пуха ни пера!

— К черту! — за всех ответил капитан Тенюков, и офицеры, исключая застенчивого Пятницкого, невнятно, вразнобой рассмеялись.

Проводив полковое командование до окрайка опушки, Тенюков и Данилкин в сопровождении ротных проверили, как отдыхает личный состав. Отдыхал нормально: храпел, пускал газы, стонал, матерился во сне, либо спал беззвучно, как мертвый. Охранение в зарослях поздней отцветшей сирени и в зарослях позднего зацветшего жасмина службу несло бдительно. В конечные июньские вечера темнота долго не наступала, и Данилкину виделись черты спящих — и тех, кто шел от “Осинстроя”, и тех, кто пойдет от Орши. В самой Орше догорали пожары, и ветром наносило сажу и пепел. Белесые звезды проклевывались на небосклоне едва-едва, и вскоре их затянули тучи, стало потемнее.

Что-то около полуночи, пожелав ротным приятных сновидений и отсутствия ЧП, Тенюков и Данилкин вернулись к палатке, где находившийся на хозяйстве будущий старший лейтенант Таги-заде доложил комбату: звонил командир полка, а позже начальник штаба дивизии.

— Оба наказали: немедля перезвонить, товарищ капитан.

— А я предполагал, что можно перезвонить через пару часов, — сказал Тенюков, и было очевидно: шутит, но шутит как-то без веселости. Он отдал автомат ординарцу, портупею, кобуру с пистолетом повесил на сук, снял пилотку, пригладил волосы, расстегнул ворот гимнастерки и в столь вольном виде велел телефонисту вызывать полк, майора Криводубцева. Выкурил папиросу, прежде чем телефонист передал ему трубку. Доложившись, Тенюков выслушал, что ему говорил командир полка. По ходу разговора уточнял:

— На Таги-заде документы ушли? Наконец-то! На зама или адъютанта старшего? Ясно... Что? Справится, справится. Ручаюсь... Что? Чувствуем себя в норме. Никому не отлучаться из батальона? А куда отлучаться-то? А это да, это возможно... Исключим! Понял. Спасибо.

— О моей персоне дипломатические переговоры? — спросил Таги-заде.

— О тебе, Гусейн. Документы ушли в дивизию на утверждение тебя замом по строевой.

— Ого! На комиссара буду давить!

— Ну, мы с тобой будем в равных весовых категориях, — немудреной шуткой на немудреную шутку отозвался Данилкин.

Потом вызывали КП дивизии. Начальник штаба сообщил новость, от которой Тенюков чуть не подпрыгнул:

— Не может быть! Может? Вот здорово! Спасибо за поздравление. И вас мы поздравляем. До личного состава доведем, как только будет подъем. Не напиваться с радости? Ни в коем разе! И вам всего доброго!

Кинув трубку телефонисту, Тенюков поманил к себе Данилкина и Таги-заде и прошептал торжествующе:

— Знаете, что сообщил полковник? Не догадаетесь! Внимайте и ликуйте, сталинские богатыри! По радио передавали приказ Верховного Главнокомандующего войскам, освободившим Оршу. Им объявлена благодарность и присвоено звание “Оршанских”! И среди них — наша дивизия! В Москве — артиллерийский салют!

— Ура! — не удержался Таги-заде.

— Ша, Гусейн, народ спит, — сказал Тенюков. — С подъемом будем шуметь и митинговать.

— По сто граммов бы по поводу “Оршанской”, — сказал Данилкин. — Да

и вообще делишки идут. Вчера ведь соседи освободили Витебск. Выпьем.

— Нет, замполит. Выпьем потом, завтра. Сегодняшнюю норму выполнили. А сейчас всем спать. Денис, на минутку...

Они отошли, и Тенюков сказал:

— Я отлучусь, Денис. Да не к оршанским девкам, а к Шуре. Дозволишь, хоть и нарушаю?

— Я-то дозволю. А ну как объявят подъем по тревоге? Как батальон без командира?

— Мигом подскачу, покамест вы с Таги-заде будете шуровать. Да и не задержусь я у Шурика.

— У Шуры трудно не задержаться, — сказал Данилкин и вздохнул. — Лады, иди, как-нибудь подстрахую...

Подстраховать удалось, однако что это была за подстраховка! Слезы. Едва капитан Тенюков с автоматчиком отошел от палатки на десяток шагов, как зуммер заставил Данилкина взять трубку и узнать командира полка:

— Данилкин? Ты мне не нужен. Нужет Тенюков. Где он?

— Да тут поблизости... проверяет... — замялся Данилкин.

— Давай его! И живей!

— Слушаюсь!

Данилкин вприпрыжку помчался по козьей тропке. Запыхавшийся, с прыгающим сердцем догнал комбата, выдохнул:

— Поворачивай оглобли! Криводубцев на проводе!

Тенюков досадливо ругнулся и заспешил впереди Данилкина к полевому телефону. От начальства он узнал не шибко его обрадовавшее. Но неотменимое: хозяйство Тенюкова, как и остальные хозяйства собеседника, подымается по тревоге и походной колонной движется к юго-западной оконечности Гнилого бора, где соединяются все хозяйства Академика. Наивная уловка на случай, ежели к телефонному проводу подключится противник: игра в бдительность, в засекреченность.

— Немедленно подымай хозяйство!

— Понял! — сказал Тенюков, подумавши: "Как они, начальники, обожают это "немедленно"! Наверное, и я сам не без греха".

— Что? — спросил Данилкин.

— Подымаемся по тревоге. Строимся в походную колонну... и, видимо, ночной марш... Накрылся мой Шурик!

— В другой раз...

— Именно. Буди Таги-заде. Пусть садится на телефон, обзванивает подразделения, а я в роты пошлю и связных. Построение через четверть часа!

— Усекаю, — сказал Данилкин. — Поспали ноль целых часов, хрен собачьих минут...

Когда рота за ротой, батальон за батальоном, полк за полком, техника и обозы вытянулись на большак, воздух посветлел: белые ночи Ленинграда, пусть и ослабленные, достигали Белоруссии. Данилкин взглянул на швейцарские, трофейные, вновь добытые: три ноль пять. После подъема не было ни митингов, ни бесед, но Данилкин чувствовал нутром: дивизия проходит перед своим командиром, генералом, Батей, Академиком уже в ином, более высоком качестве, — почетно именуемая "Оршанской". Офицеры в колоннах не рубали строевым перед холмиком, на котором стоял комдив со штабистами, просто и обыденно месили непросыхающую грязь большака, а генерал, маленький, сгорбленный, вертел головой в капюшоне, из-под которого отсвечивали очки в роговой оправе и светились седые усики.

Большак вел дивизию на юго-запад, к Березине, и Данилкину невольно пришли на память исторические параллели. Когда-то, в восемьсот двенадцатом году, Наполеон перешел пограничную Березину, чтобы завоевать Россию. Чем это закончилось — известно. В сорок первом Гитлер перешел Березину с той же целью — завоевать Россию. Чем это кончится — известно. По крайней мере старлею (завтрашнему каплею) Данилкину Денису Степановичу доподлинно известно.

Зарядил дождь, косой и занудный, не сулящий быстрого окончания. Грязь под ногами стала вязче, охолодало, маленько потемнело. Это хорошо — потемнело, ведь марши для того и совершаются не днем, а ночью, чтоб вражеской авиации трудней было засечь наше передвижение. А дождь сечет, не летний, не теплый, а

холодный, осенний. В ходу угреемся. Да и в бою тоже. даешь Березину, даешь Борисов! И Минск даешь!

19

Полк майора Криводубцева продвигался то приличными темпами, то — стопорило. Причем немцы, как черти из табакерки, появлялись в неожиданных местах и неожиданным образом. Стабильной обороны у них уже не было, исключая отдельные узлы сопротивления, и они отступали хаотично, в блужданиях и метаниях. И эти метания, отнюдь не предсмертные, бросали их влево, вправо, а то и вспять, навстречу советским войскам. Управлять такими боями сложно, и вообще участвовать в них сложно. Внезапность — козырь на войне, а тут у немцев она проявлялась сама собой, стихийно, эти козыри надо было бить козырями покрупней. То есть постоянной бдительностью, готовностью в любую секунду столкнуться с противником, даже превосходящим в живой силе и технике, не растеряться, не дрогнуть, биться насмерть, покуда сам противник не дрогнет, не попятится, не отойдет. А предпочтительней — взять его в клещи, окружить и уничтожить. Либо пленить. В сорок четвертом году гитлеровцы не так уж брезговали и в плен сдаться. Когда их крепко прижмут и деваться некуда. Иначе — капут!

Данилкин, как и все в батальоне, спал урывками, ел от случая к случаю, чаще всухомятку, полным набором партийно-политических средств внедрял в сознание личного состава: "Быстрей на рубеж Березины! Темпы решают все!" Как у товарища Сталина где-то: темпы решают все. Или: кадры решают все, — это где-то в другом докладе, плохо, что политработник Данилкин не помнит точно, из какого первоисточника цитата.

Мало кто в батальоне, и в полку, и во всей дивизии не понимал: надо гнать и гнать врага, воспрещая ему закрепиться, особенно на берегах Березины, надо попытаться с ходу форсировать реку и сразу завязать уличные бои. Быстрота и натиск, как учил Суворов, — и город будет наш.

А пока что продвигались на юго-запад, вдоль Минской автострады, от стычки до стычки, сбивая немцев с рубежей. Дожди донимали, люди промокли до нитки, сопливили, кашляли, покрывались фурункулами и потери несли не только от пуль и осколков, но и от жесточайших простуд. Гнилой все-таки климат на Полесье и около.

А у него, замполита Данилкина, аж карбункул на пузе вздуло. Это несколько фурункулов — ладный букет. Температурит, ломает и тому подобное. В принципе фурункул — окопная болезнь. От них у Данилкина остались шрамы, как от былых ранений. На Смоленщине в окопах одолевала гадостная болезнь, в санчасть на пяток дней укладывали. И на кратких привалах, в минуты забытья, Данилкину мерещилось: дойти бы до Борисова, хрен с ними, с фурункулами, а там — клин по борозде, будь что будет. Но здесь же возникала мысль: до Минска не дойдет, поляжет, а если и дойдет до белорусской столицы, — в ней же и поляжет. Необъяснимо, однако мысль неостановима: дойти бы до Борисова, а уж в Минске или на подступах может и полечь костьми. Ах, как не хочется полечь костьми! А уж ежели доведется, то лучше бы в Литве, в Польше и далее — в Восточной Пруссии! То бишь в Германии, из которой накатила война. Лечь там в землю и зарыть с собой рядом войну. Навечно. Чтоб она, подлая, никогда и нигде не восстала и не кровянила планету. Где бы то ни было! Да не может быть хоть малых войн после этой Большой войны!

А на кратком привале Данилкину в забытье привиделось: будто кончилась Великая Отечественная, он остался жив и каждый день отмечает это выпивками, к которым пристрастился на фронте, в итоге — цирроз печени, и через пять лет после Победы он должен умереть. Дурацкий, нехороший сон. После войны, если уцелеет, он с водкой завяжет. Учителю вообще не к лицу выпивать. Ну, разве что совсем немножко, по праздникам...

На одном кратком же привале, когда Данилкин бодрствовал, посыльный из политотдела вручил ему пачку газет. Данилкин просмотрел их: дивизионная — "Сталинские богатыри", армейская — "На врага", фронтовая — "Красноармейская правда" и центральная — "Красная Звезда" печатали очерки, корреспонденции, заметки о подвиге Юрия Смирнова. Значит, правда восторжествовала. И это — главное. А о "смершевцах" он и не вспомнил. А о правде вспомнил.

Война откатывалась на запад. Глазам представали сожженные деревни, вы-

топтанные поля и трупы, трупы — стариков, женщин, детей. Перед отступлением солдаты-факельщики бегали по деревне от хаты к хате и поджигали соломенные кровли, а хозяев, если те не успевали скрыться в лесу, пристреливали из "шмайссеров": вермахт выполнял указание фюрера о тактике выжженной земли. Выжигали и убивали немцы хладнокровно и профессионально. Неужели они не думали о том, что когда-нибудь советские могут придти в Германию? И спросить за содеянное?

Там, где местным жителям удавалось скрыться в лесу и избежать расправы, они выходили навстречу советским войскам. И что тут творилось! Объятия, слезы радости, слова благодарности, — о, об этом можно бесконечно рассказывать! Когда-либо Данилкин расскажет своим ученикам. Ибо до конца дней не забудет, как встречал народ бойцов-освободителей. У самих бойцов-освободителей выступали слезы от таких встреч.

Ну, а бои продолжались. И настал час, когда впереди, в кустах, сверкнула полоска воды. Первым в полку вышедший к ней батальон капитана Тенюкова возликовал, завопил "ура" и тому подобное. Но, когда приблизились, горько разочаровались: это была не Березина, а один из ее протоков, — неширокий, неглубокий, воробью по колено, который преодолели, не набрав в голенища водицы.

Однако, перебравшись на тот берег, первый батальон наткнулся на немецкую оборону, хоть и прерывистую, с мелкой траншеей и недорытыми окопами, тем не менее все-таки оборону. Пока поднимались по склону, из траншеи ударили автоматы и спаренные пулеметы, а в березняке за траншеей заскрипели "ишаки" и мины начали разрываться в боевых порядках батальона.

Решать надо было не мешкая: или отползти к берегу протока, к корягам и вымоинам, залечь, завязать огневой бой и попросить у пушкарей поддержки "огоньком", или рвануть наверх, достичь траншеи, завязать рукопашную. И Тенюков в который раз, вопреки уставам, лично повел батальон в атаку. Он взмахнул автоматом, гаркнул:

— Первый батальон, за мной!

И, оступаясь, закарабкался, пошагал, побежал по склону. "Молодец, комбат!" — подумал Данилкин и рванулся за Тенюковым, а за ним, Данилкиным, рванулись лейтенант Таги-заде, автоматчики охраны, связисты и саперы, ординарец Кравец и ротные цепи во главе с лейтенантами-маршевиками. Это был слитный, единый порыв, оттого что батальон повел в атаку его командир. Коль комбат впереди, как же отстать рядовому бойцу?

Данилкин отставал от комбата, и это злило. В атакующей цепи комиссар должен быть впереди командира? Очевидно! А тут замполит отстает и от Таги-заде, и от ротных, и от автоматчиков, и даже от ординарца Леньки Кравца. Позор! И Данилкин выкладывался, напрягал остатные силенки. Никого он не нагнал, но и не отставал более.

А у висков посвистывали пули, неподалеку взрывались мины и гранаты, горячие осколки пропарывали горячий воздух, однако Бог миловал. Пот выедал глаза, ноги разъезжались в грязи, Данилкин поскользнулся, упал. Подумал: "Брешете, курвы, я живой", вскочил и побежал по косогору, — чем ближе к траншее, тем менее крутым был он.

Вдруг поймал себя на том, что ничего не кричит. А ведь положено, замполит ведь, елки-моталки. И Данилкин, шлепая губами, сорванно, визгливо закричал:

— За Родину, за Сталина! За Победу, ур-ра!

На этот крик ушли силы, какие еще были. Данилкин, пошатываясь, притормозил — траншея, уже вот она, метров двадцать пять, — швырнул в нее гранату, прострочил перед собой очередью. То есть сделал положенное каждому бойцу перед тем, как сигануть в траншею. Он и сиганул, ударившись грудью о стенку. И стоял так: не мог отдышаться и отойти от боли. А после потрусил по траншее налево, где вскипала и опадала перестрелка.

Повезло: доковылял до траншейного колена, а рукопашная там иссякла. Ну а затем и всем повезло: с фланга ударил второй батальон, третий — начал заходить немцам с тыла. Арийские нервы этого не выдержали, и уцелевшие фрицы — их было сотни две — по недорытым ходам сообщения чесанули на запад. А преследование — милейшее занятие, бей в хвост, не позволяй оторваться. Как видите, и мы умеем воевать, не всегда у нас бардак.

Артиллерийский и минометный грохот какие сутки практически не утихал, продвигаясь с фронтом на юго-запад и северо-запад. В летней жарыни и ночной

прохладе полыхали пожары, и дожди не могли прибить их. Если выпадало вёдро, в небе появлялись бомбардировщики, штурмовики, истребители, завязывались воздушные бои. Пехота с восторгом встречала победу краснозвездного "ястребка", вгонявшего в землю "мессершмитта" со свастикой и крестом, с молчаливой скорбью наблюдала, как в землю врезался и взрывался наш самолет.

В газетах сообщили, что в сражении за Борисов участвуют французские летчики из истребительного полка "Нормандия", и Данилкин в беседах с бойцами и командирами нажимал на боевую дружбу и сотрудничество с вооруженными силами союзников. Да ведь и впрямь здорово: громим фашистов в союзе с великими державами — Америкой, Англией, Францией. Вот так бы всегда дружить, после войны — тоже. Бойцы и командиры соглашались с замполитом, но кое-кто высказывал сомнение: империалисты все ж таки, с ними не очень сдружишься, война — сблизила, мир — разведет. Старший лейтенант Данилкин пресекал нездоровые сомнения и уверял, что союзниками мы останемся и после войны, вон как уважительно отзывается товарищ Сталин о Рузвельте, Черчилле, де Голле, а они о нем. Но если руководители захотят дружить, то народы и подавно. Разве не так, товарищи бойцы и товарищи командиры?

Несколько незначительных стычек с разрозненными группами немцев, и батальон капитана Тенюкова, шедший на острие четыреста девяносто первого полка, снова выбрался к водной преграде. На этот раз — к Березине, теперь можно было кричать "ура" на законном основании! С холмов были видны излучины знаменитой реки — в зарослях камыша, ивняка на мелководье, в омутных воронках у восточного берега, а на западном окраинные деревянные домики города, пожалуй, поменьше Орши, но в войну более сохранившегося. Хотя сейчас над Борисовом вставали дымы многочисленных пожаров.

Данилкин со стесненным дыханием смотрел с холма, из кустов, на желтовато-бурую, рябившую под южаком реку, испытывая и радость, и печаль: радостно, что достигли, наконец, Березины и Борисова, печально, что столько людей наших полегло на пути сюда.

— Дошли, Денис? — спросил Тенюков и опустил бинокль, потер покрасневшие от недосыпа глаза.

— Дошли, Модест. Аж не верится. Овладеем Борисовым — и на Минск!

— Командир дивизии предупреждает: форсировать Березину будет непросто. И уличные бои в Борисове неизбежны. Гитлер объявил город укрепленным районом...

— Это значит: не отдавать город ни за что.

— Нашли листовку: Гитлер приказывает всячески удерживать город.

— Мало ли что приказывает бесноватый фюрер. Борисов возьмем!

— Взять-то возьмем. Лишь бы потерь поменьше.

— Да, Модест, да. Будь я верующий, помолился бы за это...

С противоположного берега немцы вели артиллерийско-минометный и пулеметный огонь, и приходилось искать укрытия. Капитан Тенюков приказал даже окапываться, чтоб хоть башку не продырявило — окопы "лежа". Наши артиллеристы и минометчики пытались подавить вражеские батареи. Стали подъезжать саперы со строительным лесом — возводить переправу. Южнее понтонеры копались с понтонами — тоже возводили переправу. Но немцы били сильно и прицельно, и возведение переправ не очень-то продвигалось.

Подкатил на тарантасе командир полка и сказал, не вылезая:

— Тенюков, а не попробовать ли подручные средства? Поискать по берегу бочки, бревна, доски, сорванные двери, плоскодонки. Плоты и плоскодонки — чем не средство переправы?

— Можно, товарищ майор, — ответил Тенюков. — Но комдив распорядился налаживать понтонную переправу и деревянный мост.

— А четыреста девяносто первый полк проявит здоровую инициативу! Я ему доложу, ты же покуда приступай, реализуй мою идею, собирай, что валяется на берегу.

— Хорошо, товарищ майор, — без излишней прыти сказал Тенюков. А Данилкин подумал: "По-моему, майор Криводубцев толковую вещь предлагает. Опробованную! Неоднократно мы уже переправлялись на подручных средствах. Лишь бы они нашлись".

А искать пришлось, как говорится, под огневым воздействием противника. И наипечальное: подручных средств оказалось не столь уж обильно, преимущест-

венно — полусгнившие доски и штакетник, полузатопленные дырявые плоскодонки и рассохшиеся бочки без обручей. Телефонным проводом это добро связывалось в некое подобие плотов.

— Ноевы ковчеги сооружаем, — сказал Тенюков. — Как бы на середине реки не пойти ко дну. И не от снаряда или мины... Тоже мне — крейсер "Варяг"...

Данилкин понимал недовольство комбата: хлипкие сооружения, что и толковать, предпочтительней переправа по понтонам или деревянному мосту. Но фактор времени? Быстрей, быстрей надо форсировать Березину и зацепиться на том берегу, создать и удержать хоть крохотный плацдарм.

В разгар сооружения "Ноевых ковчегов" камуфлированная "эмка" вырулила из кустарника, из нее картинно выскочил чернобровый капитан в новеньком, будто только что с вещевого склада обмундировании, раскрыл дверцу, и из легковушки неуклюже вылез сухотелый, сутулый генерал в роговых профессорских очках. Навстречу ему из тарантаса вывалился майор Криводубцев, по-кавалерийски косолапя, подошел к Бате:— Товарищ генерал! Личный состав вверенного мне полка находится на рубеже реки Березина. Согласно вашему указанию первый батальон готовится к форсированию на подручных средствах...

— Позовите, майор, ко мне комбата!

Капитан Тенюков предстал перед Батей, наспех подпоясанный, в сдвинутой пилотке, — трудился над плотами наряду со всеми. Доложил. Генерал пожал ему руку:

— Извините, сынок. Посылаю батальон в спешке, риск увеличивается. Но командир полка уговорил меня... Да, крайне необходимо хоть как-то зацепиться за тот берег. Удержите плацдарм, начнет переправляться весь полк. А наведем понтонный мост, деревянный мост, начнет переправляться дивизия. Только переправьтесь и продержитесь со своим батальоном, сынок!

"Продержусь, Батя", — хотел сказать Тенюков, но вслух произнес:

— Продержимся, товарищ генерал!

— Передайте личному составу батальона мою просьбу: сынки, не подкачайте.

— Передам, товарищ генерал! И не подкачаем. Поляжем костьми, но плацдарм удержим.

— Хорошо, комбат. Благодарю. Только костьми не ложитесь, не надо. Прошу: без лишних жертв.

— Понял, товарищ генерал.

— Желаю успеха! — И он опять пожал Тенюкову руку. — Артиллерия будет поддерживать переправу, связь с полком — по рации...

За "эмкой" разорвался снаряд, чернобровый щеголеватый адъютант засуетился, занервничал:

— Товарищ генерал, пора ехать.

— Успеем, сынок, успеем.

И тут разорвался второй снаряд. Адъютант побледнел. Комдив поправил очки, почесал седые жесткие усики-щеточки:

— Вот теперь пора...

Топорные, кое-как сляпанные, ненадежные плоты, зачерпывая воду, отчаливали от берега. На первом — лейтенант Таги-заде, строгий, суровый, связисты, автоматчики, на втором — капитан Тенюков, старший лейтенант Данилкин, ординарец Кравец, санинструктор, опять же автоматчики, гранатометчики, пулеметчики, на остальных — роты лейтенанта Самсонова, лейтенанта Пятницкого, младшего лейтенанта Багдасаряна, — более десятка плотов. Гребли досками и самодельными веслами, то обгоняя соседей, то отставая. Течение сносило, надо бы выгребать против, чтобы причалить к отмели, которую наметили заранее, — за отмелью косогор, кусты, лесочки, сады, дачные домишки.

Они близились нехотя, как бы сопротивляясь этому сближению. Немцы с заречных высот сразу же засекли плоты и перенесли на них часть огня, а часть по-прежнему обрушивали на восточный берег. Контрбатарейная борьба усилилась, и усилился наш обстрел огневых точек, бивших по переправе. Снаряды и мины взрывались и в отдалении, и в опасной близости от плотов, окатывая десанты хоть и летней, но отнюдь не теплой водой. А промокнув, на ветру засифонишь в два счета.

Вода кипела от снарядных и минных осколков, от пуль. Пока — обходится, однако немцы могут пристреляться, и будет кисло, если плоты не успеют побыстрей причалить к береговой кромке.

Светило солнце, но пошел дождь. Слепой дождь. Он немного прикрыл плоты от вражеских наблюдателей, от артиллеристов, минометчиков, пулеметчиков. От дождя вмиг промокли. Так что душ при близких разрывах уже ничего не значил. Значило другое — чтоб не достали осколки или пулеметные очереди.

Гребли до изнеможения, до кровавых мозолей. Обессилевших подменяли. Досталась доска и старшему лейтенанту Данилкину. В юности он был неплохим гребцом (как и пловцом, кстати), пусть бугристыми мускулами и не обладал. Сноровкой обладал, опытом обладал. И выкладывался несостоявшийся старлей на Березине без дураков.

На середине реки снаряд угодил в плот, где был лейтенант Пятницкий с бойцами второй роты. Прямое попадание разворотило плот в щепки, султан черно-огнистого взрыва подбросил человеческие тела, будто щепье. А затем люди упали в воду, захлебываясь, крича что-то, хватаясь за расколотые доски и бочки. Кто-то всплыл, его несло по течению, кто-то ушел на дно и не всплывал. И это было страшно — гибель людей в воде. Почему-то Данилкин, старлей, мечтавший о службе на флоте, ужаснулся этой смерти на воде больше, чем смертям на суше. Он не мог определить, кто именно выплывает и кто утонул, кто цел и кто погиб, и где Пятницкий Антон, что с ним. Неужели погиб славный малый, скромняга и трезвенник? Так и не попробует вина?

Погодя, крутой речной волною, вызванной взрывом, опрокинуло плот — какой, Данилкин не заметил. Но это не столь ужасно, ибо люди хватались за уцелевшую посудину и держались на плаву. Течением перекинутый плот тянуло вниз, на юг, и одновременно к западному берегу. Может, ребята еще доберутся живые и по назначению?

— Пристрелялись, гитлерята! — злобно оскалился Тенюков. — Мы на прицеле! Как на ладони!

— Берег недалеко, — отозвался Данилкин. — Может, допиляем.

— Бог войны хреново помогает, Денис! Артиллеристы мало подавили огневых точек.

— Это так. Но наш путь один — вперед.

— Не агитируй... Быстрей бы!

Снаряды и мины с того берега ложились там и сям, обдавая брызгами и осколками. Вблизи отмели крупнокалиберный снаряд, как жирная свинья, плюхнулся перед плотом капитана Тенюкова, и всех вывалило, как мелькнуло у Данилкина, за борт. Какой здесь, к черту, борт у этой трухлявой посудины, у крейсера "Варяга"! К счастью, случилось это уже на мелководье. И Данилкин, упершись ногами в дно, убедился: воды по горло. Но не выше! Значит, и не умеющие плавать бойцы не утонут. Резвей к отмели!

Дно было илистое, затягивало, грозя стащить сапоги. Выдираясь из засасывающего ила и подняв автомат над головой, чтоб уберечь от грязной речной воды, Данилкин двинул к отмели, узнавая людей по затылкам, по спинам, и сильней всего обрадовался, признав: это — Тенюков. Вразброд, однако с одинаковой настойчивостью люди спешили выбраться на отмель: там была мертвая зона, непростреливаемое пространство, и, следовательно, там была жизнь!

20

Выходя из реки, Данилкин увидел, как Тенюков стрелял из ракетницы, но ракеты не взлетали, отсыревшие, шипя падали в траву. Одна все-таки вылетела из сигнального пистолета и описала зеленую дугу над отмелью. Хорошо! Этот сигнал засекут те, кто уцелел на плотах, и будут собираться здесь, на отмели, у огромной коряги. Обтирали, чистили оружие, выливали воду из сапог, кое-как, на себе, выжимали гимнастерки и шаровары — на скорую руку. Времени было в обрез. Капитан Тенюков приказал: ротам рывком подняться на косогор, где была немецкая траншея, а за траншеей огневые позиции артиллеристов и минометчиков. Задача: ворваться в траншею, выбить немцев, закрепиться, а если обстановка сложится благоприятная, — продвинуться в глубь обороны, атаковать орудия и минометы. И тем создать плацдарм. Хотя бы километра три на три. То есть три по фронту, три в глубину.

У лейтенанта Самсонова оказалась вывихнута левая кисть — ее туго перевязали, — зато оказалась ракетница сухой, и ротный отдал ракетницу комбату.

— Весьма кстати, — сказал Тенюков и выстрелил красной и зеленой ракетой:

оповещал, что батальон высадился и выполняет задачу по захвату плацдарма.

И тут кто-то из бойцов, бросив винтовку и "сидор", скачками побежал к береговой кромке. Кто? Лейтенант Самсонов закричал:

— Ващенко, куда ты? Вернись! Стой!

Но солдат лишь припустил шибче, с разбегу упал в воду и поплыл саженками к восточному берегу.

— Товарищ капитан! — Побелевшие губы со шрамами у Самсонова тряслись, голос срывался. — Он же убегает с поля боя! Дезертирует!

— Со страху опупел, — сказал Данилкин. — Надо его срезать! Как бы панику не посеял...

— Разрешите, товарищ капитан? — Самсонов прицельно вскинул автомат.

— Не надо, — сказал Тенюков. — Не будем марать рук и брать на душу лишний грех. Не утонет, так трибунал присудит к расстрелу.

— А если ускользнет? — спросил Самсонов.

— Не ускользнет. Все же на виду...

Солдат по фамилии Ващенко уплывал, но на него уже не смотрели, ибо по отмашке комбата ротные цепи начали взбираться по склону. Как и принято, замполит Данилкин из кожи лез вон, чтобы быть в числе передовых, увлекая личным примером. "За Родину, за Сталина" не выкрикивал, зато сопел, пыхтел и задыхался, как говорят украинцы, от щирого сердца. Боялся: не выдюжит, не дотянет до гребня. А смерти не боялся, потому что знал: не здесь, у Борисова, его гибель, если уж ему положено погибнуть. А почему, собственно, положено? Нет, он еще поживет. И Данилкин помимо воли вытолкал из легких воздух хриплым воплем:

— Не отставай! На запад! За Победу, ура!

Кажется, его "ура" не поддержали, зато напористо, яростно лезли по склону выше, выше. Ближе к гребню пошел колючий кустарник, местами противником вырубленный: расчищали для пулеметов секторы обстрела. В траншее захлебывались свинцом пулеметы: для них непростреливаемого пространства здесь не существовало. И сейчас, когда осколки были безопасны, пули стали как бы вдвойне опасны.

Эта атака напомнила Данилкину ту, первую атаку под "Осинстроем", — может быть, потому, что оттуда началось продвижение дивизии сюда, к Борисову. И нынешняя атака должна быть и будет успешной. Вперед, на запад, даешь Борисов!

Данилкин пытался бежать, ослепленный пóтом и вырвавшимся из облаков солнцем, и боялся, что собьется с направления, побежит не туда. Но и ослепленный, он словно видел, как падали и вставали солдаты, а кто и не вставал. Иногда в цепи кричали: "Санитара, санитара сюда!", иногда изощренно матерились, иногда мычали бессмысленно, пугающе.

Мелькнула фигура капитана Тенюкова, — стройный, он сейчас двигался, сгорбясь, втянув голову в плечи, как-то бочком. Жив Модест! И это сразу успокоило, и даже зрение растуманилось. В правильном направлении шкандыбает замполит Данилкин. Да и всю дорогу он двигался в правильном направлении, ведомый партией. А эта мысль к чему? В атаке? Много бывает ни к чему, и не только в атаке.

А сердце колотится, как сумасшедшее, вот-вот разорвется, а ноги и руки — ватные, а в поясницу словно кол вогнали. Но — вперед, вперед, вперед. До траншеи, до стрелковых ячеек сорок шагов, тридцать, двадцать...

— Ура-а-а! — раздалось слева и справа, и Данилкин запоздало выкрикнул:

— Ура-а!

Он очнулся в траншее. Как метал гранату, как стрелял длинной очередью, как спрыгивал с бруствера — не помнит. Фрицы вроде драпают по ходам сообщения? Стрельба в траншее стихает и перемещается в ходы сообщения и далее, далее. Данилкин вдохнул, выдохнул, снова вдохнул и затрусил туда, где стреляли и кричали "ура" и "зиг хайль". Значит, фрицы еще сопротивляются?

Заметив, как из хода сообщения выпрыгнул немец в расстегнутом френче, без пилотки, по-арийски светловолосый, и, озираясь, потрусил к подлеску, Данилкин дал ему вдогон короткую очередь — и промазал. Немец обернулся, ответил взаимной любезностью — очередью из "шмайссера", но тоже не попал. Данилкин снова нажал на спусковой крючок, выстрелов не последовало: магазин пустой, елки-моталки. А немец вновь вскинул автомат, — протрещала очередь. Однако упал не Данилкин, а светловолосый немец. Осенило: кто-то срубил фри-

ца, тем спас замполита. Кто? В траншейном бою, бывает, и не узнаешь. Вообще никогда не узнаешь.

Живой, стало быть. Данилкин сменил магазин, снаряженный патронами до отказа. Порядок! Вернулась прежняя уверенность, а из уверенности вылупилась некоторая бодрость, кой-какие силенки. Он побежал по ходу сообщения, прилепив указательный палец к спуску. Взлетели две зеленых ракеты: капитан Тенюков просил перенести артминогонь с траншеи дальше, в глубь.

А Данилкин бежал, бежал сколько-то, внезапная усталость окутала, стреножила, голова затуманилась, подурнела, и очнулся он уже за ходом сообщения, в можжевельнике, за которым маячили замаскированные ветками и камуфляжными сетями огневые позиции вражеских артиллеристов. Что с ним происходит? Затмение какое-то, помрачение. С чего? До ручки дошел, до помутнения мозгов довоевался? Даст Бог, эти приступы пройдут.

Батальону надо было и продвигаться, и расширять фронт. Продвинуться-то продвинулись, доперли до огневых позиций артиллерии и минометов, но немцы из резерва бросили против рот Тенюкова свежие силы, и овладеть огневыми позициями не удалось. Батальон затоптался на месте, и фронт не расширялся, а сужался под натиском немецких автоматчиков, роты сбивались в кучу. Данилкин понял, чем это чревато. Еще раньше понял Тенюков. По цепям передали его команду:

— Возвращаться в траншею! И там стоять насмерть!

— Ни шагу назад! Помните, товарищи, эти слова? — говорил Данилкин бойцам, к его огорчению, охотно повернувшим вспять, к спасительной траншее.

А немцы — до двух батальонов — наседали, норовя окружить батальон капитана Тенюкова. Им это не удалось, потому, возможно, что наши отступали к траншее шустро. До неприличия шустро. Данилкину стало стыдно, и он нарочно замедлил шаг, оказавшись в задних рядах отступающих.

Комбат же находился посередке, в гуще отходивших бойцов и сержантов, возле него — лейтенант Таги-заде, запорошенный пылью, с перебинтованной рукой на перевязи, — знать, и его недавно ранило. Раненных легко, то есть кто в состоянии двигаться, многовато. А убитых сколько? Да как их подсчитаешь в этих атаках и контратаках? Кто будет разыскивать и хоронить? И когда? Никакой похоронной команды нет и в помине, и времени нет. Горько, но думать надо только о живых, каждый из которых в любой миг может превратиться в мертвеца. Отбрось эти мысли, замполит, и делай, что тебе положено.

— Ребята, — говорил Данилкин направо и налево, — не робеть! Отходим временно. Переправятся другие батальоны — опять пойдем на запад. Нужно только продержаться! Хлопцы, ни шагу назад! То есть из траншеи ни шагу назад!

Эти обращения к бойцам были долгими, на ходу, и не всякий боец дослушивал их до конца. И Данилкин иссяк, замолчал. И дождь излил себя, от влаги поблескивали ветки, листья и трава, солнечные блики бродяжили по Березине. Которая отделяла первый стрелковый батальон от полка и от дивизии, гордо именуемой отныне Оршанской. И от корпуса отделяла, и от тридцать первой армии, и от Третьего Белорусского фронта. От такой мысли неуютно, тоскливо. Но говорить положено иное. Положено! Говори, не молчи.

— Хлопцы, не вешать носа! Укрепимся в траншее и отобьем врага! За нами — вся Красная Армия, вся страна и великий полководец товарищ Сталин! Вперед, оршанцы!

Куда — вперед? Идут назад, отступают. Соображать нужно, замполит Данилкин. Забалтываешься. Ибо язык без костей. Мелешь черт-те что. Лучше-ка топай резвей и готовь себя к немецким атакам. А они будут, в том нет сомнения. Словом, ни шагу назад! А куда — назад? Назад — это река Березина, которую обратно не пересечешь. Да об этом и заикаться нельзя. Никому!

По рации капитан Тенюков доложил, что отбита и третья атака. Командир полка мрачно прервал:

— Отбивай и четвертую.

— Готовлюсь к этому.

— Готовься. Коль не сумел захватить огневые позиции и прогуляться по немецким тылам. Никак не могу успокоиться.

— Прогуляться немцы не дали, я ж докладывал: ввели два батальона. А сейчас и того больше.

— Целый полк, что ли, атакует?
— Похоже.
— Эх, Тенюков, Тенюков! Продержись еще малость. С мостами замедление, будем батальоны переправлять, как ты переправлялся.
— Прошу усилить артиллерийскую поддержку.
— Усилю. У меня на КП командующий дивизионной артиллерией. Только заруби на носу: плацдарм надо удержать чего бы то ни стоило. Зарубил?
— Зарубил. Извините, разговор кончаю, немцы снова полезли.
— Отобьешь, выходи на связь.
— Слушаюсь...
— Хорошо еще, что у нас рацию до сих пор не разбило, — сказал Данилкин. — С начальством можем сноситься.
— Да, это огромное счастье — сноситься с начальством. Однако, Денис, иди на место. Зреет четвертая атака. Сколько их еще будет?
— Смотря сколько нас останется. Без подмоги нам крышка. Либо труба. На выбор.
— Поглядим, Денис. Может, второй и третий батальоны подоспеют?
— Поглядим, Модест. Ну, я пошел...
Он топотал по траншейному дну, изрытому взрывами, загроможденному обвалами, обходя трупы и стараясь не смотреть на них. Зато временами посматривал на ельник и березняк, перед садами — первый был на левом фланге, второй на правом. Там-то и накапливались гитлеровцы, чтобы двумя сходящимися клиньями разрубить, растерзать советскую оборону. Проделывали они это (вернее пытались) с немецким упорством и педантичностью, не меняя характера атак. "Тупоумие какое-то, но им виднее", — подумал Данилкин и споткнулся о засыпанное комками суглинка тело. Пригляделся помимо воли: сержант Аникеев, ротный парторг, белолицый, рыхлолицый и после смерти: осколок угодил точняком в сердце. Прощай, парторг, когда-нибудь и как-нибудь похороним.
Он шел по стародавней привычке в первую роту, на фланг. К ней он привык, вероятно, оттого, что командовал ею Гусейн Таги-заде. Но теперь Гусейн замкомбата, и Тенюков послал его на левый фланг, в помощь комроты-три Сурену Багдасаряну.
А теперь первой ротой командует лейтенант Самсонов, порывистый, нервный, вспыльчивый, но, как показали бои, храбрый и стойкий офицер. И также уже ранен на плацдарме. Попробовал поднять роту в контратаку, однако едва высунулся из траншеи, как автоматная очередь прошила ему левое предплечье. Это в добавление к вывихнутой кисти. Разумеется, остался в строю, хотя самочувствие — неважное. С эдаким ранением отправляют в санбат. Но куда отправишь отсюда, с плацдарма? Сам Митя Самсонов пошутил:
— Разве что на тот свет... — И улыбнулся хмуро, — да, такая вот хмурая улыбка у Мити Самсонова, комроты-один. Впрочем, рота — понятие относительное: на взвод наберется — радуйся. Кроме убитых, немало тяжелораненых: их снесли в просторный блиндаж, где владычествовали батальонный фельдшер, санинструктор и два санитара. Отобьют четвертую атаку — замполит Данилкин обязательно навестит этот блиндаж — полевой госпиталь, как окрестил его шутник и храбрец Митя Самсонов.
Данилкин не дошел до позиции первой роты, когда на траншею обрушились снаряды и мины, — как обвал в горах. И тут немцы не изменяют стереотипу: перед атакой пехоты обработать орудиями и минометами. Впрочем, и мы подобной тактики обычно придерживаемся. Дубасили немцы здорово, не жалеючи снарядов и мин.
Траншея ходила ходуном, взрывы вспучивали землю и впереди, и позади траншеи, а прямые попадания как бы вырывали из нее куски. Данилкин присел на корточки на дно траншеи, укрыв автомат от комков суглинка, от пыли, зажав уши ладонями, — чтобы не оглохнуть от беснующихся разрывов, сливающихся один с другим. Но надо было ловить момент, когда пушки и минометы перестанут дубасить и автоматчики попрут за танками к траншее. И Данилкин то отнимал ладони от ушей, то снова прикрывал их.
Носа не прикрывал — и ощутил сладкий, трупный запах разложения. Но трупы и в солнечное пекло за два-три часа не разложатся. Так чем же пахнет? Цветущим по-над оврагом поздним жасмином. Его-то сладковатый запах и напоминает запах разложения. Мелькнуло: жасминовые кусты для влюбленных, разлагающиеся трупы — для войны. А? Точно, точно. Враз грохнуло несколько

разрывов. Данилкин еще сильнее раскорячился на корточках. Мелькнуло: эти снаряды — для него. Пронесло, пронесло, Господи. Ах, как не хочется пахнуть жасмином...

И еще — необычное, не ко времени: случайно Данилкин краем глаза засек: на разрушенном, полусметенном бруствере — накиданные в беспорядке желтые листья берез, жавшихся к траншее (им бы шарахаться от нее). Конец июня, когда хлеба колосятся и поспевают вовсю, убирать пора наступает, а тут — будто осень, сентябрь или октябрь, мертвящая желтизна березовых листьев. Да, не ко времени, и потому нехорошо.

Артминналет чуток поутих, и Данилкин потопал как можно резвее в первую роту. Добежал вовремя: из-за размочаленных березовых стволов, не остерегаясь снарядов ни собственной артиллерии, ни советской, неспешно, вальяжно выползали танки, словно понимая: предназначенное им от них не уйдет, никто за них не сделает им положенное.

Через две-три минуты немецкая артиллерия перенесла огонь в тыл, и по траншее стали бить пушки и пулеметы танков. Тоже, надо сказать, малоприятно: разрывы ложились впритык с траншеей, очереди выстригали вровень с бруствером, высунешься — и каюк. И тем не менее Данилкин высунулся. И увидел, что танки средние, что их пять, один зигзагами идет не то что в лоб на окоп Данилкина, но недалеко, по соседству, можно сказать. Ага, соседи, тогда познакомимся поближе.

Данилкин расстегнул гранатную сумку, извлек противотанковую, приятно тяжелившую руку. Стрелки из роты лейтенанта Самсонова отсекали автоматно-винтовочным огнем от танка лепившуюся к нему группу автоматчиков, пьяно галдящих “зиг хайль”. Да здравствует победа? Сейчас я покажу вам победу. Подпустив танк метров на двадцать, Данилкин перебежал в соседний окоп, к которому повернул танк. Ну, давай, давай. Зиг хайль? Он размахнулся и швырнул под задравшееся днище надежную, безотказную подружку-гранату. В бруствер вонзилось несколько пулеметных очередей, однако Данилкин остался невредим. Зато танку досталось: противотанковая рванула точняком под днищем, сорвала гусеницу, машина завалилась на бок, броню лизнули пламя и дым.

— Познакомились? Представляюсь: замполит старлей Данилкин. — Он проговорил это и шутовски, по-дурацки поклонился. — Ну, каково впечатление? Понравился? Вы мне оченно понравились, хо-хо! — И смех был шутовской, ненормальный.

Ткнувшись в углубленный окоп — командный пункт лейтенанта Самсонова, — Данилкин узнал, что и второй танк, шедший на участок первой роты, подожгли пэтээровцы, и остальные танки на участке всего батальона отошли. Потери в роте за четвертую немецкую атаку — десять человек. Много. И ужасно: сгорели заживо. Подполз огнеметчик с ранцем за спиной, из кустарника выпустил струю в изгиб траншеи, — траншейные колена у немцев не скругленные, как у нас, а остроугольные, в одном зигзаге скопилось с десяток бойцов...

Самсонов, подергивая губами со шрамами, спросил, не желает ли товарищ замполит взглянуть на них. Данилкин не желал, но ответил:

— Да. Попрощаюсь.

Сгоревшие были сложены, как в воинском строю, плечо к плечу, за блиндажом, на полянке, прикрытые плащ-палатками. Замполит и ротный прошли за блиндаж, за ровик, и Самсонов приподнял край палатки, Данилкин отшатнулся: сгоревшие человеческие тела, самое страшное — то, что осталось от лиц, узнать кого-либо было невозможно. Ему стало нехорошо, он отвернулся, сказал Самсонову:

— Прикрой. И выпадет время — похорони.

— Есть похоронить... Но у меня мертвых накопилось по завязку. Не всех даже собрали вместе...

— А кто среди сгоревших?

— Пофамильно?

— Да.

— Так, вспоминаю... Сержант Груздев... Младший сержант Вербников... Ефрейтор Маркосян... Рядовой Джумагельдыев... Рядовой Дьяконов... Рядовой Зуйкин...

Ротный называл знакомые и незнакомые имена, среди них и коммунисты, и комсомольцы, и беспартийные, и Данилкин кого-то помнил, кого-то нет, но ему казалось: всех помнит и знает — лицо в лицо. Потому что у всех одинаковая смерть...

Затем толковали о том, что раненых, если будет передышка, надо снести к реке — как наладится переправа, их без задержки перевезут на восточный берег, — о пополнении боеприпасами и медикаментами, если таковые имеются на батальонном КП, о необходимости крепче всего оборонять открытый фланг, ибо немцы уже пытались обойти батальон справа и слева, взять в мешок, отрезать от берега. А уж затем — доконать.

Из первой роты Данилкин откочевал во вторую и третью, и всюду одно и то же: потери, пополнение боеприпасов и медикаментов, эвакуация раненых, захоронение погибших, необходимость крепче держать оборону на стыках и открытом фланге. И всюду Данилкин произносил:

— Робя, не робей! — И улыбался, как ему мнилось, шутливо и ободряюще, в действительности же — устало, вымученно.

В третьей роте Данилкин повстречался с капитаном Тенюковым, которого заботила обстановка на этом фланге. Здесь танку удалось прорваться к траншее, он проутюжил часть ее, сильно разрушив окопы и раздавив нескольких бойцов. Комроты-три связкой ручных гранат подбил его, но и сам был ранен очередью из танкового пулемета, — так и командует с простреленными кистями. Что хорошо — когда отгоняли автоматчиков, многих уложили, подобрали оружие, рожки к "шмайссерам", гранаты с длинными деревянными рукоятками. Пополнились за счет немцев, молодцы. Но рота крепко поредела, окопов как таковых почти нет, надо их как-то подправить.

— Зарывайся в землю поглубже, Сурен, — сказал Тенюков.

— Зароемся, насколько хватит сил, — ответил Багдасарян, — широкие аспидные брови удивленно вскинуты, а чему тут, собственно, удивляться? Война, нормальная война.

На батальонный КП возвращались на пару (на охрану никого из автоматчиков не привлекали, все — в строю, даже ординарец Ленька Кравец стоял с винтовкой в стрелковой ячейке вблизи КП). Пятой атаки немцы покуда не предпринимали, но постреливали из пушек, минометов и пулеметов весьма и весьма. Пользуясь передышкой, бойцы освобождали траншею от завалов, подправляли порушенные стрелковые ячейки, насыпали бруствер.

Сперва Тенюков и Данилкин топали молча: впереди — комбат, за ним, едва не наступая на пятки, — замполит. У изгиба Тенюков остановился, сказал:

— Закурим?

— Твоих!

— Ох и жмот ты, замполит! Благодари Бога, что я добрый. Держи пачку.

Они задымили, и Данилкин сказал:

— Что-то фрицы не атакуют. Признаюсь, меня это беспокоит.

— И меня. Может, сил побольше накапливают.

— Это было бы скверно.

— Куда уж скверней...

— А на реке — пусто.

— Да, ни одного "Ноева ковчега". Подручных средств не хватает. Покаместь соберут...

— И сапёры не шибко раскачиваются. Да и фрицы не дают им работать, вон как обстреливают.

— А батальон, Денис, тает, хоть снова пополняй.

— На глазах тает, Модест. На глазах...

Они докурили, пошагали на КП. Проходя мимо окопа Леньки Кравца, услыхали его торопливо-вежливое обращение:

— Товарыш капитан!

— Слушаю.

— Разрешить доложить?

— Ну!

— На КП ЧП. Визля блиндажа снаряд впал. Товарыш Таги-заде возвернулся, как раз выходил с блиндажа. Порешетило осколками, полголовы снесло...

— Ах, Гусейн, Гусейн, — вздохнул Данилкин.

— Где он? — сурово спросил Тенюков.

— Ось там, у овражке, лежить...

— Оставайся на посту. Мы сами сходим...

Они подошли к телу, как обычно прикрытому плащ-палаткой. Данилкин хотел приподнять край плащ-палатки, Тенюков остановил:

— Не надо. Хочу запомнить Гусейна живым. И красивым. Каким был...

— Пожалуй, ты прав.

Они обнажили головы, постояли. Затем прошли в блиндаж, в котором размещался КП. И едва сняли автоматы, положили на стол, зачерпнули кружками воду из ведра, как снаружи загрохотало, замолотило, закачалось, — земля смешивалась с небом. Артподготовка, предшествующая пятой атаке? Разумеется. Оба выпили воду, надели автоматы и вышли в траншею, в просторный, обшитый досками окоп — наблюдательный пункт батальона.

Прильнули к биноклям. В окулярах вставало изуродованное, перепаханное взрывами и танковыми гусеницами хлебное поле, измочаленные кусты, а в отдалении — садочки, березовые рощи, сосняк, ельник, на опушках окутывались сизым дымком отработанных газов танки, и среди них сверхтяжелые "тигры" и "пантеры". Ого, этой новинки немцы здесь поднакопили! Значит, допекло. Но и нас сейчас допечет: машины серьезные, бороться с ними очень трудно. ПТР их худо берет, и не всякий снаряд, и не всякая противотанковая граната возьмет, броня — будь здоров. С надеждой, пусть и слабой, Данилкин подумал: "Наша противотанковая артиллерия из-за Березины может их достать".

Разрывы были столь частые, что могло показаться: воронка накрывает воронку. Окоп трясло, и вместе с ним трясло Тенюкова и Данилкина — словно в танке, преодолевающем полосу препятствий.

Осколки и пули пролетали над НП, а одна залетела, а залетев — ударила Тенюкова в висок. С закровянившимся лицом он упал, царапая глину ногтями, суча ногами. Данилкин понял: все. Перебарывая внезапный озноб, он склонился над командиром. Кровь вытекала из пробитого виска, розовая пена пузырилась на губах. И вдруг комбат перестал дергаться, зрачки стекленели и смотрели куда-то мимо Данилкина. И замполита пронзило: тело Модеста почти живо, но душа — почти мертва. Он поискал пульс, послушал, бьется ли сердце. Пульса не было, сердце не билось. Конец. Данилкин закусил губу и сухо, без слез заплакал.

В окоп влетел сержант-радист и отпрянул при виде умершего комбата. Данилкин заорал ему в самое ухо:

— Что?

И радист, с ужасом косясь на капитана, заорал Данилкину в самое ухо:

— Командир полка комбата вызывает! К рации!

Непостижимо, что в аду, в который попал первый батальон и где все было перебито, сломано, исковеркано, полевая рация чудом сохранилась. Данилкин надел наушники, взял микрофончик, назвался. Питание садилось, но слышимость была еще сносная. Майор Криводубцев сказал:

— Мне потребен командир. Где он?

— Он убит, — бесцветно ответил Данилкин.

— Убит?!

— Только что. Умер у меня на руках.

— А Таги-заде где?

— Убит еще раньше.

— Та-ак... Тогда принимай командование батальоном ("Тем, что осталось от него", — подумал Данилкин). И Батя, и я просим: продержитесь. Я не могу приказывать, я прошу: продержитесь ("Кому продерживаться-то?" — подумал Данилкин). С минуту на минуту начнут переправу другие батальоны... Ты меня понял?

— Понял.

— Ну, спасибо, спасибо, уважил... Да, погоди, тут с тобой рвется поговорить твое начальство...

Полковой замполит не просил, не уговаривал, а грубо и жестко сказал:

— Вникай, Данилкин: если батальон не удержит плацдарма, — выложишь партбилет. Да и в трибунал загремишь. Ясно?

— Ясно, — ответил Данилкин.

21

Сталин был в белоснежном кителе с маршальскими погонами, глухо застегнутом, — разве что воротник Вождь позволил себе ослабить. Иосиф Виссарионович не допускал небрежностей в одежде, естественно, и соратники следили за своим обликом бдительно. Приглашенные на обед военные товарищи были в белых летних кителях, застегнутых на все пуговицы, штатские, руководящие

товарищи — в отглаженных светло-желтых чесучовых костюмах, при галстуках, а Молотов еще и при дореволюционном пенсне.

После рабочего совещания, посвященного ходу наступательной операции "Багратион", Сталин сказал:

— Мы неплохо поработали. Не подкрепиться ли нам?

И пригласил отобедать у него на кремлевской квартире Молотова, Маленкова, Берию, Щербакова, Жукова, Василевского, исполняющего обязанности начальника Генштаба генерала Антонова. Вождь был в настроении, пошучивал, потому и гости взбодрились, также позволяли себе скромные шутки. Но среди шутливости неизменно возникала тема "Багратиона", — то, что наступательная Белорусская операция развивается успешно. Это сулит, как заметил Иосиф Виссарионович, далеко идущие перспективы. На оперативном совещании в кабинете Сталина указывалось, что не позже первого июля должен быть взят Борисов, а второго — третьего июля — Минск. Говорилось — в случае развития наступления — и о том, что желательно и возможно вступление советских войск в пределы Литвы, Польши и Восточной Пруссии. Точные сроки не фигурировали, но предполагалось — в начале сентября выйти к германской государственной границе и пересечь ее. Вот как разворачиваются события, есть от чего быть неплохому настроению!

По обыкновению возглавлявший обеденный стол Иосиф Виссарионович — справа Молотов, по левую руку Маленков, — погладив усы, сказал почти весело:

— Товарищи, прошу заняться бутылками. Выбирайте что пожелаете. И сколько пожелаете... Ну а застолье на сей раз будет вести не хозяин, а товарищ Берия.

— Я? — блеснул стеклышками пенсне всемогущий глава НКВД.

— Ты, Лаврентий! Ты же грузин, следовательно, специалист по застольям.

— Я грузин московского розлива, товарищ Сталин, — тонкогубо улыбнулся Берия и колыхнулся раздобревшим телом.

— Это верно, Лаврентий. Как и то, что товарищ Сталин — грузин российского розлива.

Все улыбнулись, а Молотов, привычно заикаясь и растягивая слова, поправил как бы:

— Всесоюзного, всесоюзного!

— Согласен, — сказал Сталин и обмакнул усы в бокал с "Хванчкарой". — Так за что выпьем, товарищи?

— За успех операции "Багратион", — сказал Берия, привстав. — За творца всех наших побед — Верховного Главнокомандующего, маршала Сталина!

Он поднял пузатую рюмку с водкой, и другие подняли рюмки, бокалы, стаканчики, но Сталин нахмурился и сказал:

— За хозяина стола пьют в завершение застолья. Или ты забыл грузинские обычаи, Лаврентий?

— Не забыл. Извиняюсь...

— Смотри, а то уволю. — Сталин произнес это вроде бы не всерьез. Гости понимали: речь о том, что товарищ Сталин может заменить тамаду, но в столовой зловеще повеяло вторым, подспудным смыслом: уволить с должности главы НКВД, заменить иной фигурой. Едва ли не каждый из них внутренне поежился, разумея: во власти Вождя уволить любого из них и в любой момент.

— Исправлюсь, товарищ Сталин, — натужно засмеялся Берия, давая окружающим понять: Вождь всего лишь шутит.

— Исправляйся, исправляйся, еще не поздно. А пока что я хотел бы провозгласить тост за товарища Василевского, за победы его фронтов. Ваше здоровье, товарищ Василевский! — Не чокаясь ни с кем, Вождь мелкими, смакующими глотками выпил бокал до дна.

Василевский, смущаясь, поклонился:

— Благодарю, товарищ Сталин. Ваше доверие оправдаю.

— Не сомневаюсь. Закусывайте, товарищи.

Застучали ножи, вилки, невнятные, тихие, затеплились застольные беседы. Сталин снова налил себе "Хванчкары" и поднял бокал:

— Я также хотел бы выпить за здоровье товарища Жукова, за победы его фронтов. Товарищ Жуков, за вас!

Поблагодарив молчаливым кивком, неулыбчивый, суровый Георгий Константинович хлопнул стопку, зажевал кусочек колбасы, энергично работая крупными, хорошо развитыми челюстями. Сталин посмотрел на него и, смакуя, выцедил свое вино.

Александр Сергеевич Щербаков выпил коньячку, заел лимонной долькой в

сахаре, поправил очки с толстыми линзами и подумал: "Вождь выделил Василевского, Жуков — на втором месте. Умышленно это или не умышленно? Вождь ничего просто так не делает. Как воспринял это Георгий Константинович? По его каменной физиономии не понять. Ох уж эти наполеончики! Недолюбливает их начальник Главпура Щербаков, грешен, батюшка, грешен. Фанаберии у них через край. У таких, как Жуков, она на виду, у таких, как Василевский, скрыта. Но пока идет война, они нужны. А вообще голова у меня должна болеть о другом".

Сталин обернулся к Берии:

— Лаврентий, продолжай исполнять свои обязанности.

— Исполняю! Я хочу поднять тост не персональный, а обобщенный. Прошу вас осушить бокалы за нашу общественную систему, за бесклассовое общество, за могучее государство, выпестованное партией Ленина — Сталина! За всепобеждающее учение Ленина — Сталина!

Он единым махом выпил стаканчик водки, выпили и другие. Сталин лишь отхлебнул. Щербаков подумал: "Носит пенсне, а необразованность так и прет. Нельзя тост поднять, его можно предложить, провозгласить. А поднимают чарки, темный ты мингрел!"

— Ты у нас теоретик, Лаврентий. Ученый. Философ. — И Сталин шевельнул в улыбке усами. — Нашего профессора-толстуна забьешь.

Застолье держало Щербакова в напряжении. Потому что посреди обязательных и необязательных тостов Сталин вдруг мог спросить либо сказать что-нибудь такое, что коснется непосредственно начальника Главпура. Например: сколько человек вступило в партию накануне и в ходе операции "Багратион"? На том Политбюро он поднимал этот вопрос, накануне операции. Если не забыл, — спросит. Но Сталин ничего не забывает. Что ж, он, Щербаков, готов к ответу. Цифровые данные под рукой — по фронтам, по армиям, по родам войск. И по комсомолу данные есть. О потерях в рядах фронтовиков-коммунистов может спросить Вождь? И на это начальник Главпура даст исчерпывающий, хотя и предварительный ответ. По состоянию на сегодняшний день. Операция-то продолжается.

Но Сталин ни о чем таком не спрашивал, и обед шел своим чередом. Берия предложил выпить за Вячеслава Михайловича Молотова, и Сталин высоко поднял бокал, произнес веско:

— Вячеслав, будь здоров! Пью за своего верного помощника!

— Спасибо, Коба! Спасибо, дорогой!

Затем тост был за Георгия Максимиллиановича Маленкова, и Сталин опять сказал:

— Товарищ Маленков, будь здоров! Пью за своего верного помощника!

Н е о х в а ч е н н ы м и оставались только начальник Главпура Щербаков и врио начальника Генштаба Антонов. О них будто запамятовали — пили, ели, разговаривали. И тогда слово попросил Василевский. Сказал:

— Среди нас присутствуют два начальника — Главпура и Генштаба. Я предлагаю тост за здоровье, благополучие и успехи Александра Сергеевича Щербакова и Алексея Иннокентьевича Антонова!

— Поддерживаю тост за этот дуэт. Но должен уточнить: товарищ Антонов временно замещает начальника Генштаба. — После долгой, томительной паузы Сталин добавил: — Но когда-нибудь станет настоящим начальником Генерального штаба. Не так ли, товарищ Василевский?

— Так точно, товарищ Сталин! — ответил растерявшийся Василевский.

И снова Щербаков попытался уловить скрытый, потаенный смысл в словах Вождя. Что когда-нибудь, возможно, с окончанием войны, Антонов заменит Василевского в Генштабе? Это имел в виду Вождь? Или что иное? А не заменят ли самого Щербакова на кого-то другого? Власть Вождя непредсказуема...

Маленков, откинув челку со лба, предложил тост за Лаврентия Павловича Берию — неусыпное око, всеслышащее ухо и не дрогнувшую руку в борьбе с врагами всех мастей. Выпили. Сталин закурил, сказал:

— Товарищи, поскольку тосты исчерпаны, можно говорить на вольные темы. Кто о чем пожелает. Обед не будем форсировать, за ним и отдохнем душой и телом. Возражений нет?

— Товарищ Сталин, — сказал Берия. — Главный тост, тост за Хозяина, еще остается.

— Под конец, под конец, Лаврентий. А сейчас просто по-товарищески, не торопясь, побеседуем.

Но беседы как таковой не вышло: говорил в основном Иосиф Виссарионович,

гости — внимали. Щербаков внимал и думал, что обо всем этом говорилось совсем недавно на совещании в кабинете Верховного. Идет повторение. Но что-то весьма значимо для Вождя в этих рассуждениях, вот он и произносит размеренные и раздумчивые монологи. Внимай, Александр Сергеевич, впитывай в себя мысли Вождя. Пригодится. Повторенье — мать ученья.

— Меня лично стратегическая операция "Багратион", — говорил Иосиф Виссарионович, — привлекает, помимо прочих особенностей, и еще двумя. О которых я бы позволил себе порассуждать. Первое. "Багратион" замышлялся так, что на разных участках фронта наступления его начало было разновременным. Что для педантичных, шаблонно мыслящих немцев было некоторым сюрпризом. Обычно мы начинаем наступление полевых частей в девять, в десять утра. Так кое-где и было. А кое-где мы начали наземные наступления в пять, в шесть. Это-то и явилось неожиданностью для противника. Не так ли, товарищ Жуков?

— Вероятно, так, товарищ Сталин.

— И второе, что наши войска в данный момент и осуществляют. Одновременно с окружением противника, созданием "Минского котла", внутри "котла" идет расчленение и уничтожение по частям вражеских войск. Предполагаю, что для ефрейтора Гитлера и его фельдмаршалов такое сочетание также явится некоторым сюрпризом. Не так ли, товарищ Василевский?

— Так точно, товарищ Сталин!

Потом Сталин вернулся вспять, стал анализировать предпосылки к проведению "Багратиона", потом — о последующих задачах по развитию Белорусской операции, которые уже, естественно, проговаривались на совещании в сталинском кабинете. Но участники обеда со вниманием слушали Верховного Главнокомандующего. Слушал и Александр Сергеевич Щербаков: верно, верно, повторенье — мать ученья. Да, честно говоря, ему, человеку сугубо штатскому, в общем-то это послушать было небесполезно. Но интересно ли слушать Жукову и Василевскому? При всей своей маршальской фанаберии это талантливые полководцы, профессионалы высокого класса. Да к тому же они практически п р и л о ж и л и с ь и к идее "Багратиона", и к его воплощению. Хотя уже сейчас газеты и радио по указанию Щербакова ведут кампанию о роли гениального товарища Сталина, задумавшего и реализующего эту грандиозную — действительно, грандиозную — наступательную операцию по разгрому группы армий "Центр".

Сталин умолк как бы на полуслове и сильно, со всхлипом затянулся трубкой, выпустил дым, пососал мундштук. Замолчали и остальные. Кто жевал, не раскрывая рта, кто вообще не ел, ожидая, что́ скажет Вождь дальше. А Вождь дальше сказал, хитровато прищурившись:

— Тамада у нас неудачный. Признаю: ошибся я с этой кандидатурой. При товарище Берии не разоткровенничаешься. Чуть что не так — и занесет в папку с компроматом. Однако не судите его излишне строго, товарищи, работка у Лаврентия такая. Наверное, он и на товарища Сталина досье ведет. А, Лаврентий?

— Бог с тобой, Коба! — воскликнул Берия, впервые за обед называя Сталина его стародавней партийной кличкой и тем как бы намекая, что́ может себе позволить.

— Бог-то со мной, а с тобой, Лаврентий, сатана. — Сталин обронил еле слышный смешок, от которого похолодел не один лишь Берия. Он не смог сдержать волнения: заерзал на стуле, на лбу, на широких залысинах заблестел пот, и стеклышки пенсне будто запотели.

"Шутки Вождя, — подумал Щербаков. — Шутки, от которых удар хватит или сердечный приступ прижмет". Александру Сергеевичу показалось, что в сердце трижды кольнулась боль.

Сталин между тем продолжал:

— Лаврентий, у тебя огромная власть. Но и над тобой есть власть.

— Я подчиняюсь Политбюро и товарищу Сталину...

— Именно, именно! Ты не думай, я ведь контролирую. Вот, товарищи, приходится вникать и в деятельность НКВД, — сказал Сталин, словно бы жалуясь. — Товарищ Сталин должен руководить, направлять, поправлять, взваливая на свои немолодые плечи все — от ведения войны до запрещения абортов...

— Нагрузки у тебя колоссальные, Коба, — прозаикался Молотов.

— Да, Вячеслав, колоссальные. Как только здоровье выдерживает, сам поражаюсь. Между прочим, и в работу дипломатов, которыми ты руководишь, Вячеслав, приходится вмешиваться ежечасно.

— Мы благодарны тебе за то, что столько времени уделяешь внешней политике. Помогаешь нам мудрыми советами, нацеливаешь наши усилия.

— Стремлюсь по мере сил, Вячеслав... Да, а не выпить ли нам еще? Товарищи поддерживают?

Товарищи, и штатские, и военные, поддержали. Щербаков определил: Вождь в легком подпитии, которое могут заметить лишь приближенные, а со стороны, пожалуй, никто ничего и не заметит. Щербаков не помнит случая, чтобы Иосиф Виссарионович напивался: после застолья любой продолжительности он возвращался в кабинет, к делам. А дела — гигантские, всеобъемлющие, действительно — от войны до абортов.

Будто развивая мысли Щербакова, Вождь сказал:

— Увы, увы, товарищ Сталин буквально разрывается на части. Знали бы вы, товарищи, сколько сил и нервов отнимают, к примеру, наука, литература, кино, музыка и прочее. Кстати, товарищ Жуков, — Сталин грузно повернулся к Георгию Константиновичу, — говорят, вы неплохо играете на гармони?

— Плохо, товарищ Сталин. Любительский уровень. Мастерски играет маршал Буденный.

— Знаю. Я разрешил ему выступать в дуэте баянистов на Всесоюзном радио. Но безымянно. Гонорар он получает, однако славы, к сожалению, никакой. — И сызнова Сталин обронил короткий смешок. И оживился: — Товарищ Жуков, а не смогли бы вы скрасить обед своей игрой?

— Товарищ Сталин! — Жуков еле приметно усмехнулся. — Гармошки у меня под рукой нет. И вообще у меня ее нет. Играю под настроение, когда случайно подвернется инструмент.

— А если мы пошлем за гармошкой Семена Михайловича Буденного? Привезут, и вы сыграете.

— Товарищ Сталин, через сорок минут я вылетаю на фронт. Вы санкционировали мой отлет.

— Санкционировал, — недовольный, сказал Сталин. — Сожалею, что мы не насладимся вашим искусством... А вы, товарищ Василевский, когда улетаете?

— Через пятьдесят минут, товарищ Сталин.

Верховный взглянул на настенные часы:

— Да, помню, помню... А каким-нибудь музыкальным инструментом владеете?

— Нет, товарищ Сталин.

— Что же так? Музыка облагораживает человека, возвышает. Вот маршал Тухачевский, например, обожал скрипку. И недурно играл. В свободное от службы время. Доводилось слушать. А чем занимался в служебное время...

Щербаков мысленно удивлялся, зачем Сталин вспомнил Тухачевского, которого объявили шпионом, врагом народа и расстреляли. В чем тайный смысл этого напоминания о судьбе одного из первых маршалов Советского Союза? Загадки, сплошные загадки.

— Ну, хорошо, — сказал Сталин, снова закуривая. — Мы отпускаем товарищей Жукова и Василевского. Пускай себе летят. Боевых им успехов. А мы еще посидим. Ведь хорошо сидим, товарищи?

— Хорошо, Коба, — сказал Молотов.

Посидели — уже без маршалов — часа полтора, но Сталин так и не поинтересовался у Щербакова данными о фронтовых коммунистах и комсомольцах, которыми располагал начальник Главного Политического Управления. Ну да на все воля Вождя. Но до последней минуты Александр Сергеевич в напряжении ожидал вопросов Сталина о коммунистах, о комсомольцах, и сердечко, проклятущее, несколько раз кольнуло, сигналя: больное я у тебя, Саша Щербаков.

Немецкие танки били прямой наводкой. Два осколка ударили Данилкина в грудь и живот. Он вскрикнул и сполз на дно мелкого сыпучего окопчика. Лежал на спине, в луже крови, и сознание туманилось, меркло. На какой-то момент примерещилось: он бежит по железнодорожной платформе, останавливается, тяжело дыша, на краю, у семафора мигнул красный стоп-сигнал хвостовой теплушки. Корчась от боли перед тем, как замереть, Данилкин успел понять: уходящего воинского эшелона ему не догнать никогда.

1992—1993 гг.



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



СЛАВА БОГУ НА МЕСТЕ СВЯТОМ!

ХРАМ СВИНЕЙ

Он всеногий беглец и бродяга,
Он бежал на восход и закат.
Но земная обратная тяга
Беглеца развернула назад.

Он разбил сапоги-скороходы
И присел на забытый порог.
И запавшее семя свободы
Вытряс вместе с землей из сапог.

Провалилось колючее семя,
На свой срок затаилось во мгле.
Человека покинуло время,
Но росток шевельнулся в земле.

А когда он напьется и, пьяный,
В одну точку гляделки упрет,
То ли дуб, то ли храм деревянный
Перед ним на том месте растет.

Слышит он песнопенья святые,
Думный гул от корней до ветвей.
Собираются рыла свиные,
Потому что хотят желудей.

И кричит он на стадо свиное,
Озираясь на месте пустом:

— Ройтесь, свиньи! Тут место святое!
Слава Богу на месте святом!

ВЕЧНЫЙ ИЗГНАННИК

Я изгнан оттуда, где древо
Познанья роняет глагол.
Я изгнан из женского чрева
На волю — и гол как сокол.

Я изгнан из круга родного
В толпу, что не помнит родства.
Я изгнан из горнего Слова
В пустые земные слова.

Я изгнан, как искра из камня
Копытом бегущего дня.
Кто знает причину изгнанья,
Тот, видно, и проклял меня.

А что моя жизнь? Дуновенье
Оттуда, где нет ничего.
Как в воду, вхожу во мгновенье,
Но изгнан уже из него.

В трагической формуле мира
Я изгнан за скобки. Мой знак
Стоит одиноко и сиро,
Таращаясь в распахнутый мрак.

Теряя последнюю силу,
Я чую небесный излет,
Когда буду изгнан в могилу —
Из этого света на тот.

Душа с того света рванется,
Во сне распрямляя крыла...
Но искра уже не вернется
В тот камень, где раньше спала.

СУХОЙ БУТОН

Была ты далека и сокровенна,
Когда строку лелеяла рука.
Я сотворил свой мир. Самозабвенно
Благоухает каждая строка.

Бутон в стакане рядом золотился,
Он ждал тебя и начал засыхать.
Явилась ты — сухой бутон раскрылся
И зазвенел, и стал благоухать.

Не раз бывало, что-то изменялось
От твоего случайного огня...
А ты прочла стихи и засмеялась:
— Подумать только! Снова про меня!

Не только про тебя так откровенно
Писала эта легкая рука.
Не только про тебя самозабвенно
Благоухает каждая строка.

СЛОВО

Устал я жить и говорить некстати,
Пускать, как пыль, заветные слова.
От женских слез, признаний и проклятий
На памяти осталась трын-трава.

Пора забыть их трепет и тревогу,
Любовь и свист оставить соловью.
Когда я смолк, душа открылась Богу
И в тишине произнесла: — Люблю!

Не только Бог услышал это слово;
Как на духу, перед лицом зари
Все женщины возникли из былого
И прошептали громко: — Повтори!

* * *

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!

А. Пушкин

Навеки прочь! Весь легион!
Со мной перо и Божья милость!..
Но вскоре я увидел сон:
Земля и небо — все затмилось.

Мне в нос ударил смрад глубинный
И дым от адского огня.
То Сатана с брезгливой миной
Сжигал доносы на меня.

ТЯЖЕЛО

Я знаю все и ничему не рад.
Слова и муки схватывают чаще.
Я в крик живу!... Мой беззаботный брат,
Тебе легко, но ты — не настоящий.

— Терпи, — мне голос предка говорит, —
Твое терпенье небесам угодно.
Тяжелое всегда плодотворит,
А легкое и пусто, и бесплодно.

СПИЧКА

Который час?.. Наискосок
Я чиркнул спичкой о восток.
Как чайка, спичка закричала.
Я вздрогнул: тем же криком ей
Из-за невидимых морей
Живая чайка отвечала.

ИСПОЛНЕННЫЙ ЗАВЕТ

Поэта больше нет, убийца потрясен.
Мартынов процедил: — Да, потрясен, не скрою:
Преставился отец, мой бедный Соломон! —
И топнул в бешенстве ногою.

Отвесил он отцу последний свой поклон
Во тьму, где смрад стоит от мировых помоев:
— Исполнен твой завет, мой мудрый Соломон, —
Убил я лучшего из гоев.

ЗАКЛЯТИЕ В ГОРАХ

Когда до Бога не дойдет мой голос
И рухнет вниз с уступа на уступ,
Тогда пускай в зерно вернется колос
И в желудь снова превратится дуб.

Иному человечеству приснится,
Как вдаль бредет мой распростертый труп:
А на одной руке растет пшеница,
А на другой — шумит могучий дуб.

ХВАЛА И СЛАВА

Близок предел. Счет последним минутам идет.
Из человечества выпало слово: вперед!
Господи Боже! Спаси и помилуй меня,
Хоть за минуту до высшего Судного Дня:
Я бы успел помолиться за всех и за вся,
Я бы успел пожалеть и оплакать себя...

Голос был свыше, и голос коснулся меня
За полминуты до страшного Судного Дня:
— Вот тебе время — молиться, жалеть и рыдать.
Если успеешь, спасу и прощу. Исполать!

* * *

После смерти идут безопасным путем,
Там не очень темно.
Но легко повстречаться со старым врагом,
Побежденным давно.

Все, что проклято, продано, пропито здесь,
Повторяется там:
И провалы земли, и прорехи небес,
И разгромленный храм,

И все вопли твои, и твой бред про Париж,
И слова с ветерком...
Успокойся! Тот свет — все же свет, а не шиш.
Мы и там поживем.

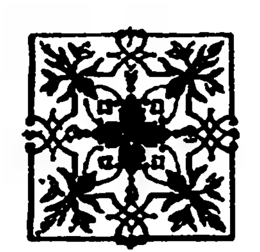
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: — Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок.
Да, я ничто, но русское ничто.

Глухие услыхали человека,
Слепые увидали человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали: — Эй, калека!
А что такое русское ничто?

— Все продано, — он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто!

Глухие человека не слыхали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
— А что ты медлишь, русское ничто?!





Николай НАСЕДКИН



ПРОТОТИПЫ

ПОВЕСТЬ

I

Просматривать газеты начинаю я всегда с последней полосы. И сразу — с некрологов. Так уж привык.

Тянет почему-то в первую очередь узнать — кто из знакомых сыграл в ящик, дал дуба, окочурился, отбросил коньки, скопытился, загнулся, протянул ноги, отдал Богу душу, опочил, присоединился к большинству и приказал мне долго жить.

Впрочем, это я так, через силу, натужно выкаблучиваюсь, прикидываюсь сам перед собою циником, толстокожим хохмачом. На самом же деле эти фамилии в черных рамочках на последней полосе "Местной жизни" — и особенно фамилии, привычные зрению, слуху, сердцу, — каждый раз заставляют меня напрячься, чуть ли не вздрогнуть, учащают пульс мой и стук поизносившегося уже сердца, покалывают мозг страхом и тоской.

Что ж тут странного — возраст, болезни, усталость.

А черные рамочки — скромно приплюснутые, квадратно солидные или порой даже вытянутые столбиком через всю страницу и с фото внутри — появляются буквально в каждом номере областной газеты. Да не по одной, а блоками по пять — шесть штук. И очень часто, тревожно часто фамилии в них мелькают именно знакомые, фамилии, за которыми сразу всплывают в памяти конкретные лица, фигуры, голоса людей, связанных с тобою десятками, сотнями жизненных нитей. Да-а-а, город наш не Токио, не Рио-де-Жанейро, и даже не Москва; не город —

НАСЕДКИН Николай Николаевич родился в 1953 году в Сибири. Работал строителем, рабочим завода, журналистом, служил в армии. Закончил факультет журналистики Московского государственного университета и Высшие литературные курсы. Публиковался в газетах, журналах, сборниках в Тамбове, Воронеже и Москве.

Автор сборника повестей и рассказов "Осада" (М., "Голос", 1993). Член Союза писателей России. Живет в Тамбове.

большая деревня. Каждого второго из встречных узнаешь, с каждым третьим здороваешься.

Так вот, и в этот вечер я, как обычно, разворачиваю "Местную жизнь", уже за чаем, отдыхая от тягот опостылевшей службы. Вот что меня бесит, вот что сокращает мою жизнь! Я — писатель. Довольно много пишу и в последнее время часто публикуюсь, а писательского заработка в наши окаянные дни хватает разве что на хлеб да жидкое пивко. Так что за масло для бутерброда и водочку для настроения приходится горбатиться в институтском издательстве, редактировать всякие псевдонаучные методички и диссертации, состряпанные безграмотными в большинстве своем доцентами и профессорами. Удивительно невежественный народ!

Через всю газетную страницу чернеет жирная траурная рамка. С плохо пропечатанной фотографии смотрит длинное дряблое лицо с толстым подбородком и тусклыми оловянными глазами — знакомое, как говорится, до боли. Я отталкиваю чашку, впиваюсь в строки некролога.

"Безвременно ушел из жизни Иван Александрович Филимонов*. Он был кристально честным и добросовестным человеком, принципиальным коммунистом, а в последние годы и демократом. Всю душу он вкладывал в дело честного служения своему народу, Родине, партии. Как руководитель и принципиальный демократ он вносил большую лепту в дело воспитания подрастающего поколения в духе демократии и плюрализма, подавал молодежи пример личной жизнью..."

Некролог — длинный, трескучий, удивительно фальшивый по лексике и стилю. Да-а-а, скапустился Иван Александрович, товарищ-господин Филимонов, отправился к праотцам. И так вдруг, внезапно. Если траурное сообщение тиснули сегодня, значит, бедолага, как минимум, вчера умер? Что же это с ним произошло-случилось? И жены, как назло, дома нет — может, она какие подробности слышала?

Я бросаюсь к телефону. Толян Тулин, репортер "Местной жизни", — уже дома. Что? Как? Когда?.. Толя, разумеется, знает все до последней деталечки. Оказывается, Филимонов возвращался накануне от тещи из деревни на своем "Москвиче", был гололед (он и сейчас есть, и еще долго — поди до самого апреля — будет), вот и — авария. Сам-то Иван Александрович, всем известно, ездок тихоходный, сверхаккуратный, да вот не уберегся: занесло на него "КамАЗ" с прицепом. Многотонный грузовик накрыл филимоновскую легковушку, как кит сардинку. Останки бедного Ивана Александровича доставали из сплюснутого "Москвича" с помощью автогена, отскребли от сиденья и баранки...

Признаться, по спине змейкой — озноб, сердце притискивает; смерть жуткая. И пусть Ивана Александровича Филимонова я недолюбливал — и крепко недолюбливал! — но смерти я ему, тем более такой скоропостижной, нежданной, отнюдь не желал. Правда, каюсь, каюсь и каюсь: однажды я уже... убил его, Ивана Александровича Филимонова. Да-да, убил — убил зверски, безжалостно: расстрелял из обреза охотничьего ружья.

Дело в том, что с него, с Ивана Александровича Филимонова, я списал одного из своих мерзопакостных героев. В той повести я, против обыкновения, очень натурально, крайне достоверно, до предела узнаваемо обрисовал в герое прототипа — этого самого И. А. Филимонова. Я в точности воспроизвел его внешность, вплоть до толстого бабьего подбородка, его манеру говорить, многие факты его биографии. Я даже оставил ему его профессию — журналиста — и совсем чуть изменил фамилию. Одним словом, я целиком, живехоньким вставил Ивана Александровича Филимонова в повесть, провел его по перипетиям сюжета и в финале безжалостно убил-расстрелял руками подпортвейненных малолеток, пожелавших покататься на его, Ивана Александровича... то есть, тьфу, героя повести, машине.

Вещь та всего месяц тому как появилась-вышла в сборнике моих повестей и рассказов. Я знаю, что Иван Александрович, прослышав о своем прототипстве, уже нашел случай повесть прочитать, хотя книга моя еще широко не продается, до городишки нашего из столичного издательства еще не добралась. Однако ж кто-то из тех, кому успел я подарить-подписать свое детище, поспешил п о р а д о в а т ь Филимонова. Обычно прототипы отрицательных героев стараются не

* Все фамилии, имена, отчества здесь и далее, конечно же, изменены.

узнавать себя, помалкивают в тряпочку. Иван же Александрович как-то при встрече на улице не выдержал, подскочил ко мне, зашипел:

— Щелкопер! Бумагомарака тоже мне выискался! Осмеял на весь свет — как мне людям теперь в глаза-то глядеть?!

Я не успел среагировать, сказать хотя бы: "Пшел вон!", — как он заоглядывался на прохожих испуганно, натянул воротник пальто, стушевался. Он вообще в последнее время, в наше бурливое непонятное время, как-то сник, потускнел, подрастерялся, хотя и пытался подстроиться, зашагать в ногу, подемократничать. А раньше о-го-го каков был орел-стервятник. Как резво прыгал он по ступенькам карьеры, потрясая, как пропуском, партбилетом, как открыто, сладострастно и без зазрения совести фарисействовал...

Хотя, чего ж повторяться: все это я описал в повести, которая месяц назад наконец-то вышла в свет. Надо сказать, что это редкий случай в моем писательстве, особенно сейчас, — вот так доподлинно выставлять ж и в о г о человека в повествовании. До этого я только считанные разы, еще по молодости, не имея опыта сочинительства, списывал, копировал своих знакомых, срисовывал их до мельчайших черточек, наивно полагая: мол, чем натуралистичнее, фотографичнее, тем художественнее, живее выйдет и персонаж. Это я сейчас, под старость, начал понимать-чувствовать: точным копированием жизни творческого результата вряд ли достигнешь. Нет, долой приемы очеркистов и фельетонистов! Да здравствует божественное воображение, да здравствует домысел и вымысел!..

Когда жена приходит с работы, я прямо на пороге спрашиваю:

— Знаешь про Филимонова?

— Да знаю, знаю, — раздраженно отмахивается Валя. — Тебе в радость, наверно.

Жена не в духе. Она вообще в последнее время хронически не в духе. А кто, скажите, в наши шизофренические дни — в духе? Разве что бизнесмены хапужные, торгаши наглые да чокнутые демократы доморощенные. Веселятся Емели — их неделя.

— Да что ты, типун тебе! — резко обрываю я. — Тут и так душа не на месте.

— Ну еще бы! Может, он из-за тебя жизнь самоубийством кончил, может, он с а м под грузовик заехал.

Я молча смотрю секунд десять на ее рыжие, мелко завитые кудельки, на дурацки перевернутые дужками вниз модные очки с толстенными стеклами, делающими взгляд постоянно насмешливым, на ее острый бледный нос.

— Перестань, дура! — ору я. Я даже взвизгиваю — соседи наверняка слышат. — Вечно настроение испортишь!

Я бросаюсь из прихожей в свою комнату-клетушку, с размаху бабахаю дверью. И — дикий кошачий вопль. Этот дурень Фурсик, наш рыжий котяра, проскакивая вслед за мной, разумеется, забыл в двери хвост. Жена — в крик. Ор, вой, рев. Сердце — молотком по ребрам. Тьфу ты, черт! Вечерняя работа — насмарку. А ведь срочно надо заканчивать новый рассказ: из той же "Местной жизни" звонили уже — просят-ждут для литполосы, беспокоятся.

Я выкидываю в общую комнату рыжую бестию, мечусь минут пять по своему кабинетику — три шага туда, три обратно, — накачиваю-взвинчиваю себя... Все! Я выскакиваю в коридор, напяливаю куртку, хватаю шапку и — за дверь. А пошли вы все! Из нагрудного кармашка куртки я выуживаю свои финансы, пересчитываю при тусклом свете одинокого фонаря в подъезде — на пивко с лихвой хватит. Пить-то вроде и не тянет, но не по улицам же слоняться в такую холодрыгу, скользить и падать на мартовском голом льду.

Еще расшибешься до смерти и — вдогоночку за Иваном Александровичем Филимоновым.

Бр-р-р!

2

Поблизости пиво обнаруживается лишь в "Колосе". Эта прибазарная забегаловка и без того всегда переполнена грязной пьянью, а в этот вечер и вовсе — не протолкнуться. Правда, очередь к дыре в стене, из которой появляются полные кружки, — не очень велика: постоянные клиенты уже затарились, да и большинство из них попивают прихваченные с собой водяру и ч е р н и л а. До закрытия гадюшника еще час — успеть можно.

Отстояв свое, я беру три кружки почти совсем беспенистого пива, в нагрузку — кусок заржавленной ставриды.

Я оглядываюсь, высматриваю в сигаретно-сивушном мареве свободный уголок, как вдруг:

— Андрюша!

Мне призывно машет из угла пятерней Савкин. Откровенно говоря, болтать-общаться в сей момент охоты мало. Мне надо в одиночестве, за пивком сосредоточенно подумать, выковырять из недр сознания какую-то еще неясную занозу-мысль — она саднит, тревожит, покалывает. Но как не откликнуться на зов знакомого? Наша проклятая псевдоделикатность, наши закостенелые условности мешают нам прямо в физию досаждающему, назойливому человеку рявкнуть: "Да пошел ты!".

Криво усмехнувшись приветственной улыбкой, я протискиваюсь на краешек скамьи к Савкину. Тот впадает от встречи в восторг, начинает лопотать и брызгать слюной. Это — один из домпечатовских типов. Когда-то он служил в газете, а выйдя на пенсию, продолжает обитать в Доме печати — пишет заметульки, составляет кроссворды, подрабатывает корректором то в одной, то в другой редакции. Савкин торопливо дохлебывает свою кружку и с вожделением устремляет блеклый взор на мою. Я со вздохом придвигаю ему полную посудину, киваю и на трупик ставриды:

— Угощайся, Семеныч.

Семеныч, с жадностью глотнув дармового пойла, впивается полусгнившими желтыми клыками в рыбьи останки. Урчит.

— Слыхал, Семеныч, про Филимонова-то?

— А как же! Намедни еще знал — по свежему. Хоть и склизкий был человек, а — жалко. Маловато пожил, маловато. И — не пил, дурак. А недаром сказано: веселие человека русского есть питие. Так-то вот!

Савкин, чувствуется, гуляет с утра, очень чувствуется. Впрочем, он почти всегда ходит во взбодренном состоянии.

— Я вот что хочу сказать, Андрюша, — вдруг хмурит он кустистые брови. — Ты не обижайся на старика: я тебя как человека очень даже уважаю, но вот повесть твоя... Да, да, я уже прочитал ее, имел случай. Понимаешь, я сам когда-то в редакции этой работал — золотые денечки! А ты все высмеял, обсмеял, извини старика за словечко, — обкакал. Ты же сам в этой газете служил, как же можно так предательски все высмеивать?

Вот гад! Мое пиво пьет и меня же прополаскивает. Алкоголик зачуханный!

— Видишь ли, Семеныч, я как раз на личном опыте, как бы изнутри и описал, в какой мерзкой, гнилой атмосфере пришлось мне работать и творить, будучи корреспондентом той газетки. И атмосферу пакостную, фарисейскую и вонючую в редакции создавал как раз твой хваленый геноссе Филимонов. Что, скажешь, я его не правдиво, не достоверно изобразил?

— Да я чего — ничего, — сникает под моим напором Савкин, косясь на другую полную кружку. — Только ты уж чересчур его выставил, совсем жестокосердно — прямо-таки убил его.

— Ха — "убил"! — меня вновь царапает это внушающее страх невзначайное словцо. — Я же убил его не в жизни — на бумаге. Он должен был, должен умереть! По логике сюжета, по ходу действия. Я не мог иначе. Я должен был его убить. До-о-олжен! И я убил его, негодяя этакого!

Соседи-алкаши оглядываются: кто это там кого порешил-кончил? Я потухаю, глубоко вдыхаю спертого трактирного смога, выпиваю залпом полкружки. Семеныч вытаскивает из опорожненного бокала мясистый, сизый, весь в порах-проколах нос, кротко-заискивающе взглядывает на меня выцветшими мутными глазками, но вдруг возражающе квакает:

— Все равно нехорошо, Андрюша. Ты вот его в повествовании для потехи своей прикончил, а он вот, возьми, да и в жизни Богу душу отдай. В мире все взаимосцеплено — ты уж поверь старику. Нам не дано предугадать, видишь ли, как наше слово отзовется. Разве ж забыл?

В хмельном гнойном взгляде Семеныча проблескивает что-то странное — усмешливое, многозначное, трезвое. Я вскакиваю, отпихиваю ополовиненную кружку.

— Допивай, философ задрипанный! Пошел я — домой надо... Болтаешь чушь пьяную!

На улице метелит мокрый снег. Я натягиваю воротник куртки на затылок, ввинчиваю голову в плечи, опускаю шапку на глаза — скукоживаюсь. Тэ-э-эк-с, у меня еще наскребется тугриков на стакан — полтора водки. От базарного пива — во рту погано, живот недовольно бурчит.

Я заглядываю в ресторан, выцеживаю у стойки порцию какой-то импортной дряни, вкусом похожей на касторку, задавливаю тошноту холодной котлетой и плетусь домой.

Чуть-чуть на душе легче. В голове, словно белье в стиральной машине, вертятся по кругу всякие мысли, обрывки воспоминаний. Что-то упорно пытается всплыть из омута памяти на поверхность, но срывается и срывается обратно во тьму.

И тут, уже поднимаясь в лифте на свой этаж, я ухватываю ту колючую мысль-воспоминание за хвост — Пашка Банщиков. Нелепая ошеломляющая смерть моего друга детства Павла Банщикова.

3

Село в Сибири, где я жил и рос в детстве, — многолюдное, райцентр. Так что всех пацанов своего возраста знать я не мог. Вот и с Пашкой увиделись мы впервые на школьном дворе, на празднике "Здравствуй, школа!" А жил он аж за пять улиц от меня, на Октябрьской. Попали мы с ним в один класс, быстренько сдружились-скорефанились и росли почти что неразлучными все десять школьных лет.

Хотя в нас больше разного имелось, чем общего и сближающего. Я — молчун, медлителен, м ы с л и т е л ь, любил посидеть на одном месте, почитать. Читать мог часами, взахлеб. Пашка — говорлив сверх меры, вертелся юлой, задумываться был не мастак и книжки терпеть не мог. У него и внешность какая-то в е р т - л я в а я была: худющ, ножки-ручки — тростиночками, болтаются-вихляются, светлый редкий ежик задорно топорщится на голове, нос востренький, серые глазки, маленькие, кругленькие — туда-сюда, туда-сюда. Уж Бог знает, как мы долгие годы дружили-общались, практически — вот самое диво — не ссорясь.

Так как Пашка задумываться не любил, вперед не заглядывал и жил не то что одним днем — минутой, секундой текущей, он и попадал вечно в истории, вляпывался в приключения. Еще когда он не пил, в самом еще детско-отроческом возрасте, он уже легко умел возбуждаться, как бы хмелеть, подстегивая свои нервы, распаляя себя по делу и без всякого дела.

Помню, например, такой вот случай. Классе в шестом, что ли, произошло у нас столкновение с Хрулем. В честь чего-то он на нас с Пашкой, ботая по нынешней пацанской фене, наехал. Вспыхнула на перемене какая-то словесная перепалка-стычка, дело, может, дошло и до толчков под ребрышки. Под наши с Пашкой, разумеется, ребрышки. А надо сказать, Хрулев этот уже изрядно поднадоел почти всему классу. Поганые выходки приблатненного однокашника и двух-трех его прихлебателей то и дело накаляли атмосферу на уроках и переменах, вызывали бессильные слезы и обиды. Поддались и мы. Я вообще был не драчун, тихий отличник, да и Пашка, при всей его ершистости и прыгучести, по натуре был все же хлипок и слабоват в коленках.

Но терпение коллективное лопнуло, и против тирании Хруля взорвалось стихийное восстание. Его загнали всем кагалом — а было нас, мальчишек, в классе человек двадцать — в недостроенный гараж за школой и окружили грозным кольцом мстителей. Гниловатые сотоварищи-подельники Хруля скрылись-ускользнули, и он стоял один против всех, прижавшись к грязной кирпичной стене спиной, бледнее известки не то от страха, не то от бессильной злобы. Кулаки его сжались-скрючились до посинения, но он их не поднимал к лицу, не защищался. Однако бить кучей одного, пусть даже и стервозу Хруля, было не в обычаях сельских. В те времена еще не водилось — по крайней мере у нас, в Сибири, — нынешних шакальских законов, позволяющих всемером избивать и затаптывать одного.

И вот нас с Пашкой начали подначивать, распалять, подталкивать в круг: мол, у вас самая свежая обида на Хруля, вы только что схлопотали от него — вам и карты в руки. А ну, вмажьте-ка по паре раз гаду! Ну, давайте, давайте, разбейте ему сопатку, чтоб знал! Да не бойтесь, чуть чего мы подмогнем...

Момент создался гнусный и щекотный. Повторяю: я вообще не любил и не умел махать кулаками. И посейчас, прожив уже немалую жизнь, я вообще ни разу не ударил другого человека по лицу. Для меня легче, наверное, самому себе нос расквасить. Вот и тогда, дергаясь от тычков и подталкиваний в спину, подбодряемый горячими одноклассниками, я упирался, отнекивался вяло, не возжигал в себе факел кровожадного мщения. Я не мог ударить Хруля, да и знал, что нельзя, ни в коем случае нельзя бить его вот так, при поддержке толпы, беззащитного, не рискуя со своей стороны ничем. И я в конце концов внятно и твердо заявил:

— Я не буду.

Зато Пашка раздухарился всерьез. Он по-петушиному взялся подскакивать к Хрулю и сперва махать кулачонками у того перед носом, распаляя себя истеричными вскриками:

— Ах ты, гад! Я тебе покажу щас! Ты у меня кровью умоешься! Я тебя щас разуделаю, как Бог черепаху! На!

Пашка размахнулся и припечатал Хрулю по носу. Зрители одобрительно хрюкнули. Хруль дернул головой, еще болезненнее побелел, но рук для защиты так и не поднял. Он лишь приложил палец к одной ноздре, к другой и выбил на строительный мусор алую юшку. Потом глянул насмешливо на Павла.

— Ну, что ж ты, давай еще, раз такой храбрый. Только, Банщик, жалеть ведь потом будешь...

— Ах ты, сволочь! — подкипятил себя Пашка. — Еще грозиться вздумал! Получай!

На этот раз он вмазал казнимому звучную пощечину и отскочил.

— Дай, дай ему!.. По харе вороти!.. Под дых-то садани да посильней!..

Советы алчущих крови зрителей-свидетелей подзадорили Пашку, и он еще раза три ткнул Хруля кулаком в живот и пнул под коленку. Но так как Хруль продолжал податливо стоять, болезненно усмехаясь, Пашкин запал начал гаснуть, утихать, растворяться.

— Смотри у меня, Хруль, — грозно предупредил он напоследок, обтрясывая словно после грязной работы руки, — еще раз заработаешь — вообще разделаю. Не попадайся мне больше на пути!

Ребята одобрительно похлопывали Пашку по плечам: мол, молодчара, Банщик, умеешь за себя постоять — не то что некоторые. "Некоторые" — это, понятно, про меня.

Хруль попался Пашке на пути очень скоро — минут через пятнадцать. Домой идти нам с Пашкой примерно полдороги было в одну сторону. Мы шли через молодой парк, разбитый к юбилею Победы в центре села. Я молчал, подавленный, приятель же мой размахивал портфелем и свободной рукой, рассказывая-вспоминая недавний свой подвиг:

— Кэ-э-эк я ему врежу! Ты видал, как он сразу сдрейфил? И чё это многие Хруля боятся, он же...

Слова застряли у Пашки под кадычком — из-за махровых густых елочек выскочил на дорожку Хрулев. Не успел и я толком испугаться, как показался из-за деревьев Сашка Борчиков — здоровенный парень-восьмиклассник, закадычный хрулевский дружок. Я понял: сейчас будет — больно. И приготовился к ударам. А Пашка, бедняга Пашка, взвизгнув от ужаса, бросил портфель и ринулся зигзагами в глубь парка. Борчиков, свирепо ощерившись, направился в мою сторону, но Хруль, вдруг прервав свой бросок за убегающей жертвой, бросил напарнику:

— Этого не бей! Придержи только.

Какое там придержи. Кто бы это меня заставил бежать на помощь бедолаге Пашке, если, во-первых, тот сам не сопротивляется, во-вторых, разъяренный Хруль и с двумя нами справился бы одной левой и, в-третьих, Сашка Борчиков мог, без преувеличения, зашибить меня на месте щелчком. Так я стоял, оглаживая совесть, рядом со своим стражем, и мы вертели головами в разные стороны, прислушивались к взвизгам и крикам то в одном, то в другом углу крохотного парка. Хруль то и дело настигал Пашку и трепал.

Вскоре напившийся кровью Хруль вышел на дорожку, погрозил мне для острастки кулаком: "Смотри мне тоже!", — и, довольный, кивнул Борчикову:

— Пошли.

Пашка оказался целее, чем можно было предполагать по его крикам и плачу: кровь из носу пузырилась, фингал наливался под левым глазом да рукав куртки треснул по шву. Пашка размазывал слезы по лицу, смешивал их с кровью и зачем-то передо мною выставлялся:

— Я ему еще покажу! Он у меня поплачет!..

Пашка спился поразительно быстро.

Начинали мы вместе. Уже в старших классах перед школьными вечеринками, по праздникам или во время рыбалки с ночевой для бодрости и куражу мы приучались раздавливать бутыль портвейна человек на пять. Мне, подрастерявшему к тому времени славу отличника и приобретавшему ореол своего в доску парня, выпивки те давались тяжело. Проклятая бормотуха казалась мне не слаще керосина. Я судорожно, через не могу, впихивал вонючую отраву в организм, изо всех сил старался там удержать, но чаще всего желудок мой отроческий и нежный бунтовал, вскипал и выплескивал вон ядовитую бурду.

Пашка же в том деле сразу выделился-отличился: выпивал стопку портвеша или вермути молодецки, с причмоком, занюхивал ухарски тыльной стороной ладони и с чувством превосходства покрикивал на нас, хлюпиков малолетних, не умеющих пить. Дело в том, что предок Пашки был выпивохой-профессионалом, и дружок-приятель мой чуть ли не с детсадовских времен начал угощаться при папаше то глотком пива, то наперстком вина. Так что когда я только подступал к алкогольным испытаниям, Пашка уже много в этом деле понимал.

После школы сначала забрили Пашку — он на полгода обогнал меня в возрасте, — а через две отсрочки, через полтора года, пошел служить и я. Потом судьба увела меня из родимых мест сначала в Москву на учебу, затем по распределению попал я в губернский город в центральной России, наезжал в Сибирь лишь от случая к случаю. Короче, виделись мы с Павлом редко. Пробовали поначалу, еще в молодости, переписываться, но — какая ж переписка в наш сухой компьютерный век может длиться долго?

Лет с двадцати пяти Пашка начал лечиться. Но, испробовав очередной метод — то уколы, то гипноз, то "торпеду", — он, продержавшись чуток, обязательно срывался. В наши редкие встречи я заставал его то в хроническом запое — взбалмошным, несносным, грязным, больным; то, наоборот, стерильно трезвым — скучным, тоскующим, нервным...

Так вот, к чему я это все рассусоливаю? Однажды из головы моей попер рассказ, где главный герой — спившийся донельзя алкаш. Рассказ рвался, выпочковывался, рождался из меня, все фабульные повороты просматривались, вся сюжетная плоть была мне уже ясна, лишь облик героя никак не проступал из тумана воображения.

И тут я вдруг подумал — Пашка! И сразу — яркий свет, резкость кадра, легкость письма. Я выставил в рассказе Пашку живьем. Я придал герою внешность друга детства до микроскопических подробностей — вплоть до родинки под левым ухом. Характер Пашкин я полностью и целиком подарил своему герою, а характер его знал я, как свой собственный.

По ходу рассказа герой его погибал. Он допился до того, что ему начала грезиться какая-то тварь в виде грязной кошки, которая будто бы поселилась в его квартире. Он, мой герой, то есть как бы Павел Банщиков, но с другим именем, спохватывается, пытается лечиться — п о д ш и в а е т с я. Однако, в конце концов, т р е з в ы й мир в его нынешнем состоянии не устраивает героя, и он выхлебывает бутылку водки, зная, что от этого тут же кончится...

Рассказ получился. Тогда — а минуло тому уже лет пять — я в Москве еще не печатался, книги не издавал, ходил в молодых и начинающих. Но в областных газетах наших меня уже привечали. Вот и этот рассказ ухватил с ходу редактор "Губернских вестей". Буквально через пару дней "Грязный кот" — так он назывался — явился миру в свежем номере этого еженедельника. Знакомые поздравляли меня с творческой удачей, кое-кто из братьев-писателей начал криво усмехаться при встрече...

Через месяц я получил письмо от матери. Среди прочих разных новостей она сообщала: "Твой дружок школьный Павел Банщиков умер. Он выпил целую бутылку заморского спирта "Рояль", что ли, и отравился. Его нашли только на

четвертый день, под берегом, знаешь, там, где ферма была. Он наполовину лежал в воде, видно, хотел протрезвиться — весь вспух и почернел...”

Я тогда, не дочитав письма, плакал. Жалко было Пашку, его нелепую скоротечную и бессмысленную жизнь...

А сейчас, припомнив все это, я чувствую определенный страх. Странное все же совпадение, Пашка, как и Филимонов, умер сразу же после... после...

Странное, непонятное совпадение!

4

Жена ворчит с порога, мол, опять дерябнул, опять причастился посреди недели. Но мне — не до скандалов. Едва сбросив куртку и кинув сапоги, я спешу в свою клетушку, к книжным стеллажам, к м о е й полке. На ней собираются-хранятся первые публикации моих вещей. Больше всего здесь теснится сплющенных газет, есть четыре журнала, три “консервных банки” — коллективных сборника, пара тоненьких книжечек местного издательства и украшение собрания сочинений — первая моя настоящая, московская, книга, радующая глаз толщиной и суперобложкой. Признаться, каждый раз, как я беру ее в руки, в подвздохе у меня приятно щекочет.

Я начинаю нетерпеливо, но внимательно просматривать все газеты, журналы, книги, не надеясь на память. Ага — есть!

В журнале “Спорт” я перелистываю страницы со своим рассказом “Суперигрок”. Это — первая моя публикация в центральном издании. А написан рассказ был еще во времена оны, когда я ходил в студиозусах. Тогда, после второго курса, я попал на практику в Севастополь, в городскую газету. И вот там меня поразил один парень — Володя Петров. Работал он корреспондентом в отделе спорта, сам — сверхспортивен, сложен как Геркулес, а медлительно-спокоен был до невероятности.

Мы с ним сошлись-сдружились: я восхищался его силой и невозмутимостью, он — моей способностью находить темы и ловко выплескивать их на бумагу. Однажды на пляже в Херсонесе, в малолюдном уголке, к нам привязалась компашка накурившихся блатарей. Я, само собой, струхнул: окружило нас человек восемь, морды — уголовные. А Володя, скрестив по-наполеоновски руки на голом торсе, лениво-спокойно предупредил:

— Ребята, я в совершенстве владею каратэ. Мне не хотелось бы укладывать вас в больницу...

Он толком не договорил, как ближайший мутноглазый обормот ахнул его кулаком в лицо. Вернее — хотел ахнуть, движение сделал, но пробил лишь пустоту и тут же прилег на херсонесскую жаркую землю, скрючился и захрипел. Ринулись в бой еще двое гладиаторов, но тут же упорхнули в стороны, грохнулись оземь. Остальные, убегая, долго и суетливо оглядывались...

И вот когда — чуть погодя — забрезжила в моем воображении полуфантастическая история о суперчеловеке, натренировавшем тело до такой степени, что оно начинало жить в несколько раз быстрее, я и вспомнил Володю Петрова. Я начал втискивать, впихивать его мощную натуру в рамки моего рассказа. Герой его, решив ради любимой женщины подзаработать денег в спорте, на полную катушку использует свой супердар, в з в и н ч и в а е т себя в каждом хоккейном матче до упора. В результате — разрыв сердца...

С Володей мы с того лета больше никогда не виделись, а рассказ появился в “Спорте” лишь два года тому назад, попутешествовав предварительно по десяткам редакций и издательств.

Отложив журнал в сторону, я продолжаю ревизию. К счастью, ж и в ы х знакомых среди моих персонажей пока больше не попадается. Само собой, штришки, отдельные черточки внешности, характеров, судеб моих знакомых я обнаруживаю то в одном, то в другом герое. Одаривал я их порою и настоящими фамилиями. Но, в основном, все же люди, населяющие созданный мною мир, придуманы, воображены — гомункулусы.

Я уже облегченно перевожу дух, как вдруг в г л а в н о й книге, под суперобложкой, натыкаюсь на маленькую повесть “Весь мир под прицелом”. Боже, я совсем забыл о ней! А ведь в этой небольшой повестушечке проживает свою короткую литературную судьбу тот же самый Хруль — Борька Хрулев. Он,

кстати, после школы странно остепенился; покончил с блотью, после армии вернулся вообще ч е л о в е к о м, пошел служить в милицию, женился, стал отцом двоих детей. Совершил он даже подвиг: один задержал-скрутил трех грабителей, был при этом ранен. О нем писала областная газета.

Одним словом — переродился человек. Я с ним, в свои приезды на родину, общался охотно — от былых школьных обид и следа не осталось. И я все больше убеждался: взбрыкивал он в детстве, конфликтовал с миром — от избытка внутренних сил. Имелась у него та сверхгордость, то презрение силы к несовершенству окружающей действительности, к слабости людей, их приниженности и робости, которые приподымали его над толпой.

В повести я вознамерился показать, как в наши дни один о б ы к н о в е н н ы й человек ничего не значит и не стоит, как он бессилен перед шизодебильной действительностью, как его в любой момент могут унизить, растоптать, убить, могут изнасиловать его жену прямо на улице в ясный день, изничтожить ребенка у него на глазах... Но даже в эти подлые времена — хотел показать я в повести — человек гордый, человек, не признающий себя букашкой, способен стать судией, автором и исполнителем приговора своим обидчикам, в состоянии сам наказать двуногих шакалов, посягнувших на его жизнь, жизнь его родных и близких.

Героем повести я сделал Бориса Хрулева. Даже имени не изменил. У Бориса — это в произведении — трое негодяев изнархатили жену. Убедившись, что никто — ни милиция, ни правосудие — не спешит наказать преступников, герой повести берет дело в свои руки. Сюжет поворачивается так, что Борис принимается убивать уже не только мерзавцев, личных своих врагов, но и других — уже л и ш н и х — людей. На последней странице Борис обреченно сам заглядывает в бездонную дырочку винтовочного дула — в черную пустоту...

Ночью я сплю плохо. Да что там! Вовсе, можно сказать, не сплю. Ворочаюсь на раскладушке, скриплю на весь ночной мир проклятыми пружинами. Только унырну в бессознание — кошмары. Один особенно привязчив, наваливается вновь и вновь: Пашка, Павел Банщиков, дружок детства и отрочества, тянет к лицу моему черные распухшие пальцы и сипит провалившимся разверстым ртом, зловеще ерничая: "Уби-и-ивец! Ты — уби-и-ивец!.." И его раздутое, готовое вот-вот лопнуть синюшное тело трясется от грозного утробного хохота...

Я вздрагиваю, дергаюсь, как от удара плетью, и выскакиваю из сна в реальность. Черт! Может, к Валентине перебраться под одеяло — все, глядишь, не так жутко будет.

Однако вязкая обволакивающая апатия стягивает тело и душу. Жесткий обруч сдавливает-сжимает сердце. Я понимаю глубинами мозга: на меня обрушивается какое-то з н а н и е, оно перевернет всю мою жизнь. Оно меня раздавит, оно сомнет мою судьбу. Неужели — финита?.. Я ворочаюсь и ворочаюсь, срываясь то и дело в пропасть, заполненную трупными видениями, ужасаясь и плача во сне от тоски.

От злой неизбывной тоски.

5

Как только у соседа за стеной начинает бубнить радио, я стряхиваю с себя наваждения, отбрасываю одеяло, превозмогая ломоту и боль во всем теле, встаю с левой ноги. Я чувствую: температура подпрыгнула. Только воспалительной лихорадки мне сейчас и не хватает!

Даже не умывшись, я перетряхиваю в ящиках стола свой архив, копаюсь в старых записных книжках. И, конечно — закон подлости! — той, нужной, студенческой поры книжки нет как нет. Ну нет, и все!..

Ах да, надо в вырезках адрес искать. К счастью, мое тщеславие, моя ранняя тяга к славе заставляют меня скрупулезно собирать и подшивать все мои газетные статьи, очерки, фельетоны и даже крохотные заметульки. Я отыскиваю папку, где среди других моих журналистских плодов творчества хранятся и вырезки из "Флага Севастополя". Просматриваю. Так и есть: обширный мой репортаж из "Артека" поместили тогда подвалом на третьей полосе. На оборотной стороне вырезки — все телефоны редакции.

Надо еще ждать и ждать, и ждать — только половина седьмого. Может, настрочить пока письмо в Сибирь?.. Да что толку: мама умерла в прошлом году

(я вздрагиваю, пробегаю мысленно вереницу своих героинь — нет, слава Богу, мать избежала роли прототипа!), а сестра Надя на мои послания не отвечает — органически не любит писать письма. Надо заказывать переговоры.

Я иду умываться, вяло завтракаю, пью медленно и долго крепко-горький чай. С женой мы почти не разговариваем. О чем говорить-то, когда нет настроения и прожито-промучено вместе уже пятнадцать лет? Она уходит на свою каторгу — в школу. До девяти еще уйма времени. Я вдруг вспоминаю: у нас же хранится где-то настойка перцовая — от простуд. Самое сейчас время! Я без труда отыскиваю бутылку среди вороха белья в шифоньере и залпом заглатываю почти полный стакан.

Чуть уравновесило.

К девяти — бутылка лекарственного питья опорожнена на две трети. Я к переговорам готов. Сперва заказываю Сибирь (прямой связи нет), а затем принимаюсь за Тавриду.

Тэ-э-эк-с, господин сочинитель, ну-ка врубайте свое писательское воображение, свое литераторское знание жизни. Прошло столько лет! Если Ирина Васильевна — у нее в отделе культуры я проходил тогда практику — еще в газете, то наверняка уже доросла до замредактора. Я топлю-утапливаю кнопки телефона, пытаюсь прорваться сквозь заснеженные-завьюженные леса, поля и долы в далекий промозглый сейчас Крым, ставший вдруг заграницей, но лишь очереди коротких гудков расстреливают и расстреливают все мои усилия. Наконец, когда даже плоско-японский телефонный аппарат, кажется, вот-вот завизжит от раздражения, — пошли милые слуху длинные позывные: тр-р-рл-л-ль!.. тр-р-рл-л-ль!.. тр-р-рл-л-ль!..

— Аллё! Редакция, — слышу я сквозь шум и хрип телефонного мира когда-то знакомый мне голос.

— Ирина Васильевна! — ору я как оглашенный, перепугав Фурсика. — Это — я, Андрей Назаров! Помните меня?

— А как же, как же, Андрюша! — слышу я искреннюю радость в голосе бывшей моей шефини. — Ты откуда звонишь? Где ты сейчас?..

Тогда, в то лето, я был молод, пылок, ошалевший от моря, солнца, юга, пузырящейся еще робким писательским вдохновением, возбужденный возможностью каждодневно изливать на бумагу свои бурные-сумбурные мысли и чувства, опьяненный первыми похвалами и редакционными премиями. И уж, разумеется, я влюбился тогда в Ирину Васильевну — втюрился всерьез и, как мне мнилось, надолго. Она обогнала меня всего на шесть лет, гляделась юной, была красива той утонченной субтильной красотой, каковой наделял я в воображении тургеневских героинь. На день рождения я подарил ей пылающий букет багряных роз и после стаканчика “Крымской мадеры”, оставшись с Ириной Васильевной на минуту вдвоем в отделе, я начал лепетать что-то о своих чувствах и ее тургеневской красоте... Но тут заявился муж — высокий бравый кавторанг со смоляным чубом из-под форменной твердой фуражки — и все, дурак, испортил. Мужа ее я не любил.

Мои чувства к Ирине Васильевне пошатнулись и дали трещину после жестокого оскорбления с ее стороны. Я решился-таки и предложил в газету свой рассказ “Взрослая жизнь”. Рассказ о любви, о ревности, о первом растоптанном чувстве молодой девчонки-студенточки. Она забеременела и решается на страшное — ребенка от ненавистного человека, обманувшего ее, сразу после рождения уничтожить...

Я, как и все начинающие беллетристы, страдал жуткой стыдливостью, робостью и крайней легкомысленностью. А Ирина Васильевна — ох, уж эта Ирина Васильевна! — взяла да и усмехнулась: мол, Андрюша, рассказ написать, это не репортаж выдать из пионерлагеря. Да и в женской психологии, дескать, ты ничегошеньки не понимаешь...

Переварив этот убийственный щелчок, насытившись обидой, я решил жестоко отомстить. Я взял и переписал своей рукой строка в строку шедевр Ивана Алексеевича Бунина “Легкое дыхание”. Я лишь изменил заглавие на “Чистый голос”, имя героини и везде в тексте вместо “креста” вписал “обелиск” и “памятник”, из гимназистки героиню сделал школьницей, и убивает ее не казачий офицер, а милицейский лейтенант.

Результат эксперимента я предвидел, но все равно он ошеломил меня.

— Прости, Андрюша, — сокрушенно высказалась Ирина Васильевна, — но все же литература, проза — не твоя стезя. И новый рассказ твой неудачен — растянут, скучен, язык беден, стиль ни к черту. А взять образ классной руководительницы, старой девы, — зачем он вообще нужен? Абсолютно лишний...

Я раскрыл карты. Ирина Васильевна сильно смутилась, заалела щечками и надулась. Правда, через недельку мы опять друг другу улыбались, и так как я уже не трепетал пред нею, то остальные мои крымские денечки прожили мы дружно, в легком приятном общении, и я даже поцеловал ее при прощании в мягкие вкусные губки — поцеловал жарко, всерьез, томительно...

Сейчас, по всем законам человеческого общежития, в благодарность за розовую юношескую влюбленность надо бы пообщаться-поговорить с Ириной Васильевной, порасспросить об ее житье-бытье... Но мне — не до условностей. Да и счетчик где-то там, на телефонной станции, бешено вращается, накручивает не купоны и гривны — рубли. Я бесцеремонно прерываю воркотню в трубке:

— Ирина Васильевна, скажите, Володя Петров по-прежнему — в редакции?

— Володя?.. Петров?! Ах, ты же не знаешь — Володя умер. Два года назад.

— Как умер? От чего?

— Инфаркт. От инфаркта. И глупо так: на спор приподнял передок редакционной "Волги" — и сердце разорвалось...

Далекая Ирина Васильевна еще что-то говорит, объясняет, размазывает. Я осторожно, боясь сделать ей больно, пристраиваю трубку на аппарат и застываю в прострации. Думать ни о чем не хочется. Я нашариваю на столе бутылку, запрокидываю распухшую голову и выбулькиваю в себя остатки горького лекарства. Смотрю с минуту на встревоженного нервного кота и рявкаю:

— Ну не может же, чер-р-рт побери, этого быть! Не может!

6

Спохватившись, я звякаю на службу: дескать, приболел, надо отлежаться. Начальство недовольно вздыхает, но демократично благословляет на лечение, советует не пренебрегать здоровьем. Что ж, подлечиться еще я не прочь — перцовая микстура от длительного хранения с чужой пробкой явно ослабла, испарилась-выпустила свои градусы. Эх, напиться, что ли, отключить и разгрузить бедную головушку?..

Но — нет! К моменту разговора с Сибирью я должен быть в форме: соображать и запоминать. Только б Надя оказалась дома...

Проходят-протягиваются тягучих два часа. Все это бесконечное пространство времени я, мучая сердце, поглощаю густейший кофе и занимаюсь шагистикой — меряю и меряю диагональ большой комнаты. Фурсик, чуя мою встопорщенность, не путается, как обычно, под ногами — зарылся в глубины кресла, изобразил из себя рыжий клубок и отрешенно дремлет.

Наконец-то — трель междугородки.

— Надя, Надя! Алло!

— Чё случилось, Андрей?! — вопит в свою очередь переполошенная сестра: телефонный разговор через всю страну в наши дни, как правило, — трагическая необходимость.

— Надя! Объяснять некогда — потом, в письме. Скажи, Борис Хрулев — живой? Борька — он в милиции работает, я с ним учился, помнишь?

— Хрулев-то? Да ты чё? Как ты узнал-то? Его сёдни хоронили — мимо нашего дома похороны-то шли... Венков столько, оркестр был...

— Надя, Надя, подожди! — ору я с тоской. — Что случилось с ним? От чего?

— Так, говорят, пистолет чистил и случайно стрельнул — прямо в рот себе. Два дня еще жил-мучился, да вот и помер...

Я сижу за столом, смотрю тупо на заснувший опять телефон и удивляюсь своему спокойствию. Я предчувствовал, я знал еще до разговора с сестрой — о смерти Бориса Хрулева. О глупой и преждевременной смерти.

Хотя — всякая смерть преждевременна, если возрасту не минул век или хотя бы лет девяносто. Но точку в земной судьбе каждого человека ставит не сам он, пусть и залезает в петлю головой или стреляется, и даже не другой человек —

убийца или палач. Земной срок каждого из нас где-то т а м, в небесной канцелярии, уже зафиксирован с рождения. Срок — точен; способ ухода из жизни — случаен.

А при чем же здесь я? К чему эти невероятные, дикие, дурацкие совпадения?! Это — совпадения? Или... Существует убедительная легенда о Пигмалионе, оживившем плод своего творческого воображения. Но чтобы творец с помощью своего творческого воображения умерщвлял живых людей?! И почему — я?..

Я горблюсь на стуле, ворочаю-перекатываю в голове тяжелые ребристые мысли, пытаюсь свести концы с началами, отыскать точку опоры...

Как вдруг острая ржавая мысль-игла впивается в мозг и заглушает мгновенно весь бессвязный хоровод дум — "Аллергия"! Мне позвонили из журнала "Русский вестник" месяца три назад и сообщили, что моя повесть идет наконец-то в одном из ближайших номеров.

Так, так, так!.. Что делать? Генератор мозга загудел с удвоенной энергией. Надо бы наметить-продумать план, но — некогда. Ведь сегодня — пятница, времени совсем нет. Срочно — остановить! Задержать! Снять! Запретить!

Я снова тревожу телефон, остервенело долблю по кнопкам: срыв! срыв! срыв! И — длинные гудки. Ах, черт! У них обед уже... Так, значит, пока — на почту. Я выскребываю деньги из заначки и бегу.

На телеграфе я, запыхавшись, заполняю прыгающими строчками бланк срочной телеграммы: "Мою повесть "Аллергия" печатать запрещаю все подробности по телефону Назаров". И вдруг — нелепость, конфуз: у меня не хватает расплатиться за телеграмму — рублей пятнадцать.

— Девушка! Бога ради! — умоляю-унижаюсь я. — Вот мое писательское удостоверение. Я — местный, свой, я здесь рядышком живу. Я вечером занесу эти злосчастные пятнадцать рублей...

"Девушка", мадам лет сорока пяти, нежданно-негаданно обливает душу мою израненную бальзамом:

— Ну что вы, что вы! Я вас знаю. Я ваши рассказы в "Местной жизни" всегда-всегда читаю. Я и книгу вашу купила на лотке — за четыре тысячи. Мне очень нравится...

— Спасибо, спасибо! — вспыхиваю я.

— Не надо ничего доплачивать, что вы! Скажите, если не секрет, а что случилось с повестью "Аллергия"?

Объяснять, конечно, некогда, да и смысла нет, но я, признаться, впервые сталкиваюсь с таким непосредственным откликом на мое писательство. Приходится на ходу сочинительствовать:

— Видите ли, я взял да и выдумал новый вариант этой повести — намного, по-моему, лучший. Вот и хочу — заменить.

Телеграфистка благоговейно мне внимает. В другое время я бы целый день ходил Гоголем или, по крайней мере, Куприным, однако теперь мне не до авторского форса. Надо — действовать.

Но телефонная связь и после обеда не рождается: никто трубку там, в Москве, и не думает поднимать. Наконец, перепробовав все номера и раскалившись до бешенства, я законтачиваю разговор, как выясняется, с бабусей-уборщицей.

— И-и-и, милок, их никогошеньки и нету. Оне ж номер новый — чередной — выпустили, вот и отдыхают нонче, празднуют...

Значит, номер вышел! Неужто — в нем? Боже!..

Я понимаю: обстоятельства не переплюнешь — надо жить. Дрыгаться и подпрыгивать бесполезно. Я поскольку возможно беру себя в руки, возвращаюсь в действительность, к будничным мирским заботам. Фурсик теребит меня недовольным мяучьим криком, жалобно стонет: мол, ты, хозяин, сам не жрешь, не лопаешь, но меня-то не забывай подкармливать!

Подхватив оголодавшую животину на руки — что этот огненно-рыжий наглец обожает донельзя, — я несу его, хрюкающего от удовольствия, на кухню, развожу для начала ложечку сгущенки. Я становлюсь вдруг страшно добрым и сентиментальным. Я гляжу, как кот, этот наш мартовский похудевший кот с куделями линяющей шерсти на рыжих боках, алчно лакает сиропное молоко, и на глаза мои уставшие набегают очистительные щиплющие слезы. Я отпиливаю хлебным ножом увесистый кусок мороженого минтая и пластик коровьей печенки, размягчаю их под струей горячей воды и вываливаю Фурсу под нос. Кастратик

наш очумело смотрит на меня пару секунд, боясь подвоха, подпрыгивает от сладострастия и с урчанием впивается клыками в деликатесы.

Я же, переодевшись, продолжаю гоношиться на кухне, изобретать ужин понестандартнее. К приходу Вали холодильник капитально распотрошен. На столе теснятся блюдца и тарелки: салат из свежей капустки, морковочки, топинамбура, лука и чеснока под майонезом, кружочки колбасы и квадратики сала с маринованным хреном, тут же — вспоротая баночка шпротного паштета; а на горячее — печень с картофельным пюре под томатным соусом...

— Чего это ты? — подозрительно смотрит жена в мои трезвые мягкие глаза. — Что случилось-то?

— Ничего особенного, — кротко говорю я. — Решил вот чуть скрасить конец недели — вкусно поужинать. Да и, — с улыбкой и по делу привираю я, — позвонили сегодня из "Русского вестника": моя повесть идет. Ты же знаешь, как я всегда мечтал появиться в этом журнале. Кстати, они просят приехать срочно, в понедельник: верстку прямо в редакции вычитать — времени уже нет.

Придумка про верстку выскочила наобум, из подсознания, но — вовремя. Действительно, что ж на телефон надеяться.

Когда уже принимаемся за трапезу, Валя нежданно ошарашивает:

— Может, тогда уж и выпьем немного?

— Нет! — испуганно вскрикиваю я. — У меня от этой перцовой изжога потом.

— При чем тут — перцовая? У меня сухонького бутылка есть.

Мы чокаемся, пьем теплое кисловатое "Ркацители", едим-жуем и по привычке помалкиваем. Но обстановка, атмосфера как-то щекочет, подталкивает к общению. Давненько мы вот так по-доброму, без спешки и обоюдного раздражения не сидели за ужинным столом.

— Что это Фурсик ничего не просит? — взглядывает жена на "вождя краснокожих", сыто урчащего на радиаторе отопления.

— Я уж его обкормил.

— А-а-а.

Снова — потеря связи. Труднехонько сразу настроиться на волну друг друга. Я украдкой смотрю на Валю, рассматриваю... А что, ей рыжинка в волосах — к лицу. Наверное, седина взялась пробиваться, вот и подкрашивается. И кот рыжий, и жена... Похудела-то как! Бледная... Уж у меня-то по сравнению с ее — работа не работа, а рай... Надо ее вытаскивать в выходные из дома, совсем света Божьего не видит...

— Валь, — окликаю я размягченным, как сливочное масло, голосом, — я слышал сегодня по радио: в воскресенье в главном соборе архиепископ будет мэра нашего напутствовать. Пойдем?

— Ой! — вспыхивает жена. — Правда? Пошли, конечно. В церкви с осени, поди, не были, да и — с мэром интересно, как там будет.

— А завтра, — великодушно продолжаю я, — с утра вместе уборочку провернем, да и — на Набережную гулять и в картинную галерею заглянем, где-нибудь кофе с пирожными налопаемся... А?

Валентина — в трансе.

Выходные — как красные дни. Раньше от них лишь головная боль оставалась и бульканье-кипение в душе от бесконечных скандалов, скандальчиков и ссор. А в этот раз — отдыхаем вкусно, всласть. Гуляем по солнечным лужам, смотрим наивное кино японское про оживших динозавров, рассматриваем выставку нашенских доморощенных Брюлловых и Малевичей. В воскресенье любуемся в храме на опереточно-кукольный обряд благословения владыкой вновь избранного мэра города на царство. Заскакиваем мы и на вокзал, покупаем мне билет в Москву. Валя выделяет денег аж на купе — страшенная просто-напросто сумма. А уже дома отсчитывает мне в дорогу еще и пухлую пачечку ассигнаций.

— Мало ли, — говорит, — чего...

Эти две ночи мы спим вместе. Даже — не спим... Почти не спим. Словно вернулся вдруг и нежданно наш горячий медовый месяц.

— Андрюша, — шепчет робко и счастливо Валя, закопавшись мне под мышку, — а я уж думала: нашей семьи больше нет... Будь всегда таким, а!..

Жаркий детский лепет жены переворачивает во мне сердце. Больно.

Больно и страшно.

7

Поезд прикатывает в Москву раным-ранехонько. Однако ж киоскер в будочке-аквариуме "Роспечати" рядом с вокзалом уже возюкается, раскладывает-выставляет свой пестрый товар. На самое видное место — "Мистер Икс", "Эротика", "Эрос", "Акт" и прочая аляповатая похабная порнуха. В глубине киоска, на задней стенке, находят свое место и н о р м а л ь н ы е газеты-журналы. Среди них — свежий "Русский вестник".

— Дайте! — вскрикиваю я, стукнув нетерпеливо в стекло. — Дайте "Русский вестник" — поезд отходит. Без сдачи!

Мордатый порноторгаш кривит недовольно-угрожающую мину, но, узрев пятитысячную купюру-простыню в моей руке, благосклонно приоткрывает створку и выкидывает журнал.

Я, уплатив за вход, нахожу в зале ожидания вокзала на втором этаже свободное место в дальнем углу, плюхаюсь и еще минут пять держу книжку журнала на коленях, крепко прижав ладонью.

Нет сил открыть...

Но — судьбу не перехдешь. Я рывком распахиваю внутренность "Русского вестника" и сразу же вижу в оглавлении: А. Назаров. "Аллергия". Повесть.

Пр-р-рокля-а-а-тие!

Я перелистываю журнальные страницы с моим злосчастным, моим роковым произведением. Как я мечтал, как я молил Бога, как жаждал я увидеть свою фамилию в этом журнале — короле нашей с е р ь е з н о й литературы... И вот теперь я готов визжать от бессильной ярости, от ужаса происшедшего: моя повесть напечатана в "Русском вестнике". Она — вышла в свет.

Глаза мои скользят по знакомым до запятой, до любимого многочисленного тире строчкам:

"Виктор ее ненавидел. Он ненавидел ее рыжие мелко завитые кудельки, ее по-дурацки перевернутые дужками вниз модные очки с толстенными стеклами, делающими взгляд постоянно насмешливым, он ненавидел ее острый бледный нос..."

"...Она умирала тяжело, мучительно, страшно — от рака легких. Когда она, задыхаясь и хрипя, звала его — просила воды или еще что, он, стиснув зубы до онемения в скулах, сидел на кухне и с ненавистью думал: "Скорей бы! Ах, скорей бы!.."

Она умерла весной..."

Я сминаю-комкаю журнал, зарываюсь в него лицом и, не обращая внимания на вокзальных соседей, взвываю в голос. Я вдруг и отчетливо, каждой клеточкой мозга и сердца понимаю: и никого-то, кроме Валентины, у меня на всем белом свете нету... Никогошеньки!

Как же я теперь жить буду?..

8

Вот уже минуло-протащилось полгода.

Жена моя, Валя, умерла в начале апреля — от воспаления легких. Проклятые эскулапы! Даже такую пустячную хворь одолеть не могут...

Правда, Валя грипп на ногах перенесла: как же, выпускные экзамены скоро, можно разве питомцев-оболтусов своих среднеобразованных бросать в такой момент! Ну и, конечно, осложнение на легкие перекинулось — сгорела в несколько дней... А я, я-то здесь при чем, а?! Я же умолял ее лечиться, лекарствами ее пичкал, ухаживал за ней, когда слегла, с ложечки кормил-поил... Я не хотел, чтобы она умирала.

Не хотел!

А как она-то не хотела. Уже в последний день, вернее ночь, приподнялась из последних силенок с подушки, обхватила меня за шею истонченной рукой, до боли стиснула.

— Андрей, Андрюшенька! Ведь только-только жить начали! Я не хочу сейчас...

— Успокойся, — мямлил я, давясь слезами, — ты не умрешь. Что ты! Кто ж от таких пустяков помирает — уж давно бы земной шар опустел.

— Правда? Правда? — взбодрилась чуть она, заглядывая в мои измученные глаза с робкой надеждой.

— Успокойся, конечно, правда, — выдавил я, видя в затемневших зрачках ее самого себя и зыбкую тень-отблеск Ангела Вечности...

Все эти полгода я пролежал на диване. С работы, само собой, ушел: просто перестал туда ходить, и все — даже трудовую не забрал. О деньгах не думал, но они сами свалились: заплатили в журнале за проклятую повесть да вдруг запустили в издательстве второй тираж суперобложечной книги — перевели мне на сберкнижку гонорарий. Одному — с лихвой.

И вот я лежал. Днями и ночами. Спал урывками, барахтаясь в липких вязких сновидениях. Выходил раз в неделю — подкупить еды-питья. Поначалу, с поминок, запил было крепко, ударился в запой, но — завязал. По пьяни все тянуло прикончить самого себя, самоубиться. А я для чего-то еще хотел жить. Хотя то состояние, в каковом я находился, жизнью назвать было сложновато. Я лежал в прострации. Не умывался, не чистил зубы, не брился. Я вырвал телефон из розетки и не реагировал на звонки в дверь. Решил: когда взламывать примутся, забеспокоившись, тогда открою. Но никто, видно, всерьез не тревожился. Да и кому я, собственно, нужен?.. Фурсику разве. Только из-за него я через силу поднимался лишний раз, кормил несчастного зверя, споласкивал его ванночку. Потом снова с ним заваливались-опрокидывались на диван. Фурс хронически спал, я — воспаленно думал.

Я лежал и — думал, думал, размышлял, пытаясь понять, осознать у с т р о й с т в о случившегося, м е х а н и з м событий. О случайностях и совпадениях и речи быть не могло. Ясно как Божий день: между смертью моих героев и скоропостижной кончиной их прототипов — прямейшая связь. Выходит, я — убийца?.. Но я же не знал, не знал, черт побери! Я же не злонамеренно, не умышленно, не рассудочно приговаривал к смерти того или иного человека в м о е м мире, в воображаемом мире... В чем же тогда вина моя, Господи?

И, уж конечно, путаясь в этих бесчисленных “как?”, “зачем?”, “почему?”, я не хватался за ручку и бумагу, дабы привычным — письменным — способом все разъять на части, разложить по полочкам, просветить анализом, понять. Я боялся письменного стола. Я твердо, еще в первые дни обреченного лежания, решил: с писаниной, с сочинительством покончено раз и навсегда. Да ведь я теперь простонапросто н е с м о г у писать!..

Однако ж время сделало свое дело. Покаянные мысли, страх, безысходная тоска и мистический ужас начали переворачиваться, перевариваться, преображивать — в ярость, в злобу, в бунт. Сбалансировался я примерно на следующем: с таким смертным грузом на сердце мне — не жить. Без авторучки в руке, без писательства мне — не существовать. Без движения, без возвращения к людям мне — не быть. А значит — нечего и терять. Или пан, или пропал. И — вот правильно! — тварь я дрожащая или право имею? Если Кто-то дал мне силу и власть в сочинительстве, значит, этот Кто-то и дал мне право пользоваться этой силой и этой властью? Значит, я сам волен решать — быть или не быть!..

Признаюсь, я от всей этой круговерти опасных и притягательных мыслей слегка р а з в и н т и л с я, тронулся, помешался. А может быть, и — не слегка.

Я решился.

Напустив ванну кипятковой воды, я отмок, тщательно отмылся от многослойной грязи. Обстриг обгрызенные ногти. Уничтожил кустистую бороду. Расчесал с болью обвисшие по-хипповски волосы. Натянул чистое белье на задышавшее тело. Выпил две чашки горчайшего кофе. Убрал-вытер с письменного стола почти вершковый слой пыли. И — сел. Взбудораженный Фурсик вскочил привычно ко мне на колени, вытянулся блаженно и подзабыто вкусно заурчал.

Я решил написать повесть. Или рассказ.

Главный герой должен был в конце умереть. Как? От чего? Каков сюжет произведения?.. Это я представлял себе еще смутно, совсем туманно. Я только определил — кто будет героем. Точнее: я видел явственно прототипа. Я знал его много лет, когда-то работал с ним — мразь из мразей. В одной из своих вещей я упомянул о нем в эпизоде: дал две —три черты его наглой внешности, два — три характерных штришка его мерзкой фарисейской биографии. Убивать там, в той повести, я его и не думал, напротив, он по сюжету благоденствовал и карьерился. Теперь, в жизни, карьера его сорвалась: он оказался профнепригодным, к тому ж

проворовался, так что полетел вверх тормашками из начальнического кресла. Но, как и все они из породы непотопляемых прохвостов, мой будущий герой нашел-таки, отыскал себе вполне теплое местечко, всплыл и продолжает приванивать вокруг себя...

Короче, на этой особи я решился провести фантастический эксперимент, проверить свою безумную силу.

Я мучился трое суток. Я сидел, часами не вылезая, за столом. Ходил, турнув кота, из угла в угол, расплющил-сжевал колпачки двух ручек, перемарал листов двадцать бумаги — бес-по-лез-но! Масть не шла. Этот проклятый лупоглазый прототип щеперился, упирался, выскальзывал — никак не втискивался живьем в пространство рассказа. Вместо живого убедительного героя рисовалось нечто ходульное, манекенное, кисельное.

И вдруг я поймал себя, зафиксировал: во мне, в мозгу моем пульсирует, рождается, рвется во внешний мир совсем другая история, совсем другой герой. Я наконец-то услышал тот волнительный гул в душе, который вот-вот начнет проясняться, упорядочиваться, проявляться в слова, образы, сюжетные ходы...

Но мне не нужен этот сюжет! Я пытаюсь бороться с собой, глушить-заглушать рвущийся из глубин сознания разгорающийся творческий импульс или хотя бы повернуть его в нужное, необходимое, п р о д у м а н н о е русло. Напрасно! Меня охватывает неудержимая дрожь нетерпения. Я бросаюсь к столу, хватаю судорожно ручку и начинаю стремительно покрывать саван бумаги нервными прыгающими строчками:

"Просматривать газеты начинаю я всегда с последней полосы. И сразу — с некрологов. Так уж привык..."

Я пишу эту повесть о самом себе, о событиях последнего года, о своем позднем ужасном прозрении. Я пишу с жаром, с сумасшедшим вдохновением, почти не отрываясь от стола. Бедный Фурсик разъярился от голода и жажды, вопит где-то там, в ванной, — я запер его, чтобы не мешал. Я пишу-сочиняю горестное повествование о герое-писателе, обладающем страшным у б и й с т в е н н ы м даром, прототипом которого являюсь я сам. И я уже знаю, прозрев весь ход сюжета, что в финале моей мрачной повести герой мой у м р е т...

Я не могу не написать эту повесть. Но я не хочу, не желаю — слышите вы! — я не хочу, чтобы ее... Я боюсь!

Я страстно хочу жить!*

1994 г.

---

* Напоминаю: все имена-фамилии в повести заменены. Более того, на всякий случай сокращены-убраны из текста подробные описания внешности героя-автора и скрупулезно патологическое описание его смертного часа.

Он сам попросил меня опубликовать данную вещь хотя бы под моей фамилией и с необходимыми изменениями. "Иначе, — сказал он, — я свихнусь, я сойду с рельсов".

Где сейчас автор и кто он, — я обязался не разглашать. Он, по его утверждению, откроется через месяц после публикации, не раньше..

Если, конечно, ничего не произойдет...

(Прим. Н. Наседкина).



Борис ЗУЙКОВ



ШАТУН

Рассказ

Утром проснешься позднее обычного, увидишь вместо звездного неба беленый потолок над головой, подумаешь радостно: "Дома..."

Встанешь и, вылив на шею пару ковшиков холодной воды, долго будешь смотреться в зеркало, решая, брить или нет заросший подбородок. Когда свежий и принаряженный подойдешь к собакам, они заворчат, предчувствуя долгую разлуку и безделье.

И вот поезд уже уносит к Волге. Там ты вырос. Под ногами стучат колеса: "Ту-да, ту-да... Там дом..."

Вокзал встретит огнями, шумом автомашин. Людской поток вынесет к трамваю.

Еще чуть-чуть...

Щелкнет дверной замок. Прижмешь к груди маленькую, ставшую гладкой голову матери. Вздохнешь, вспомнив, что не писал и думал черт знает о чем, но только не о ней, что ты — самый скверный на свете сын...

Потом, когда уйдут друзья и гости, мать, опустив в подол передника руки, попросит:

— Может, хватит, сынок? Поди всю тайгу исходил? Тебе уж тридцать. У друзей вон детки в школу пошли...

Покачает сокрушенно головой и не скажет больше ни слова, пойдет прибирать со стола, мыть посуду.

ЗУЙКОВ Борис Юрьевич родился в Твери в 1953 году. Образование — средне-специальное. Работал сучкорубом, чокеровщиком, лесником, егерем, охотником, десантником авиационной базы охраны лесов от пожаров в Тюменской области. Автор романа "Белогорье", рассказов "Патрон двенадцатого калибра", "Бациллоноситель", "Шатун", "Если пришло утро". Член Союза писателей России. Живет в Ханты-Мансийске. Слушатель Высших литературных курсов при Литературном институте, ученик незабвенного Э. И. Сафонова, особо выделявшего его среди своих студентов.

А ты встанешь у окна, отдернешь штору и почувствуешь, что луна светит по-иному, чем там, и не волнует. Теперь, из городской квартиры, трудно себя представить в прокаленной морозом ночи, когда и у "нодьи" не разоспаться. Так ворочаешься с боку на бок, поочередно подставляя огню то спину, то грудь. Собаки, и те на хвойной подстилке вздыхают. Подняв закуржавленные морды, слушают, как в загустевших сумерках, будто кто-то сбивает палкой сухие сучья, потрескивают деревья. Промерзшая добела луна, чуть подгуляй мороз, кажется, просыплется на землю, царапая осколками ледяное небо.

Такой ночью, у костра, мечтается о жене и детях, а задремав, — видишь сон... Как ты, жена с рюкзаком и ружьем. Бешено мчащийся распадком ручей блестит, как ее глаза, чистые и бездонные. Слово скажет — каждая жилочка в тебе поет.

Заходишь по комнате, внушая себе, что пора к одному берегу. Всю-то жизнь не прошлендаешь по тайге. И мать стара. Какое тебе дело до тех, кто остался там? Твой дом здесь. А на охоту из города можно ездить. Живут ведь люди.

Утром почувствуешь себя так, будто в зимовье ты, у огня, после утомительного перехода.

Отправишься в центр, удивляясь спешке людей, толпе у винных магазинов. Вспомнятся слова деда, прожившего в урмане не один десяток лет, о том, что чистота и вера сохраняются в лесах. Представишь его взгляд, седую до желтизны голову, толстые, с выпуклыми ногтями, пальцы. Вздохнешь, зная, что и леса теперь вырубают.

Пытаясь убежать от мыслей, рванешься за трамваем. Вспотевший, но радостный, будто догнал лося, прыгнешь в вагон. Пассажиры кутаются в поблекшие меха, зябко ежатся, и ни единого знакомого лица, словно в чужой поселок из тайги вышел. На задней площадке тараторят девчонки-школьницы. Радуются, что уроков не задали и физичка заболела. Вспомнишь, как зажмурилась вчера, прижалась к плечу мужа бывшая одноклассница, слушая твой рассказ о том, как волки пасут оленье стадо и за зиму съедают его. Как с детским задором наврал с три короба самых жутких и невероятных историй из таежной жизни.

Окна в трамвае сплошь инеем заросли. Кто-то свой автограф оставил с плюсом над женским именем. Возьмешь и приложишь пятерню, чуть подогнув пальцы. Получится отпечаток, похожий на медвежий след. Приложишь раз, и два, и три, и по стеклу будто миша протопал.

Стоящая рядом девушка в собольей шапке улыбнется твоей выдумке.

— Как похоже, — скажет она. И одним движением нарисует профиль медвежьей головы. Стряхнет с варежки снег и встанет так близко, что увидишь, как вздрагивают маленькие серые крапинки в ее голубых глазах. Ввалившаяся на остановке толпа прижмет тебя к ней. Попавшим в капкан зверьком забьется под горлом сердце. Пытаясь высвободиться из непонятного плена, повернешься, да так и останешься стоять, вдыхая багульный запах ее духов.

А там неделя пролетела, другая.

Мать не нарадуется: "Образумился сын. Славная девушка. Даст Бог, к свадьбе дело".

Тайком мануфактуру прикупает, сбережения подсчитывает. Во сне уже и внука нянчит.

И вдруг среди улицы встретишь лайку, похожую на твоих собак. Натянув поводок, она вздохнет шумно, словно всю жизнь знала только тебя, заскулит нутром, прижав уши. Пытаясь вырваться, взбрыкнет, упадет у ног хозяина, пачкая белую шерсть об истоптанный снег.

Окинешь взглядом чахлые деревца с опиленными ветвями, поймешь, не оторваться тебе от зимовий, тайги и собак.

Поздним вечером, хмельной, измученный воспоминаньями, вернешься домой. Мать присядет рядом, заговорит о тех, кто остался там. Улыбнется сквозь слезы и словно у кого-то третьего спросит:

— В кого же он такой? Отродясь в роду таежников не бывало. Все люди степенные.

Как бы боясь, что сорвутся не те слова, пошевелит губами и, махнув рукой, благословит на дальнюю дорогу.

Тверской вокзал, встречавший тебя радостно и шумно, словно приуныл. Московская электричка, вытянув длинное зеленое тело, блестит холодными стеклами: "Куда, мол, ты, чудак-человек? Вернись! Обернись, за тобой, прячась в толпе, идет девушка. Она любит и будет ждать. Только ты скажи, когда вернешься..."

Но ты идешь. Вчерашняя ссора, и брошенное ею вслед: "Шатун!" звучит в ушах.

Машинист объявит об отходе электрички, закроются двери, и ты поймешь, что эти двери навсегда отгородили ее от тебя. А там Москва, потом Екатеринбург, и везде — двери, двери, двери...

г. Ханты-Мансийск.



АЛЕКСАНДР БОБРОВ



ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ

* * *

Холодное солнце осеннее
В пруды проникает до дна.
Дана ли ты мне во спасение,
А может, на муку дана? —
Се — тайна.

Но как бы там ни было,
Над кленами возле запруд
Лимонно-червонными нимбами
Свидания наши встают.

Неужто во мне не остужены
Их взлеты, оттенки, слова?
Вот-вот над замерзшими лужами
Осыплется разом листва.

И грань опустенья напомнила,
Что близко мои холода,
Что ярко вот так и наполненно
Не будет ни с кем. Никогда.

* * *

Морозец первый
в пору листопада —
Им до того раскалена луна,

БОБРОВ Александр Александрович родился в 1944 году. Окончил Литературный институт, кандидат филологических наук. Автор двенадцати книг стихотворений, прозы, литературных пародий. Работает главным редактором издательства СП "Эллис Лак". Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Что даже через рыхлую громаду
Недвижных облаков
                    она видна.

И снова замедляется дыханье
В наставшие внезапно холода
От резко обнажившегося знанья:
Неужто ни за что и никогда
Не справиться мне с русскою напастью:
Метаньями некстати донимать,
Не доверять свалившемуся счастью,
Губить его?

А после — вспоминать...

* * *

В полях продуваемых — пусто,
Не слышно оставшихся птах.
Местами белеет капуста
В холодно-зеленых листах.
Последние сборщики в поле,
Последний туман над водой.

Тогда
        для писательской доли
Ты слишком была молодой.
Тебя окружали вниманьем,
Гулять приглашали окрест.
С каким же непониманьем
Воспринят был
                мой приезд.
Тебя не тревожили боле
И внешне — пропал интерес.

Мы вместе ушли в подполье,
Точней, в предосенний лес.
Под желто-зеленым флагом
На самом высоком мысу,
Над речкою и оврагом
В просвеченном солнцем лесу
Я понял, что не забуду
О встрече длиной в года,
Что счастлив вот так не буду
Ни с кем уже. Никогда.

* * *

Сколько помню себя,
                    он ни с чем не сравним —
Поутру вырывается возглас! —
Как бы ни было холодно в ночь перед ним,
Первый снег
            застает врасплох нас.

И опять я по чуду иду не спеша,
Со смущеньем следы оставляю.
Всякий раз я шептал ему: "Жизнь — хороша...
Но мгновенна..." —
                    днесь добавляю.

Разве это почувствуешь в чреве Москвы?
Взрыта просека следом лосиным,

Снег покрыл только ворохи бурой листвы,
А зеленых трав — не осилил.

С новым снегом становится кровь горячей
И смелей для пьянящего шага.
Черной жилкой пульсирует нервный ручей
В побелевшей бездне оврага.

С первым снегом тебя!
Может, снова рискну?
Ты спокойна сегодня? — скажи мне...
Снег летит
на пока что цветную листву —
Отрезвляющий холод жизни.

* * *

Леса величавы. Овраги глубоки.
Сквозь темное золото — свет голубой.
Сегодня слагаю последние строки,
Прощаясь с Малеевкой, но не с тобой.

Ну вот и кончается эта свобода,
И кажется: нет, не вернуться сюда...
В дневной электричке, где меньше народа,
Грохочут колеса: "Ни с кем. Никогда".

Рефрен откликается эхом стократным
Меж сумрачных елей, веселых калин.
Не верит страна обещаньям и клятвам.
Я тоже не верю. И даже своим.

Но что обрету я и что потеряю,
Одна путеводная знает звезда.
Ни облака в небе.
И я повторяю
Под солнцем холодным:
"Ни с кем. Никогда".



НИКОЛАЙ УСТЬЯНЦЕВ



БАЛЕРИНА

РАССКАЗ

Владимир Леонардович Раздольский в городе Антоновске слыл человеком известным.

Уже сама его фамилия и особенно отчество невольно привлекали внимание, поскольку звучали в здешних местах непривычно. В городе было немало Ивановых, Степановых, Сидоровых, но добрая половина жителей носила фамилию Антоновы, а в двадцатых годах тут разгулялось крестьянское восстание, которое возглавлял атаман с такой же фамилией, и странно, что в свое время этот город не переименовали в какой-нибудь Железобетонск, Сахарозаводск или еще не придумали что-либо "покрасивее". Видимо, это произошло потому, что находился он в центре России, а в то время было модно преобразовывать и строить новую жизнь все больше по окраинам, с расчетом, что уж у себя-то под носом всегда успеется, да вот что-то до сих пор медленно доходят сюда перемены. Здесь и сегодня можно увидеть лошадь, запряженную в телегу, или стариков, сидящих на завалинке и курящих махорку, именно махорку, и не по причине постоянных перебоев с папиросами, а по традиции. И опять же не только из-за перебоев с коньяком или шампанским в праздники здесь пьют самогон, и до сих пор Антоновск почти весь деревянный и одноэтажный, с садами и огородами, хоть и называется городом, впрочем он всегда назывался городом.

Владимир Леонардович был известен и по другим причинам. Работал он библиотекарем и был единственным на всю черноземную зону мужчиной, прозябающим в этой малопрестижной и низкооплачиваемой должности. Но он состоял внештатным корреспондентом газеты "Антоновская коммуна" по разделу культуры, и жители района часто после вестей с полей читали его заметки о культурной жизни города и близлежащих деревень. Это хотя и не прибавляло заработка

УСТЬЯНЦЕВ Николай Викторович родился в 1962 году в Москве. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Был участником VI Общемосковского совещания молодых писателей. Работал заведующим постановочной частью, администратором музыкальных коллективов. Член Союза литераторов. Живет в Москве. В "Нашем современнике" публикуется впервые.

(газета была безгонорарной), но кое-какую известность в масштабе района он уже приобрел. И дополнительную пикантность этой известности придавало его происхождение; он был дальним потомком одного то ли декабриста, то ли сочувствующего декабристам, которого в свое время сослали в Антоновск.

Кстати, в детстве ему часто доставалось от мальчишек за то, что его предок был гвардейским офицером царя Александра I, и еще незнакомые с дореволюционной историей Родины, они обзывали его "беляком", а в играх "в Чапаева" он был бессменным пулеметчиком, стрелявшим в Василия Ивановича, плывущего через Урал, за что опять же был бит.

Еще привлекала внимание его одежда: всегда в пиджаке, при галстуке и шляпе. В этом, конечно, ничего особенного нет, но почему-то для Антоновска это считалось особенным. Он даже на речку ходил в таком одеянии. Из этого вовсе не следовало, что он стремился специально прослыть этаким банальным "чудаком", каковые водятся почти в каждом провинциальном городке. Просто он как представитель немногочисленной здесь "культурной прослойки" утвердил для себя именно такой внешний облик, который его хоть как-то если уж не возвышал, то хотя бы выделял из общей массы.

Жил Владимир Леонардович в деревянном старом доме, коего являлся единственным хозяином и жильцом. Дом состоял из трех маленьких комнат, печки, кухни с плитой, работающей на газе из баллонов, которые периодически приходилось заправлять, и небольшой незастекленной веранды, увитой плющом. Имел телевизор, холодильник и большой сад с яблонями, двумя грушами, тремя вишнями, с кустами малины и грядками клубники, которые летом приносили небольшой доход. Сам он, конечно, не торговал, лишь собирал урожай, а соседка Мария Ивановна скупала все оптом, продавая потом на базаре, а что похуже — сдавала на базу потребкооперации.

Кроме телевизора и холодильника, в доме, естественно, была всякая мебель, но абсолютно обыкновенная, ибо та, антикварная, привезенная из Санкт-Петербурга давними предками, частично сгнила, но в основном была сожжена в печке во время войн и разрух.

И, конечно, весь дом был завален книгами: от фолиантов эпохи Александра I до прошлогодней подшивки журнала "Крокодил". И жизнь Владимира Леонардовича была целиком и полностью посвящена книгам. Ему нравилось иногда вечером при свете настольной лампы листать какую-нибудь старую книгу, потом подходить к шкафу, ставить стремянку, специально сделанную для этого мужем Марии Ивановны (действительно, не на табуретку же влезать, чтобы извлечь Боборыкина или Фета чуть ли не прижизненного издания), и извлекать другую библиографическую редкость. В эти минуты он представлял себя старым профессором или архивариусом, тоже, конечно, старым. Вообще он почему-то любил представлять себя старым.

С недавних пор, правда, он пристрастился к телевизору. Конечно, выбирал он в основном передачи "интеллектуальные": об искусстве и литературе, некоторые хорошие фильмы (действительно хорошие), игнорируя ширпотреб, который почему-то принято называть "массовой культурой".

Известно, что даже самые отъявленные затворники иногда все-таки испытывают потребность в общении с живыми существами, но, не желая или не умея сблизиться с людьми, заводят четвероногого друга, скажем, собаку. Владимир Леонардович пригрел в доме кота Ваську, который к проблеме одиночества относился совсем по-иному, и все коты и кошки по улице Плехановской моложе Васьки хотя бы на год были на него похожи.

Как-то раз Владимир Леонардович возвращался домой по центральной улице. Стоял конец октября, и дорога, хоть и заасфальтированная, была покрыта ровным, как раз по щиколотку, жирным слоем черноземной жижи. Проходя мимо горсада, он услышал доносившиеся оттуда душераздирающий визг, оглушающий грохот динамиков и такой топот, будто через город скакала вся Первая Конная армия Буденного.

Между прочим, Буденный бывал в Антоновске. Знаменитого предка Владимира Леонардовича сослали именно сюда потому, что в ту пору здесь квартировал кавалерийский полк. После революции открыли и кавалерийское училище, его-то и посетил Буденный. Сам визит в памяти старожилов держался бы, наверное, недолго, если бы маршал не подарил здешней врачихе, когда-то служившей у него сестрой милосердия, жеребенка. Врачиха половину дома отвела под конюшню и, когда жеребенок подрос, дважды в день совершала по городу верховую прогулку.

Правда, самому Владимиру Леонардовичу верховую прогулку лицезреть не довелось, но старушку, водившую по городу дряхлую лошадь, он еще застал. Когда конь сдох, его не стали сдавать на мыловарню, а при построении курсантов похоронили под забором училища, отметив могилу табличкой. А врачиха умерла всего два года назад, хоронил ее весь город с речами и оркестром, исполнявшим песни гражданской войны. Владимир Леонардович тогда еще нечаянно и ревниво подумал, что его похороны вряд ли соберут столько народу.

Может быть, именно поэтому, обходя все еще пустующий дом врачихи, он шел по другой стороне улицы, приостанавливался у горсада и несколько минут слушал беснование дискотеки, не столько тоскуя по канувшим в Лету танго и вальсу, сколько по ушедшим годам. В тридцать три с его положением было бы несолидно скакать и кривляться — весь выпестованный им авторитет рухнул бы в один вечер. Но на этот раз он прошел мимо не останавливаясь, сегодня его мысли были заняты предстоящим отъездом.

Уже перед самым закрытием библиотеки позвонил из горсовета инструктор по культуре и важно сообщил:

— Владимир Леонардович, спешу сообщить вам приятную новость: мы делегируем вас на... — инструктор сделал выразительную паузу: то ли для того, чтобы придать новости еще большую значимость, то ли для того, чтобы подчеркнуть, что "мы" тут ни при чем, а делегирует именно он, и еще более важно добавил: — на форум.

Впрочем, особого впечатления на Владимира Леонардовича это сообщение поначалу не произвело. Как и во всех провинциальных городках, в Антоновске местное руководство каждому мероприятию старалось придать чуть ли не вселенское значение, и "форумом" могли назвать и совещание партактива, и собрание квартиросъемщиков имеющихся в городе двух пятиэтажных домов, и слет доярок. Поэтому Владимир Леонардович попросил лишь уточнить:

— Что за форум, где и когда он будет проистекать?

Должно быть, его равнодушный тон разочаровал инструктора, и он сухо пояснил:

— Это Всероссийская конференция библиотечных работников, проходить она будет, естественно, в Москве, а выезжать надо завтра.

Было бы несправедливо утверждать, что Владимир Леонардович вовсе не обрадовался. Все-таки не в область посылают, а в столицу, и не кого-нибудь, а именно его. Но он не любил ездить туда из-за пониженного внимания к его личности жителей Москвы, возможно, по причине их количества и суеты. Несмотря на шляпу и галстук, его там не выделяли из общей массы, чаще принимали за приехавшего за колбасой провинциала, а иногда и презрительно обзывали "лимитчиком".

Придя домой, Владимир Леонардович решил подтопить печку, дабы в его отсутствие не завелась сырость и не попортила книги. Пока возился с углем и заслонками, думал о том, что пора бы завести себе АГВ — газовое отопление, тем более что по улице газ давно проведен, надо лишь из общей линии протянуть "аппендикс", тогда не понадобится ни баллоны с газом менять, ни уголь из гортопа возить, вот провел же водопровод, а с газом почему-то затянул. Но тогда, подумал он, не нужна будет и печка, а ее жалко ломать, ведь так приятно ее топить и греться возле нее, глядя на огонь. Впрочем, и при АГВ под настроение можно ее топить. Но вот будет ли настроение? Вдруг оно при АГВ, это настроение, пропадет?

Когда уголь разгорелся и нутро печки загудело, Владимир Леонардович включил телевизор и пошел мыть руки. Вечер начался в общем-то привычно: печка затоплена, шипит нагревающийся телевизор, бьет в металлическую раковину струя воды, Васька, прогнувшись, чешет о палас когти — ждет еды.

— Сейчас получишь. — Владимир Леонардович вытер руки, Васька еще злее заработал когтями. — Сейчас.

В это время телевизор сначала разразился веселым рок-н-роллом, а потом появилось изображение. Владимир Леонардович подскочил к нему, убавил звук и бросил взгляд на экран. Там красивые, стройные, ногастые барышни танцевали с задастыми парнями. Пока он возился с приготовлением еды, девушки и парни, меняя костюмы, исполняли один танец за другим, они крутились, даже делали сальто, вертелись на головах — это уже не рок-н-ролл, а как-то по-другому называется, но Владимир Леонардович не знал — как, и лишь подумал: здорово танцуют, и ведь все девчонки — красавицы, как на подбор, да-а, это тебе не наши

антоновские, их, видимо, действительно отбирают. Вот все они застыли с последним аккордом, и по экрану пошли титры: "Ансамбль эстрадно-спортивного танца "Экспресс".

Потом он ужинал, кот в углу тоже чавкал тихонечко, и лишь телевизор мелькал кадрами программы "Время", где один за другим партийные руководители то кого-то провожали, то встречали, то сами себя провожали и встречали, а какие-то негритянские послы в чудном одеянии говорили о перестройке и гласности.

Владимир Леонардович налил себе крепкого чаю, отхлебнул два глотка и откинулся на спинку стула.

— Ну что ж, завтра в Москву! — сказал он вслух, стараясь произнести это обыденным тоном, но в голосе все-таки прозвучали нотки самодовольства.

На следующий день, с чемоданом в одной руке, с авоськой, набитой провизией на дорогу, в другой, Владимир Леонардович вышел из своей калитки, закрыл ее на ключ и, отдав его Марии Ивановне, провожавшей своего соседа до угла улицы, отправился на вокзал. Мария Ивановна помахала вслед и сказала:

— Ну вот, наш "профессор" и уехал. — Повернулась и пошла домой, ощущая приятность оттого, что сосед в поезде будет есть испеченные ею пироги с капустой и угощать ими своих попутчиков. Если попадутся мужчины, то наверняка будут водочку попивать и спрашивать у него: кто это такие вкусные пирожки испек? А он им (сам-то не будет пить) скажет: "Моя соседка Мария Ивановна".

Пробираясь по грязи к вокзалу, Владимир Леонардович тоже думал о том, кто же ему в купе попадется: если мужики, то водку будут предлагать, а потом храпеть всю ночь; если старики, то спать будут всю дорогу на нижних полках, и свет не зажги, и не почитай; хорошо бы молодые муж с женой, хотя нет, они будут с ребенком, начнутся горшки, плач...

В купе ему попались три молодые студентки-заочницы, ехавшие в Москву на сессию. Такого он никак не ожидал. Пришлось весь день простоять в коридоре, рассматривая черноземные пейзажи, а потом, когда совсем стемнело, пробраться в купе и лечь на верхнюю полку не раздеваясь, так как все три девицы не спали, у каждой над головой горел ночник и каждая внимательно читала учебник или конспект, вежливо не замечая Владимира Леонардовича. Он тоже щелкнул тумблером ночника, но тот не зажегся — видимо, перегорела лампочка. Тогда он отвернулся к стене и решил о чем-нибудь подумать, но о чем — не знал, ничего путного в голову не лезло, а стояли перед глазами колготки, лифчики и комбинации, кучками лежавшие у девушек в откидных сетках, едва прикрытые платьями.

Спал он плохо, снился ему летний пляж, где были одни девушки в купальниках, а он был совсем голый, хотя в шляпе и при галстуке. И все прятал и прикрывал свое интимное место, но оно никак не прикрывалось, а уйти тоже не мог, ведь не пойдешь же по Антоновску голым.

В Москве он долго искал по адресу место, где будет проходить конференция, это оказался старый Дом культуры Мосрыбкомбината, зажатый с одной стороны самим рыбкомбинатом, с другой — пивзаводом. Поблизости еще располагались несколько овощных баз и молокозавод, и в поле зрения ни одного жилого здания. Да-а, подумал Владимир Леонардович, кон-фе-рен-ция...

Ему сказали, что мероприятие начнется завтра в шесть вечера, а утром будет организована экскурсия по городу-герою с заездами в центральные магазины, дали заполнить какую-то анкетку и послали на другой конец Москвы в гостиницу.

Опять с трудом нашел здание, похожее на жилой дом, лишь по табличке у входа можно было определить, что это гостиница. Владимир Леонардович вошел и увидел швейцара в униформе и с таким количеством орденских планок, что сразу подумалось: не менее чем генерал-майор в отставке, судя не только по планкам, а и по важности и строгости, еще смолоду, видимо, застывшими на лице. На стене, над самой головой бывшего военачальника, висел транспарант: "Привет участникам фестиваля искусств, посвященного годовщине Октября!" Он и смутил Владимира Леонардовича, тот было развернулся и направился обратно к выходу, но швейцар хорошо отработанным командным голосом остановил:

— Стой!

Владимир Леонардович невольно подчинился команде, повернулся кругом, как и полагается по уставу, — через левое плечо, и замер.

— Библиотекарь?

— Так точно.

— Готовь паспорт и прописывайся.

— Есть!

Оказалось, что и конференция библиотекарей приурочена к годовщине Октября и ее участники живут в этой гостинице.

Прописавшись и вселившись в номер, Владимир Леонардович сел на стул и просидел так, не раздеваясь, минут двадцать. "Ну, город! Ну, Москва! — размышлял он. — И как тут люди живут? Да здесь надо всем молоко за вредность давать! Однако хорошо, что хоть поселили в одноместный номер, — думал он дальше, — никто храпеть не будет, правда, кровать жестковата и узковата, не то что у меня дома, зато туалет с унитазом и душем, не надо ни в какую баню идти..."

Он заглянул в туалет и увидел таракана, ползавшего по ванной. Владимиру Леонардовичу стало неприятно от вида этого хозяина гостиниц, общежитий и коммуналок. Насекомое даже света не испугалось, сидело и шевелило усами. Присмотревшись, Владимир Леонардович понял, что это не таракан, а тараканиха, она была беременна и, может быть, вот здесь и прямо сейчас собиралась рожать, а он ей помешал.

— Фу, гадость! — Владимира Леонардовича передернуло, и он захлопнул дверь.

Потом он пошел к дежурной по этажу за чаем.

— Вы артист? — спросила она с подозрением и строгостью.

— Нет, библиотекарь, — смущенно ответил Владимир Леонардович. Почему-то ему стало стыдно, может первый раз в жизни, за свою профессию.

— А-а, слава Богу, хоть один нормальный, а то эти как с концерта приезжают, так начинается другой концерт — ночной. — Она налила чай, взяла восемь копеек и добавила: — Это хорошо, что библиотекарь, значит, кипятильником не будешь пользоваться. А станут мешать спать, вы пожалуйтесь. Мы уже хотим письмо в министерство культуры написать, а то ведь безобразие какое-то!

Владимир Леонардович попил чаю с пирожком, вспомнил добрым словом Марию Ивановну и не спеша стал разбирать вещи: разложил прихваченные в дорогу книги, блокнот с записями "о состоянии библиотечного дела в городе Антоновске" (на случай выступления), потом достал смену белья, туалетные принадлежности, но в туалет их не отнес, а разложил на подоконнике. Покончив со всем этим, включил телевизор, прилег и задремал...

Громкий крик "Ура!" вдруг разорвал тишину. Владимир Леонардович вскочил, подошел к окну и увидел на площадке перед гостиницей вереницу автобусов, одни из них отъезжали, другие подходили, из них горохом сыпались люди. Все были шикарно разодетые, разукрашенные, веселые, что-то кричали друг другу, толкались, многие, похоже, были подвыпившими. "Артисты, — отметил про себя Владимир Леонардович и позавидовал: — Вот жизнь-веселье!"

Чтобы не разжигать в себе эту неожиданно возникшую зависть, он поспешно отошел от окна и стал готовиться ко сну: включил настольную лампу, разобрал постель, в стопочке книг отыскал томик забытого поэта Надсона, 1900 года издания, положил его на прикроватную тумбочку и пошел в туалет умыться перед сном.

Тараканихи уже не было, но по ванной ползала серая мокрица. Тут уж Владимир Леонардович не выдержал и, включив душ, смыл ее в дыру стока. "Искупайся!" — радостно пожелал он ей, представив весь ее дальнейший путь по трубам и отстойникам.

Но тут в дверь громко постучали. Он открыл и увидел высокого длинноволосого парня, упакованного в тертый джинсовый костюм. Владимир Леонардович посмотрел на него вопросительно: мол, я вас слушаю. Парень посмотрел тоже вопросительно: мол, кто ты такой?

— Я вас слушаю, — как можно вежливее произнес Владимир Леонардович.

Парень постоял, агрессия сошла с его лица, он, видимо, что-то для себя понял, потом спросил:

— Скажите, а где Лена из Смоленска, волейболистка?

— Не знаю, я сегодня въехал, Лену не видел, — спокойно ответил Владимир Леонардович.

— Вот зараза, значит, смылась без предупреждения! — махнул рукой парень и уже собирался уходить, но потом раздумал и спросил: — Сам-то кто?

— Библиотекарь, — не без гордости ответил Владимир Леонардович.

— Нормально, тогда пошли к нам вино пить.

— Да я как-то не очень...

— Все мы не очень, пошли, у нас девчонки сидят, расскажешь чего-нибудь. — Парень уже переменился в совсем добродушного.

И вдруг что-то будто подтолкнуло Владимира Леонардовича, ему захотелось чего-то такого, чего в его жизни еще не было и, возможно, никогда уже не будет, захотелось видеть вот этих необычных артистов, да и вообще людей, и это было с ним, пожалуй, первый раз в жизни.

— Ладно.

Они вышли в полутемный коридор. Люди и их тени шастали по нему туда-сюда, они сталкивались, кивали друг другу, сходились, договаривались и опять расходились. Все это напомнило Владимиру Леонардовичу виденную им в каком-то учебнике модель атома и электронов внутри него, но модель живую. Причем электроны были вроде разные, но чем-то и похожие. Все правильно, все по закону — артисты.

— Как тебя зовут? — спросил на ходу парень, тоже участвуя в этом движении, кивая, договариваясь, получая и передавая деньги, похлопывая по плечам, целуясь в щечки и в губки.

— Владимир Лео... — начал было произносить Владимир Леонардович и понял, что здесь это не пройдет, здесь нету Леонардовичей, Петровичей, Ивановичей и прочих. — Володя.

— Гена. — Парень протянул руку, Владимир Леонардович осторожно пожал ее и отметил, что артист артистом, а рука, как у лесоруба.

Так он за одно мгновение стал Володей, и это было непривычно и вроде несолидно, но, как ему подумалось, наверное, правильно.

Они спустились на другой этаж, где происходило такое же хаотическое движение, но вот за одной из дверей послышался звук упавшей на пол пустой бутылки. Гена остановился и постучался, как-то сложно, должно быть, условным стуком. Дверь открыл толстый молодой человек, пьяный и веселый.

— Гендос, ну где ты ходишь, уже горло пора смочить и девчонки начинают скучать без тебя. Ты же знаешь, что мы с Папашкой больше по этому делу, — он приставил указательный палец, как дуло пистолета, к своей шее, сбоку, потом увидел гостя и отрекомендовался: — Виталик. А это Сашок, — и кивнул еще на одного джинсового парня, похожего на Гену, но в очках.

— Володя, — представил Гена гостя, — библиотекарь. А их мы зовем Мальчонкой и Папашкой, а не Виталиком и Сашком. Мальчонка — потому что толстый и веселый, а Папашка — потому что отец троих детей.

На столе было месиво из пустых бутылок, окурков, колбасы, хлеба, вонючих рыбных консервов и стаканов. На кровати сидели две девушки, судя по мгновенному впечатлению — тоже артистки, показавшиеся Владимиру Леонардовичу уже где-то виденными.

— Наташа, — изобразив намерение приподняться, представилась одна.

— Наташа, — кивнула другая.

— Наташа Черная и Наташа Белая, — пояснил Гена, поочередно указав на одну и на другую.

“Где-то я их уже видел, — убежденно подумал Владимир Леонардович, — особенно вот эту, Черную. Вроде я таких и не мог встречать, ведь не в Антоновске же”. Он тоже представился девушкам и сел на предложенный Геной стул.

— Ну вот, — повернувшись к девушкам, продолжил прерванный рассказ не то Виталик, не то Сашок: Владимир Леонардович уже перепутал, кто из них Малыш, а кто Папашка. — Юрик лежит в гримерке вдугаря пьяный, не шевелится, только дикими глазами вращает, а концерт срывается, без Юрика ведь нельзя, он же аккомпаниатор. И тут Людмила Львовна — директор программы — говорит своей скороговоркой: “Ребят, я спасу концерт, берите Юрика под руки, тащите к сцене, я сама встану на световой пульт, и как только на секунду выключу свет, сажайте его в темноте за рояль и пальцы кладите на клавиши. Я зажигаю свет, и он уже должен сидеть. И так же в конце: я гашу — вы его выносите, я зажигаю — его нет. Публика подумает, что так и надо, а Юрик-то отыграет автоматом, главное — руки на клавиши не забудьте положить, иначе он тут же, за инструментом, заснет”. Все так и сделали, Юрик отыграл, но потом его жена (ей-то он и аккомпанировал) написала на него докладную: мол, музыкант Морозов был пьян на работе. И подписалась: “солистка Ленконцерта К. Морозова”.

Все рассмеялись, Владимир Леонардович тоже. В руке он уже держал стакан с вином, заботливо налитый и всученный Геной. И вдруг, сам удивившись своей смелости, которая появилась внезапно, видимо, оттого, что компания способство-

вала своей простотой и раскованностью (так он это оценил), с ходу произнес тост:

— За женщин!

— Ну, Вовк, ты молодец, хоть и библиотекарь, — похвалил Гена, и все опрокинули стаканы, причем девушки выпили совсем по-мужски (тоже успел отметить про себя Владимир Леонардович).

Ему сразу стало совсем весело и хорошо.

"Но все же, где я ее видел? — не успокаивался Владимир Леонардович, наблюдая за Наташей Черной. — И ведь красивая..."

Вечер продолжался, заходило много людей, все крепко пожимали ему руку, а Гена его представлял:

— Вовик, библиотекарь. — Все выпивали, потом одни уходили, приходили следующие, и опять: — Это Вован, библиотекарь... — И еще как-то.

Он вконец опьянел, восторг переполнял его, как в новогоднюю ночь, но одна мысль не отвязывалась: где же я ее все-таки видел? И вдруг вспомнил: по телевизору! Именно позавчера: рок-н-ролл, молодцы, здорово танцевали! И он стал следить за ней. Движения плавные, округлые, законченные, руки — как крылья, а ноги... — словом, балерина.

Как-то само собой получилось, что Папашка с Мальчонкой обосновались в одном углу номера с бутылкой, продолжая какой-то давний спор, и лишь слышны были отдельные фразы, типа:

— Да он не музыкант, он же играет горстями...

— А ты тогда кто, музыкант, что ли?

— Я? Нет. Я химик по образованию, мне плевать на вашу музыку. А здесь я потому, что детей кормить надо...

— Химик? Вот именно — химик. Кроме самогона, небось ничего и не научился делать...

В другом углу Гена обнимался с Наташей Белой, уговаривая ее пойти к нему в номер и там еще выпить.

За столом остались лишь Владимир Леонардович и Наташа Черная. Они, конечно, тоже не молчали, точнее — он не молчал, рассказывая о Велемире Хлебникове и его жизни, и до того увлекся повествованием о трудной его судьбе, что сам чуть не заплакал, уж так стало жалко поэта, особенно за то, что умер он бродягой, нищим и неизвестным. Владимир Леонардович умолк, сглатывая слезы. Наташа встала, подошла к Папашке с Мальчонкой, перешедшим уже к более конкретным и простым выражениям: "ты — козел!", "да ты сам — козел!", и сказала:

— Эй, алкаши, хватит вам. — И взяла у них недопитую бутылку.

Они замолчали, с сожалением проводили бутылку взглядом, потом Папашка достал из-под подушки еще одну, целую, и предложил:

— Виталик, а не выпить ли нам?

— Конечно же, Сашок!

И они, сразу поменяв тему музыкальную на женскую, стали спокойно разливать по новой.

Наташа Черная налила полстакана и предложила Владимиру Леонардовичу:

— Вот, выпейте и не переживайте так за своего друга, что было, то прошло.

— За какого друга? — не понял он.

— Ну за этого, за поэта.

— А-а, ну да, конечно, он мой друг. — Он взял стакан и залпом осушил его...

Проснулся Владимир Леонардович в девять часов утра. Голова болела, тошнило, во рту — словно бы ком липкой, какой-то сладковатой грязи. Он вскочил, вспомнив, что в десять отъезд на экскурсию по городу и по магазинам и что надо обязательно ехать. Но что-то в его за многие годы отлаженном механизме сломалось, и он сел на кровать, махнув рукой: на фиг! Удивившись этому слову, которое раньше он почти не употреблял, а теперь так привычно выскочившему из его уст, Владимир Леонардович еще больше удивился метаморфозе, происшедшей с ним: ведь НАДО обязательно ехать, ведь ВСЕ едут, а он думает: что значит НАДО? вот в чем провинциализм наш заключается — НАДО, и всё, КТО-ТО ТАМ приказал; а вот хватит слушать КОГО-ТО ТАМ, и все, сами с усами!

Следует сказать, что Владимир Леонардович обладал высоким чувством самоанализа, это, видимо, ему досталось по наследству. Но если раньше это чувство констатировало факт высокого духовного развития, то сейчас налицо факт падения. Причем, в свою очередь проанализировав этот факт падения, он сделал

окончательный вывод: живем один раз. После этой мысли ему пришел на ум Шариков из "Собачьего сердца", только он — библиотекарь Раздольский — движется в обратную сторону, от высшего к низшему.

С трудом одевшись, Владимир Леонардович отправился в буфет выпить кефиру. На лестнице ему повстречались Папашка и Мальчонка, мятые и небритые, но уже в верхней одежде, с целеустремленными взглядами. Он не стал с ними здороваться, почему-то подумав, что они его забыли и не узнают после вчерашнего. Но нет, они обрадованно стали хлопать его по плечам и кричать:

— О, библиотекарь, здорово, как себя чувствуешь? Хреново? За кефиром? Да брось, пошли с нами на рынок завтракать.

— Как это?

— Пошли, научим.

— Но я не совсем одет, — еще колебался Владимир Леонардович.

— Ну так одевайся, мы подождем внизу.

Владимир Леонардович вернулся в номер, постоял в нерешительности и, надев шляпу, вышел.

Они ждали на улице возле гостиницы. Папашка стоял неподвижно, как изваяние, тупо глядя в одну точку. Мальчонка нетерпеливо ходил вокруг него, то слегка приседая, то подпрыгивая. Увидев Владимира Леонардовича, Мальчонка высказал ему за опоздание все, что думал, потом, правда, извинился за выражения, объяснив это крайне плохим состоянием здоровья. Все это время Папашка продолжал рассматривать никому не видимую точку, потом, когда Мальчонка его толкнул, он дернулся и покорно поплелся за ними, правда, еще пару раз оглянувшись, будто проверяя, осталась точка или нет.

Проехав две или три остановки на троллейбусе, они сошли перед стеклянным зданием и направились туда. От резкого ядреного запаха, стоявшего внутри здания, Папашка чуть взбодрился, заводил носом, потом протер замусоленным платочком очки и спросил:

— Ну что ж, сначала по капустке или по огурчикам?

— Давай по капустке, — живо отозвался Мальчонка.

И все отправились в капустный ряд.

— Мальчики, попробуйте у меня, — сразу же позвала одна из приметивших их бабулек.

— А что ж, и попробуем, — снисходительно согласился Папашка и зачерпнул прямо из кадки полную горсть. — Вов, а ты только ешь и молчи, а то всю малину испортишь, — шепнул он Владимиру Леонардовичу.

Они с Мальчонкой тоже захватили по солидной горсти, похрустели, переглянулись.

— Нет, бабусь, — по-моему, немножко пересолена, — засомневался Папашка. — Да, ребят?

Они согласно кивнули.

У следующей бабульки капуста оказалась якобы недосолена, еще у следующей горьковата, потом — недостаточно хрустящая... и так далее. Но скоро бабки их раскусили и, грозя вызвать милицию, погнали прочь.

—Ну, а теперь по огурчикам, — уже весело сказал Папашка.

Тут Владимир Леонардович остановился и заявил, что больше никуда не пойдет и вообще с ними стыдно.

— Библиотекарь, ну ладно тебе, мы только по одному, по корнишончику.

Но он не оглядываясь удалялся от них. Они нагнали его перед выходом из здания, оба с довольными ухмылками похрустывали малосольными корнишончиками. Папашка мечтательно заявил:

— Вот если бы еще где-нибудь пивной ряд найти. А?

Они вернулись в гостиницу, поднялись в буфет, и Владимир Леонардович купил им по две бутылки пива, а себе кефир. Пиво было холодное, бутылки — запотевшие, но они пили его большими смачными глотками и после каждой порции глубоко вздыхали и по очереди облегченно повторяли:

— Ух, хорошо оттягивает!

Владимир Леонардович выпил кефир, и у него забурлило в животе. Конечно, думал он, капуста с кефиром, да еще плюс вчерашнее...

— Володь, а ты вчера хорош был, ты хоть помнишь, как ушел от нас?

— Честно говоря, нет.

— Ты чего-то лапшу вешал и вешал на уши Наташке, потом чуть не заплакал,

хлопнул стакан и — в дамках, просто в хлам, так она тебя под ручку и повела. Кстати, ты у нее, что ли, переспал?

— Да нет, у себя, — почему-то покраснев, ответил он.

— Странно. — Они продолжали прихлебывать пиво. — Ты еще говорил ей, что влюбился в какой-то телевизор, потом называл ее Маргаритой, а себя Нико Пиросмани и говорил, что он тоже твой друг. Вот так.

"Какой стыд, какой стыд, до чего дошел! Приехал на конференцию, ведь доклад готовил! Нет, надо от них подальше, спрячусь в номере и не буду никому открывать. А сейчас спать, потом на конференцию, доклад в метро полистаю..." — Владимир Леонардович от этих мыслей помрачнел и опал с лица.

— Да ты не вянь, это с похмелья бывает, — усмехнулся Мальчонка. — Хочешь посмеяться?

— В каком смысле? — недовольно спросил Владимир Леонардович.

— В прямом. Смотри. — Мальчонка и Папашка собрали со стола остатки кем-то недоеденной курицы и надкушенную сосиску, сложили в одну тарелку. — Видишь, в углу человек сидит ест? Это наш конферансье Миша, любит все, что на халяву, ну, на "шару", понимаешь? Смотри, сейчас опыт сделаем.

В углу, весь по уши измазанный жиром, громко поедал пищу Миша. Облизав последние куриные косточки и пальцы, он тяжко отвалился на спинку стула, а потом сытно, обильно, с эхом, рыгнул.

— Миша, приятного аппетита! — сказал Папашка, уже стоявший позади него.

Миша вздрогнул, оглянулся и успокоился: свои.

— Спасибо, ребят. И вам также. — Он вытер пальцы и рот бумажной салфеткой и еще штук десять, незаметно от буфетчицы, сунул в карман.

— Миш, слушай, в меня уже не лезет, я тут немножко не доел, хочешь? — Папашка показал ему тарелку с объедками. — Смотри, сколько мяса осталось.

— Где? — встрепенулся Миша. — Давай.

Он жадно стал все это пожирать, а Папашка с Мальчонкой давились от смеха, но это его ничуть не смущало.

Владимир Леонардович сидел и смотрел на все это с презрением и к Мише, и к двум друзьям, но все-таки не уходил, смотрел.

— Может, и пивка плеснете, а? — поклянчил Миша.

— Так тебе ж нельзя пиво, у тебя ж гепатит был, — напомнил Папашка, но тем не менее поставил на стол кем-то недопитый стакан с пивом.

— Ничего-ничего, можно.

— Верно говорят: даром и уксус сладок, — подытожил Мальчонка. — Пошли.

Они все вместе покинули буфет и разошлись по своим номерам...

Владимир Леонардович успел подготовиться к докладу, вовремя добрался до ДК Мосрыбкомбината, где уже почти все были в сборе после экскурсии. Весь гардероб, проходы, свободные кресла, даже часть сцены, где уже располагался президиум, были завалены сумками, авоськами, кульками с покупками. Пахло духами, колбасой, апельсинами и еще многим другим. Почти все участники конференции уже перезнакомились и теперь показывали друг другу покупки, примеряли, советовались. Мужчины крутились около женщин с лифчиками и колготками-сетками, купленными для своих жен, советуясь и даже прося прикинуть: мало или велико, подойдет ли цвет? Женщины охотно прикладывали к себе все, что им давали в руки, и неуклюже демонстрировали мужчинам их покупки, и в свою очередь просили примерить ботинки, галстуки, пиджаки, купленные для мужей. В общем, царила атмосфера праздника, всеобщего веселья и счастья.

На Владимира Леонардовича никто не обратил внимания, лишь секретарь строго посмотрел, как на дезертира, и в наказание за то, что не был на экскурсии и не имеет трофеев, он пересадил его, сначала расположившегося было в первом ряду и начавшего раскладывать бумаги для доклада, на последний ряд. Было обидно чуть не до слез, особенно когда он шел через весь зал и теперь уж на него смотрели чуть ли не все с усмешкой и чуть ли не с презрением, как на врага.

Он забился в самый дальний и темный угол и вскоре, неожиданно для себя, заснул. Проснулся где-то через час, рассеянно послушал пожилую женщину, читавшую по бумажке с запинками какую-то галиматью, потом, пригнувшись, вышел из зала и уехал в гостиницу.

В номере он, уже совсем забыв о вчерашнем, умылся, зачем-то побрился, видимо, затем, чтобы было полное ощущение очищения и порядка, принес чай от дежурной по этажу, лег в постель и взял в руки книгу Семена Надсона. Читая, он

опять стал чувствовать себя возвращающимся к образу архивариуса или старого профессора, этому способствовали и сама книга, пахнувшая тлением, и дореволюционный шрифт, однако содержание стихов чуть мешало вхождению в образ:

И вот, от ложа наслажденья
И нег любви оторвана,
Перед судилищем она
Предстала с трепетом смущенья...

Или:

Любили ль вы, как я? Бессонными ночами
Страдали ль за нее с мучительной тоской?
Молились ли о ней с безумными слезами
Всей силою любви, высокой и святой?

Владимир Леонардович, осудив Надсона за легкомыслие, захлопнул книгу и погасил свет.

Следующие три дня он провел благообразно, как ему и подобало. Познакомился с некоторыми коллегами-библиотекарями, точнее — библиотекаршами, поскольку мужчин было раз — два и обчелся, но какой-то дружбы или нормального общения не вышло, опять же потому, что в основном были женщины, а потом ему и самому это общение было не очень-то и нужно. Вскоре он, как обычно, получил классическое прозвище "человек в футляре" и сделал-таки свой доклад.

В общем, все нормально. Завтра пятница, последний день конференции, а в субботу за билетами и домой, в Антоновск. В четверг после конференции он поехал к двоюродной сестре. Там хорошо пообедал супом и картошкой с котлетой. Сестра, слушая антоновские новости, расчувствовалась и пообещала этим летом обязательно приехать в гости на месяц с мужем и детьми (пусть привыкают к деревенской жизни). Владимир Леонардович, конечно, приглашал и сулил хороший отдых, зная, что она все равно не приедет, вот уже лет десять так собирается. Потом распрощались, сестра всплакнула, муж пожал руку, дети хмуро и холодно кивнули. Испытывая даже некоторое облегчение, отправился в гостиницу, намереваясь написать статью о конференции в "Антоновскую коммуну".

В номере он сел за стол, разложил бумагу, блокнот с кое-какими записями, достал ручку и, подумав, старательно вывел:

МОСКОВСКИЙ ФОРУМ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РОССИИ

Как всегда, долго мучился над началом, ничего оригинального не придумал и начал просто:

"В эти дни в Москве, в роскошном, из белого мрамора и стекла, Доме культуры Мосрыбкомбината проходила Всероссийская конференция работников библиотечного дела, на коей я имел честь быть представителем этой сферы от нашего небольшого, но старого, богатого своими традициями и заслугами города..."

Ну вот, начало есть, порадовался Владимир Леонардович, потирая руки в предчувствии прилива вдохновения, отхлебнул глоток чаю, снова взялся за ручку, но тут услышал тихий стук в дверь, настолько тихий, что сначала даже подумал: уж не кошка ли скребется? Вскоре стук повторился, Владимир Леонардович поморщился и пошел открывать. В полумраке коридора, с сигаретой, покачиваясь, стояла Наташа Черная.

— Здравствуйте, это я. — Она вошла в номер, села на кровать и стряхнула пепел на пол. — Не помешала?

— Да нет, ничего. — Владимир Леонардович с неодобрением посмотрел на серый холмик пепла.

— Володя, вы только внимательно меня выслушайте, а там что скажете, то и будет. Я выпила, но вы не обращайте внимания, это мое нормальное состояние. Я, наверное, уже спиваюсь, хотя по мне этого не скажешь, верно? Но я без этого уже не могу. Так вот, так больше продолжаться не может, я сейчас убежала от ребят, у них там, как всегда, гулянка, у них каждый день гулянка, и у меня тоже, если не они, то другие, тут уже не важно, с кем. А тогда, в тот вечер, когда вы пришли, я подумала, что вот же есть какой-то другой мир, другие люди, которые

живут не так, как мы, живут нормально, занимаются каким-то интересным делом, и мне это недоступно...

Она поискала взглядом пепельницу, Владимир Леонардович вспомнил, что отнес ее в ванную, сбегал за ней, но Наташа уже выбросила окурок в форточку и продолжала:

— А у меня уже семь лет подряд одни праздники, каждый день праздник и больше ничего — пустота, только вино, водка, рестораны, мужики, а то и похлеще. С девчонками всегда похлеще, но это ладно, это вам непонятно. Я уж давно думала, что надо что-то делать, а что — не знаю. А в тот вечер решила: хватит! Я ждала, что вы найдете меня на следующий день, не дождалась, и опять все по-прежнему. Но сегодня я сама пришла к вам, видите, скажите, как быть, научите, вы же умный... — И она зарыдала.

"Вот ситуация, — подумал Владимир Леонардович, — в тот раз я нюни распустил, сегодня она".

— Может, чаю? — растерянно спросил он.

— Давайте, — сквозь всхлипывания как-то нараспев ответила Наташа.

Он пошел за чаем к дежурной, которая, видимо заметив гостью, вошедшую к нему в номер, теперь осуждающе смотрела на него: мол, солидный человек, а с такими... связывается.

Когда он вернулся в номер, Наташа уже чуть успокоилась, но по-прежнему вздрагивала и курила новую сигарету. Она взяла чашку, но удержать ее не смогла, чашка аж запрыгала в ее руках, и она едва успела поставить ее на стол.

Потом они долго молча пили чай, оба громко прихлебывая. Допив, Наташа положила руки на колени и сказала:

— Вот так.

— Да, вот так, — подтвердил Владимир Леонардович и тоже положил руки на колени.

Так они молча просидели напротив друг друга еще минут пять. За это время он напряженно пытался найти и сказать что-то такое, что сразу утешило бы ее, но ничего путного в голову не приходило, и он лишь пристально разглядывал ее. Да, она красивая, да что там, он и не мог толком даже сформулировать, какая она, о такой он раньше и не позволил бы себе и мечтать, одно слово — балерина. И вот на тебе, кто бы мог подумать? Он-то ладно, а вот ей-то чего от него нужно, ей, столичной "штучке", артистке? От него, провинциала, "чернокнижника"? "А вдруг во мне что-то есть?"

И он первый раз в жизни попытался посмотреть на себя ТАК, отбросив и "архивариуса", и "профессора", и "чернокнижника". "А вдруг, и правда, я другой, — подумал Владимир Леонардович, — вдруг она что-то во мне нашла?" И сам от себя не ожидая, решительно сказал:

— Вы едете со мной! — И хлопнул себя по колену — как поставил точку.

— Хорошо. — Она покорно кивнула и вышла, бросив сигарету в стакан с недопитым чаем.

Он не спал всю ночь, сомневаясь, верить ли в то, что произошло, или нет. Может, все это из какого-то кинофильма?

Утром она пришла, серьезная, строгая. Вошла и сказала:

— Я готова. Так как мы договоримся?

Владимир Леонардович растерялся, засуетился. Еще бы, одно дело — ночь, а утро — совсем другое, но обратной дороги не было, тем более что она сама в здравом, как говорится, рассудке пришла сейчас и ждет дальнейших распоряжений.

— Сейчас я поеду на вокзал за билетами, потом вернусь сюда. Вот и все.

— Хорошо, тогда я свои вещи к вам перенесу и закроюсь, а то девки панику поднимут. Кстати, куда едем-то? — безразлично спросила она.

— В Антоновск. Это райцентр, у меня там отдельный дом.

— Далеко?

— Нет, средняя полоса.

— Ну и ладно. — Наташа села и, как больная птица, склонила голову набок.

В тот же вечер они сели в поезд и покинули праздничную, готовящуюся к встрече очередной годовщины Октября столицу. А ночью в гостинице была паника по поводу исчезновения солистки танцевального ансамбля.

Как и любой райцентр России, да и не только России, а любой другой республики, Антоновск всегда был полон слухов и сплетен. Наиболее популярными были, конечно, столичные слухи: об известных артистах, правительственных

работниках, космонавтах, спортсменах. Второе место занимали слухи о своих жителях, но чтобы тоже не ординарных, а известных хотя бы в своем городе. В эту категорию входили местные партийные работники и их родственники, труженики общепита и торговли, футболисты местной команды и деятели культпросвета. Причем слухи, сплетни и действительно происходящие с этими людьми события были неотъемлемой частью жизни города, его историей и достопримечательностью, коими весьма гордились.

Владимиром Леонардовичем Раздольским тоже гордились, гордились по многим причинам, но основной, пожалуй, была та, что ВТОРОГО ТАКОГО в городе больше не было.

И когда Владимир Леонардович и Наташа Черная сошли с поезда, то, конечно, все обратили на них внимание. Первой поздоровалась с ними вокзальная буфетчица Анна Степановна, подруга его соседки Марии Ивановны.

— Здрасьте, с приездом, — ехидно так произнесла она и с ног до головы обозрела Наталью. Таких она видела только в кино или по телевизору.

— Здравствуйте, — холодно кивнул Владимир Леонардович и, подхватив Наталью под руку, вывел ее на привокзальную площадь.

Анна Степановна долго смотрела им вслед, потом вдруг сорвалась, как будто молоко у нее убежало, и, приговаривая: "Батюшки, наш-то с кралей приехал!", скрылась за дверью с надписью: "Посторонним вход воспрещен". Через несколько секунд женщины, сидевшие в окошечках касс и других вокзальных служб, все как одна куда-то исчезли, что вызвало недоумение (не возмущение, так как возмущаться в Антоновске пока еще не привыкли) публики, стоявшей в очередях за билетами. Вскоре ни одного работника вокзала на месте не оказалось, и еще бы чуть-чуть — и очереди возле касс смешались бы и воцарилась бы анархия, но откуда-то вовремя возник милиционер Петя и восстановил порядок, успокоив всех фразой:

— Что уж, женщины и в туалет сходить не могут?

И уж само собой разумеется, хотя девяносто процентов домов в городе не телефонизированы, за те пятнадцать минут, которые потребовались Владимиру Леонардовичу, чтобы добраться до Плехановской улицы, большая часть населения уже знала о сенсации, а соседка Мария Ивановна уже стояла руки в боки перед воротами своего дома, наблюдая приближение своего соседа с "кралей".

— Здрасьте, с приездом, — так же ехидно, как и ее подруга Анна Степановна, сказала Мария Ивановна. — Как съездилось?

— Здравствуйте. Спасибо, хорошо, — холодно ответил Владимир Леонардович. — Как тут мой Васька?

— Жив-здоров ваш Васька, я его кормила-поила, как вы и наказывали. Сейчас болтается где-то, но к вечеру обязательно появится.

— Ну и ладно, — согласился Владимир Леонардович, отпирая калитку, потом, спохватившись, представил обеих: — Это Наталья, а это Мария Ивановна, моя соседка.

Наталья кивнула: очень приятно, Мария Ивановна тоже кивнула: очень приятно.

Они уже вошли в дом, а Мария Ивановна все еще повторяла: "Очень приятно, ну очень приятно..."

Когда Владимир Леонардович с Натальей ехали в поезде, то спокойно и по-деловому все обсудили и сошлись на том, что она просто поживет у него, отдохнет, а потом уедет к себе в Ленинград. Правда, он намекал ей на некоторое щекотливое положение, в каковом окажется перед своими соседями и вообще в городе. Она же никак не могла понять, при чем здесь город и соседи, и неужели это кого-то волнует, на что Владимир Леонардович сказал: "Антоновск — не Ленинград, здесь все всех волнует". Наталья отреагировала на это заявлением, что может сразу развернуться и уехать обратно, на что он, помолчав, ответил: "Не надо, будь что будет".

Когда они вошли в дом, он показал ей комнату, кухню, прибежавшего вскоре кота Ваську, тоже узнавшего по своим каналам о приезде хозяина, ну и все остальное. Потом затопил печку и занялся приготовлением ужина. Наталья села у печки и, поглаживая приластившегося к ней Ваську, долго сидела, отрешенно глядя на огонь.

Потом они ужинали и смотрели телевизор. Наталья спросила, нет ли в доме вина, он сказал, что не держит, она насупилась и замолчала. Поэтому сразу после ужина они разошлись по разным комнатам и легли спать. Васька долго не мог

решить, кого ему предпочесть, и в конце концов прыгнул к Наталье на одеяло и заурчал. Ночью Владимир Леонардович слышал, как она стонет во сне.

Между тем слух о возвращении библиотекаря с московского форума с "кралей" достиг и завсегдатаев единственного в городе ресторана "Восход". Располагался он в центре города рядом с библиотекой и рынком и напротив горсовета со знаменитым балконом, на котором когда-то выступал неизвестно каким ветром занесенный сюда Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Рестораном, конечно, его можно было назвать весьма условно: грязь, столы без скатертей, в меню лишь борщ и макароны с котлетой, но была водка в розлив и официантки — значит, ресторан.

Здесь спускали свои барыши торговцы с Кавказа, местные колхозники и частники, торговавшие на рынке, правда, еще в небольшой отдельной комнатушке, громко именуемой "банкетным залом", обедали работники горсовета и их гости из области и столицы, а когда их не было, у буфетной стойки толклись местные пьянчужки и цыгане. Но верховодила всем кучка городских спекулянтов, которые каждый вечер собирались здесь "подбивать бабки" и строить перспективные планы. Главным среди них считался Зубр. Он был высок, с огромными покатыми плечами и лицом боксера, одевался исключительно во все импортное, ездил на белых "Жигулях", его побаивались и обходили подальше, даже его "Жигули" объезжали стороной, чтобы не облить грязью, горкомовские работники здоровались с ним за руку, а ресторан был чем-то вроде его резиденции со своими секретарями, заместителями и охраной, хотя в городе у него был свой каменный дом с гаражом, где после закрытия ресторана еженощно устраивались гульбища с шампанским, видео и девочками.

Надо сказать, что Зубр был человеком хотя и жестоким, но гордым, его гордость не сломили ни многочисленные тюрьмы, ни пересылки, ни лагеря, в коих он провел не один год.

Когда-то Зубр с Владимиром Леонардовичем учился в одном классе и списывал у него домашние задания и контрольные работы. Узнав, что Раздольский привез из Москвы "кралю", да еще артистку, Зубр сначала загрустил, потом тряхнул головой и весело сказал:

— Поживем — увидим.

Прошел месяц с того дня, как Наталья приехала в Антоновск. Наступил декабрь, город оказался весь засыпанным мягким пушистым снегом и являл взору почти сказочный пейзаж. Снег словно приглушил не только разнообразные звуки, но и само течение жизни. Все будто притаилось, примолкло, лишь скрип снега да лай собак были слышны издалека. Приутихли и пересуды, разыгравшиеся вокруг случая с библиотекарем.

Наталья уже обжилась, научилась топить печку, ходила на почти опустевший рынок и в магазин за продуктами, с нею уже здоровались, она сдержанно кивала и улыбалась в ответ, носила валенки, которые полюбила и не снимала даже дома. С виду почти ничего не изменилось в их отношениях с Владимиром Леонардовичем, но только с виду. На самом же деле все произошло тихо и спокойно еще в одну из ноябрьских ночей. Она по-женски просто сказала, что теперь будет спать в одной кровати с ним.

— Как? — удивился не готовый к такому повороту дела Владимир Леонардович.

— Очень просто, — ответила Наталья и первая легла в постель.

Он помялся, походил по комнате взад-вперед, потом засопел, как ребенок, которому хочется что-то взять, но он побаивается, и ей ничего не оставалось делать, как схватить его за руку, притянуть к себе и обнять.

С того дня Наталья стала отмечать в себе странные перемены. Хотя холода все крепчали, внутри же у нее, наоборот, что-то оттаивало и оттаивало. Она даже вспомнила, как можно сладко плакать, просто так, без причины, всплакнуть по-хорошему и сразу почувствовать облегчение уже от одного этого. Стала также ощущать в себе пробуждение какого-то забытого, как бы еще школьного увлечения, относящегося к Владимиру Леонардовичу, Володе, ловить себя на том, что часто думает о нем, наблюдает за ним, ждет его.

Он тоже отмечал в себе перемены. Ему больше не хотелось казаться старым профессором или архивариусом, а почему-то он чаще представлял себя молодым поэтом, живущим где-то на Монмартре со своей возлюбленной танцовщицей из кафешантана, и они счастливы, и впереди у них радостная, светлая и долгая

жизнь. Все удивлялись какому-то новому выражению его лица, будто он все время хотел с каждым поделиться чем-то хорошим и приятным, как филателист, нетерпеливо желающий показать редкую марку, и чтобы взамен с ним тоже чем-то поделились.

Наталья написала своим родителям письмо, сообщила, что жива-здорова, скоро приедет к ним на некоторое время и что, видимо, скоро выйдет замуж. Владимиру Леонардовичу об этом письме она ничего пока не сказала.

До Нового года оставалась неделя, и Наталья стала размышлять, как лучше отпраздновать его. Она решила посоветоваться с Владимиром Леонардовичем, для него это оказалось почему-то неожиданным, и он задумался. А действительно, как? Раньше для него такой проблемы не существовало: что будни, что праздники — все было едино. Ну, конечно, покупал вина, выпивал рюмку-другую и так же, как и всегда, копошился в книгах и журналах, ну, смотрел телевизор — и все. Теперь же совсем другое дело, и не потому, что он не один, ему еще очень хотелось, чтобы ей было хорошо, а главное — весело, ибо он подозревал, что живут они, по ее понятиям, все-таки скучновато. А что делать? Друзей у него нет, на работе одни женщины, все замужние и в заботах, соседи — одни "тетки" со своими Иван Сергеевичами и Василь Петровичами...

Но ничего веселого он так и не смог придумать, сидел и молчал.

— Ну и ладно, — сказала Наталья, — хотя я и думала, что ты меня куда-нибудь потащишь: к своим библиотекаршам или к Марии Ивановне с Иваном Сергеевичем, может, у вас такая традиция. А может, и в самом деле лучше вдвоем, дома? Зачем нам кто-то еще?

— И верно — зачем? — обрадовался Владимир Леонардович, и у него отлегло от сердца.

— Володь, а давай я приготовлю мясо, запеченное в майонезе с сыром и луком? Ну, майонез я сделаю сама, сыр есть в магазине, а мясо купим на рынке. А?

— Давай, — улыбнулся он несколько неуверенно, будучи далеко не убежден, что она способна что-то готовить.

Но в ней уже что-то загорелось, она сразу возжаждала деятельности и решительно заявила:

— Тогда одевайся и пошли на рынок.

Было уже за полдень, рынок наверняка уже опустел, но он согласился:

— Пошли. — И стал одеваться.

Уже по дороге она вспомнила:

— Да, слушай, надо бы купить шампанского. Как же Новый год и без шампанского?

— Да с этим трудно, но я что-нибудь придумаю, — пообещал Владимир Леонардович.

И всю дорогу, пока они шли до рынка, он ломал голову над тем, где бы раздобыть хотя бы бутылочку шампанского. В продаже его вот уже сколько лет не было, если его и завозили, то все расходилось со склада по начальству, раньше можно было выклянчить за двойную цену в вагоне-ресторане проходящего поезда, но теперь на железной дороге "сухой" закон...

И тут вдруг навстречу им из-за угла вышел Зубр. Широко улыбаясь, он распахнул руки для объятий и радостно воскликнул:

— Вовка, сколько лет, сколько зим!

Однако от объятий Владимир Леонардович уклонился, а лишь перехватил широкую ладонь Зубра и потряс ее обеими руками:

— Я уже тысячу лет тебя не видел, ну, как ты?

— Цвету и пахну.

— Да уж слышал, чего только про тебя не говорят. Все хулиганишь?

Зубр улыбнулся этому доброму наивному словечку и как-то умиленно подтвердил:

— Хулиганю понемножку.

— Слышал, ты все больше в "Восходе" время проводишь?

— А где тут еще? Ты бы когда заглянул, твоя-то контора совсем рядом. Посидели бы, потолковали за жисть.

— Да надо бы, только я слышал, к тебе туда чуть ли не на прием надо записываться.

— Уж ты-то, Вов, всегда без очереди можешь. — Зубр рассмеялся удачной, на его взгляд, шутке. — Вот опять же с женой зашли бы, познакомились... —

Взгляд Зубра остановился на Наталье — холодный взгляд удава на кролике, отчего Наталья, не выдержав этого взгляда, опустила глаза. Владимир Леонардович ничего этого не заметил.

— Да, кстати, это друг моего детства Леша, — сказал он. Потом представил ее: — А это Наталья. — И смущенно добавил: — Вообще-то пока еще не жена...

Зубр прекрасно знал это, но сделал вид, что удивлен:

— Что так? Я бы в данном случае не медлил.

Владимир Леонардович окончательно смутился и поспешил переменить тему:

— Слушай, Лех, ты не знаешь, где можно достать шампанское? Все-таки Новый год на носу.

— Нет проблем. Заходи завтра часов в двенадцать дня в "Восход", все будет.

— Завтра? Нет, завтра я не смогу, еду на базу за новыми книгами.

— Ну не ты, так жена пусть зайдет, — беспечно сказал Зубр, но на Наталью глянул испытующе.

— А действительно, Наташ, зайди завтра? — Владимир Леонардович даже обрадовался такому выходу из положения.

— Ладно, — кивнула Наталья и, не попрощавшись с Зубром, отошла, уже на ходу сообщив: — Володь, я на рынок...

Весь остаток дня ее не покидало дурное предчувствие чего-то тяжелого и неприятного, неотвратимо надвигавшегося не только на нее, но и на Владимира Леонардовича. Было такое ощущение, что тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь делать, но раньше делал и даже хорошо делал, и вот теперь опять надо, но уже страшно делать.

Владимиру Леонардовичу она не рассказала о своих страхах, опасаясь, что он лишь посмеется над этими страхами или — того хуже — начнет успокаивать и вообще все поймет не так, и ему не объяснишь, что ей и самой непонятно, что ее гнетет.

Утром она решила, что в "Восход" не пойдет, можно обойтись и без шампанского, но и это решение ее не успокоило, она бесцельно садилась, опять вставала и ходила. И как-то незаметно для себя оказалась вдруг уже одетой и ярко накрашенной перед зеркалом, привычно оценивающей качество макияжа и всего остального. Потом она вышла, закрыла на ключ калитку и решительно направилась в центр города.

Владимир Леонардович на книжной базе пробыл недолго, фонды им сократили, к тому же выдали то, что даже при нынешнем книжном буме залеживается на прилавках и наверняка будет пылиться и в библиотеке. Поскольку книг оказалось немного, решили сразу их зарегистрировать, проштамповать и рассовать по алфавиту, и тут смотрят — уже восьмой час пошел.

Не застав Наталью дома, Владимир Леонардович только теперь и вспомнил о данном ей поручении насчет шампанского и пошел в "Восход".

Около ресторана в темноте гудела и роилась даже не кучка, а целая толпа, у двери, как утес среди беснующихся волн, несокрушимо возвышался швейцар — молодой холеный парень, косая сажень в плечах. Он ни с кем не спорил, никого не увещевал, а лишь молча указывал на табличку: "Мест нет", отпечатанную самым крупным шрифтом, какой только имелся в типографии районной газеты "Антоновская коммуна".

Но толпа, однако, не расходилась, и не потому только, что давно уже перестала верить печатному слову, но главным образом потому, что знала по своему опыту, что все зависит вовсе не от таблички.

— Ну, Паш, ну пусти только одного, он на всю артель возьмет и тут же вернется, — заискивающе скулил кто-то и совал Паше не то рубль, не то трояк.

— Ладно, иди, — тотчас снисходил Паша, но предупреждал: — Однако не задерживайся, а то я сам поднимусь.

Видимо, этого никто не хотел, делегат возвращался быстро, едва удерживая в руках гроздья бутылок, а Паша опять указывал невозмутимо на табличку до тех пор, пока в его руке не оказывалась очередная купюра.

Владимир Леонардович рванулся к двери раз, рванулся другой, но крепкие рабочие и крестьянские плечи легко оттискивали его. И только когда дверь открылась в очередной раз, Владимир Леонардович, приподнявшись на цыпочки, через несколько голов крикнул Паше:

— Погоди, не закрывай, я к Зубру.

Паша раздвинул головы, выдернул его из толпы и подозрительно спросил:

— Зачем он тебе?

— По делу, — тихо и замкнуто сообщил Владимир Леонардович, как бы давая понять, что вникать в более подробные объяснения тут не время и не место.

— Ну, раз так, проходи, — поверил Паша и, мощным плечом отгородив его от других рвущихся внутрь, пропустил.

В зале стоял шум и гам, орала музыка из колонок, подвешенных над буфетной стойкой. Кто танцевал, кто пел, кто-то пытался затеять драку, коромыслом висел дым, из кухни тянул разъедающий глаза чад.

Владимир Леонардович долго высматривал Зубра, его нигде не было видно. Но вот за дальним угловым столом, почти в тишине, будто отгороженная от всеобщего разгула невидимой стеной, обнаружилась компания парней с уверенными лицами и волевыми подбородками. С ними были две девицы из универмага, все пили шампанское и коньяк, и то ли по этим столь редким здесь напиткам, то ли по лицам Владимир Леонардович безошибочно определил, что это люди Зубра. Он уверенно подошел к ним и строго спросил:

— Где Зубр?

Компания дружно пожала плечами, но у одного все-таки успело выскочить:

— Внизу, на черном ходе.

Владимир Леонардович вспомнил, что к черному ходу можно пройти только через кухню, и ринулся туда. Компания равнодушно проводила его взглядом, но вдруг одна из девиц что-то сообразила, вылупила глаза, прихлопнула рот ладонью и уже из-под нее испуганно пропищала:

— Ой, что сейчас будет!

Между тем Владимир Леонардович, проскочив кухню, вылетел на грязную вонючую лестницу, заставленную ящиками с пустыми бутылками и огромными чанами с отходами, сбежал вниз и увидел их.

Наталья стояла в углу, прижав к обнаженной груди руки, в них запутался разорванный лифчик, а дубленка, кофта, цветастый платок, шарф — все было свалено на грязном топчане, на котором, видимо, по ночам спал сторож. Зубр стоял перед ней с налитыми кровью глазами и распахнутыми руками, шевеля растопыренными пальцами, должно быть, готовясь к очередному рывку.

Наталья, увидев Владимира Леонардовича, вскрикнула, Зубр обернулся и успел уклониться от маленького, но жилистого кулака библиотекаря. Потом он дал Владимиру Леонардовичу снова замахнуться на себя, усмехнулся, ловко увернулся от удара и всадил ему в лицо встречный удар. Библиотекарь упал, но тут же попытался встать. Его закачало, одной рукой он оперся о липкую стену, другой вытер лицо, посмотрел на ладонь и, увидев на ней кровь, поморщился.

— Вов, ну что ты? Мы же старые друзья, — почти ласково проговорил Зубр и вдруг ударил Владимира Леонардовича ногой прямо в солнечное сплетение, после чего повернулся к заплаканной, трясущейся от страха Наталье и пошел на нее, опять растопырив руки.

Она отскочила в сторону, схватила лежавший на батарее отопления металлический крюк, каким грузчики цепляют ящики, и ударила им Зубра по голове. Тот постоял секунду, качнулся сначала к ней, потом откинулся и навзничь рухнул рядом с Владимиром Леонардовичем.

Все произошло так быстро, что когда дружки Зубра увидели все это, они опешили и просто стояли и смотрели, и в глазах у них накапливался ужас.

В милицию никто обращаться не стал, а Зубр, проваляшись в больнице всего два месяца, снова приступил к обязанностям "пахана". Наталью и Владимира Леонардовича после этого в городе никто не видел, вскоре его дом был продан через посредника, а кота Ваську взяла Мария Ивановна.

Правда, жители Антоновска регулярно в музыкальных телепередачах видели танцующую Наталью и даже немного гордились личным знакомством с ней. Ходили слухи, что и "профессор" теперь живет с нею и работает библиотекарем в одной из ленинградских школ.



Виктор СМИРНОВ

МАЛЕНЬКИЕ АНЕКДОТЫ БОЛЬШОЙ РОССИИ, ИЛИ, ЕСЛИ УГОДНО, БОЛЬШИЕ АНЕКДОТЫ МАЛЕНЬКОЙ РОССИИ

Виктор Васильевич Смирнов — прозаик и кинодраматург, лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств Украины. Читателям известен по романам и повестям "Тревожный месяц вересень", "Заулки", "Жду и надеюсь", "Ночной мотоциклист", "Обратной дороги нет" и др., а также по сценариям многих популярных фильмов, поставленных по его и других авторов произведениям, — "Дума о Ковпаке", "Приваловские миллионы", "Берег его жизни", "Секретный фарватер"... Один из организаторов Клуба независимых писателей — творческой организации, стоящей вне политики. Денежную часть своей Госпремии отдал детям-сиротам в пострадавшем от Чернобыля районе Брянщины. На гонорары от фильмов купил дом для сиротской семьи в Тверской области.

Эпоху горбачевской "перестройки" воспринял с надеждой и радостью. Был президентом акционерного общества, ведал издательскими отделами в банке и творческой ассоциации, издавал журнал.

* * *

Начал я свои анекдоты с того, что написал парочку и опубликовал их в газете... коммунистического направления. Наши "либеральные" и "демократические" издания от подобных анекдотов шарахались, хотя я их не придумывал, — это сколки (или осколки) нашего существования. Сам я членом партии никогда не был по соображениям, как говорится, принципиальным. Еще вчера я видел в нашем осуществленном варианте социализма в основном лишь беды и ошибки. Но время учит, время и меняет нас...

Была цензура, была... И я, и мои коллеги многое писали "в стол". Читали рукописи на кухнях, запивая впечатления водкой и закусывая колбасой. Со смехом и ужасом перебирали знаменитые фамилии. "Суслов сказал"... "Шауро запретил"... "Яковлев отмел"... "Волкогонов выбросил"...

Сценарий "Жду и надеюсь" изуродовал до неузнаваемости могучий ПУР. Запретили повесть "Заулки", уже набранную в издательстве (впоследствии стараниями известного либерального цензора Солодина она выползла в свет с отсеченными конечностями).

Мы знали, что надо писать, чтобы прожить, и что́ писать, чтобы читать на кухне. Возникло словцо "нетленка". Это то, за что не платили.

Произошла демократическая революция. Цензоры, отцы наши и благодетели с недремлющими очами, разбрелись кто куда. Иных нет, иные далече, иные снова в отцах и благодетелях. Теперь они кусают сосцы вскормившей их коммунистической волчицы.

А мы, подмастерья прозы, щепочки на поверхности стихии, называемой литературным потоком (ну помните же Некрасова: "братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое..."), те самые, без которых "не было бы Шекспиров и Дантов", извлекли из столов заветное, нетленное — да к издателям, к тем самым независимым новым русским, которые на то и новые, чтобы оценить отвергнутое. У них компьютерные наборы и верстки, дискетки и лазерные принтеры, у них свободы, как на Западе, — хоть заливай за ворот.

И увидели в компьютерном мониторе ухмыляющееся лицо старухи Коммерции, самого строгого цензора на свете. Куратора новой издательской политики.

"Вы о чем там?.. Можете написать, с кем спал Сталин? Об онанистической юности Гитлера можете? Список любовниц Берии у вас с собой? Ну, тогда хотя бы подробное описание поведения Пушкина в постели с Анной Керн. Так сказать, записки очевидца. Ну, не вы, прабабушка ваша приходила к ним выливать горшок, неважно. Ах, нет? Тогда что вам у нас?.."

Некоторые прорвались. Держа меня по-дружески под локоток, известный мастер остросюжетного жанра, прославлявший деяния щелоковской милиции и неоднократно награжденный министром, шептал: "Старичок, олд бой, я тебя устрою... Понимаешь, сам теперь под псевдонимом пишу. Якоб Якобс, мастер зарубежного детектива. Три эротических детектива написал! Никаких особых секретов, просто надо, чтобы ее звали Иоанна и чтобы ее убивали в момент траханья. Экзотика с эротикой! Вот это фрукт... Заморский, понимаешь? Или, скажем, шестеро в групповом сексе, и утром консьержка находит их голыми и мертвыми. И среди них бывший группенсексфюрер, а на самом деле наш самоотверженный разведчик Исаич, который внедрился в эту разложившуюся систему. И на самом деле он жив, просто переутомился. И обязательно — он ненавидит и Гитлера, и Сталина, но Сталина больше. Это обязательно, это модно..."

Да, кто как устроился со своей нетленкой. Другой, не пожелавший лепить образ мужественного группенсексфюрера, уехал в деревню, завел хозяйство, бобылюет, вспоминает жену, которая ушла к коммерсанту. Третий...

Да что там! Чего жаловаться. Несколько моих книг все-таки издали, теперь вот через суды ищу сбежавших издателей, чтобы получить хоть долю того, что называлось когда-то авторским гонораром. Попробуй найди. Суды поисками не занимаются, а прокуратуре не до литературы. Одна фирма, во главе с, простите, начинающим писателем Головиным и сокомпаньоном Полковниковым, бывшим, как он рекомендовал себя, сотрудником ВААПа (то есть организации, занимающейся охраной авторских прав), умудрилась сбежать из офиса, вывезя при этом чужую мебель.

Двенадцать стульев...

Недавно закончил обработку материалов к документальной книге "Три загадки Великой войны". О тайне гибели Черняховского, о причинах провала деблокады Сталинграда, предпринятой Манштейном, о том, почему Севастополь пал на три дня позже, чем рассчитывал Гитлер, — это решило судьбу Новороссийска и всего Кавказа.

Это наша история, наша драма, наша боль.

Новые русские в новых издательствах читают. Нравится. И тайна, знаете ли, есть, и загадка, и быль... Но как-то мало группового секса. Как-то не до этого было в Сталинграде. Дама Коммерция строго подчеркивает красным, как и положено цензору, карандашом: "мало".

Раньше обычно не хватало "руководящей роли". Теперь...

Недавно побывал у очередных спонсоров и меценатов в одном из банков. Ну что им истратить два десятка лимонов на небольшой тираж? К 50-летию некоторым образом Победы. И марку свою подчеркнуть, и праздник поддержать, и несчастного писателя, и вклад в историю сделать: маленький, но вклад.

Вокруг хорошо одетые люди (президент следит за тем, чтобы подчиненные упаковывались в фирменных магазинах), сплошные Мамонтовы и Морозовы, улыбались, похлопывали по плечу: "Давайте звоните!"

Звоню. В ответ музыка из фильма "Афера". И ласковые женские голоса: "Звоните еще". Звоню. Наконец: "А не могли бы вы просто написать статью о нашем банке — как мы помогаем. И устроить ее, а мы заплатим".

А в ушах звучит хрипловатый голос Дамы Коммерции: "мало".

"В чем здесь анекдот?" — спросите вы. Да в том, что, упоминая о Морозове и Мамонтове как спасителях русской культуры, забывают напомнить, что Морозов застрелился, а Мамонтов разорился.

Дама Коммерция романтизма не прощает.

Старая цензура душила, но так, чтобы пузырьки воздуха пролетали в легкие. И чтобы на кухне водка (4-12) и колбаса (3-60) были привычными прозаическими дополнениями к художественной прозе. Потому что все-таки писатели, не отбросы Земли Русской. Пусть хоть на бюллетени, но живут (был такой способ писательского существования). И Дома творчества еще существовали, практически бесплатные.

И книги писали. Да случалось, еще какие! И выходили они, если не здесь, то т а м. Или в Самиздате. И читатели собирались на встречи. Головы их не были затуманены борьбой за кусок хлеба.

Литература жила несмотря ни на что.

Дама Коммерция душит насмерть. Чтобы отбить всю охоту к перу и бумаге. К кухонным посиделкам. К разговорам о нетленке. Вот вам и весь анекдот с писателями. Хотите — улыбайтесь, хотите — плачьте. Анекдоты жизни солоны не только словцом, но и слезкой.

Как же там у Некрасова? "Не просыпайся же, бедный больной, так в забытьи и умри ты..."

* * *

Честно признаюсь: настоящая моя фамилия не Смирнов. Это я притворяюсь. Это мне подарок от отчима-фронтовика, женившегося на матери в результате, как говорится, "стечения обстоятельств". А предки мои по родному отцу носили фамилию французскую: Тилло. То ли их угроза гильотины выперла из Франции, то ли религиозные неурядицы. Давно это было.

Прадед Алексей Тилло, который успел полностью обрусеть, хотя и оставался гугенотом, ныне представительствует во всех энциклопедиях: он составил первую гипсометрическую карту России, математически обосновал наличие и размеры Курской магнитной аномалии, дал имя Среднерусской возвышенности и правильно уложил ее на карту и пр., пр. Был он заместителем Семенова-Тяньшанского в знаменитом Императорском Географическом Обществе всея России. Попутно командовал гвардейской дивизией, был сенатором и воспитывал юного герцога Мекленбургского, царского свояка. Ездил с ним по России и Европе и пояснял, что к чему. Словом, был чистым контриком и, доживи он до семнадцатого, то его ждала бы первая встречная стенка.

Брат его Эдуард разработал подробную и хитроумную систему устройств, спасающих Петербург от наводнений, и его идея признана сейчас оптимальной. Вообще все они, Тилло, были военными инженерами, фортификаторами и топографами. Это была большая фамилия, имеющая киевскую, петербургскую и ташкентскую ветви. Парижскую тоже, потому что дедовы братовья усомнились в гостеприимстве России и незадолго до революции рванули обратно в Париж. На площади Греве было уже достаточно спокойно.

Все свое детство и юность я привыкал к мысли, что происхождение должен скрывать. Потому что метла революции и все обостряющейся классовой борьбы смели с лица земли все российские ветви Тилло, а отцу моему, единственному оставшемуся в живых, милостиво разрешили учительствовать в начальной школе в отдаленных районах Полесья.

Шли годы, коммунизм мало-помалу гуманизировался.

Отцу разрешили отвоевать за Родину в звании старшего сержанта. Он исчез, как красиво пишется, в пламени войны и после тяжелых ранений воскрес в сорок пятом. За героизм был принят в партию и в дальнейшем побывал на деканских и ректорских должностях. Так сказать, реабилитировал фамилию.

Умирая, он оставил несколько томов никем не признанных трудов по лингвистике, математике, фольклору.

Я вырос мальчиком из подворотни, классово близким пролетариату, без отягощающего знания языков, истории и собственного генеалогического древа. Только в возрасте 50 лет я увидел на двадцать первом этаже МГУ бюст своего прадеда — в почетной галерее, рядом с Пржевальским и Семеновым-Тяньшанским.

Я почувствовал на своих плечах, хотя и с большим опозданием, долг возрождения фамилии, которая незримо висела надо мной. Завел четверых детей и начал давать им подобающее воспитание и образование. Как мог, конечно. Удивительное дело — но тот самый призрак коммунизма, который погубил семью, теперь начал патронировать мне в этом деле. Я стал ощущать к нему, как Гамлет к тени отца, смешанное со страхом уважение и даже симпатию.

Интеллигенция, все эти бюджетники, засевшие в вузах, творческих союзах, школах, научно-исследовательских институтах и даже академиях, неожиданно очутились под крылышком вчерашних пролетариев, спешно получивших партийное или какое-нибудь заочное образование и почуявших уважение к науке и знаниям.

Интеллигенцию стали подкармливать и растить. Черт знает какие фортели выделывает история: Иван Папанин, в дикой своей молодости служивший комендантом Симферопольской ЧК и, стало быть, расстреливавший русских интеллигентов, на склоне лет, будучи директором института, заботливо пекся о выращи-

вании юных научных талантов и слыл душевнейшим и добрейшим стариком, выбивавшим квартиры, именные стипендии и всяческие иные гранты для подопечных.

... Ну, а затем произошла перестройка, завершившаяся Великой демократической революцией 1991 года с тремя загадочными жертвами на Садовом кольце. Ребятишек толкнули под гусеницы бронетранспортера, а меня, как и всю сидящую на бюджете российскую интеллигенцию, толкнули под колеса локомотива истории.

Детей я забрал из хорошей школы — дорого стало. Сократился с музыкой, языками. Благо сын, слывший при Андропове и Брежневе диссидентом, успел, несмотря на вызовы в ГБ и увещевания, получить два образования — медицинское и гуманитарное.

Теперь и он, и я оказались в нищете. Все попытки приспособиться и устроиться в новые коммерческие учреждения рухнули. Молодые и энергичные "новые русские" в традиционной интеллигенции с ее понятиями о чести и ответственности не нуждаются. Более того, такая интеллигенция для бизнеса вредна.

Снова, во второй раз, фамилия, не встав на ноги, оказалась на дне житейского колодца. После "самой гуманной революции".

Сын, как только он из диссидента превратился в здравомыслящего реалиста и осознал, что произошло не высвобождение труда и таланта, а некоторым образом грабеж, получил тут же отлуп от новых демократических изданий, где его вчера еще охотно печатали и неплохо платили. И зарубеж, оплачивающий его труды твердой "зеленью", тут же выстроил перед ним маленькую берлинскую стенку.

Революции, как известно, охотно поедают детей своих. Теперь сын живет на гонорары от профсоюзных и других маломощных изданий: не то что семью, и себя-то не прокормишь.

А теперь, поразмыслив над этой краткой историей семьи, скажите: не анекдот ли? Посмейтесь вместе со мной над этой драмой, на занавесе которой вновь, как встарь, возник двуглавый орел.

Тем более, как сказал классик, история смеясь расстается со своим прошлым. Но когда она с ним встречается вновь, она хохочет вдвойне.

* * *

Часто задумываюсь: верующий ли я человек? Наверно, как большинство современных растерянных интеллигентов, я типичный полувер. В Христа вот и в муки его верю, а Бога, пославшего единственного сына на распятие, принять и понять не могу.

Но за спиной стоят поколения верующих предков, в памяти негаснущая лампадка в красном углу, молитвенные нашептывания бабки в часы болезни, темные лики на иконах, в памяти годы деревенского детства, когда удары грома небесного были стуком грозно мчащейся колесницы Ильи-пророка, когда любое странствие, даже поездку на телеге в соседнее село, осенял строгий и милостивый Николай-угодник.

Нет выше счастья истинной веры, это взлет души. "Блажен, кто верует" — не просто поэтический афоризм.

Для меня и раньше, задолго до той поры, когда недавние партийные бонзы, порвавшие членские билеты, стали стоять со свечками в храме под льстивыми очами телекамер, было естественным перекреститься при входе в церковь, поставить свечу перед образом Богоматери, покровительницы Руси, прошептать обращенные к Спасителю слова, не забыть и о копилках "на общую свечу", "на возрождение".

Много побродил и поездил по родимой сторонке и всюду зарисовывал, описывал заброшенные, полуразрушенные храмы и обители, болел этим запустением, болел за униженную, разогнанную Церковь, которая так много сделала в русской истории и культуре. И до сих пор мой самый повторяемый сон: фантастические развалины невиданных храмов с обвалившимися лестницами, лазами, переходами, полустертыми образами на стенах и облупившейся византийской мозаикой.

Когда у нас в Крылатском стали требовать восстановления церкви Рождества Богородицы на холмах, когда стали собираться первые добровольцы, я оказался среди них, разбирал завалы, таскал кирпичи, доски и был упоенно счастлив. И когда состоялось освящение и первое богослужение и отец Николай махал кадилом среди влажных еще стен с нищенскими иконками на фанере вместо иконоста-

са, под провисающими над головой полиэтиленовыми покрытиями, которые закрывали проломы в потолке, я был счастлив вдвойне.

Сейчас церковь близка к полному восстановлению, уже блестят листовой медью маковки, нежно и звонко бьет колокол на празднично раскрашенной колокольне.

Я любуюсь церковью, но внутрь больше не захожу.

Лишь мысленно обращаюсь к Христу с просьбой о прощении, мысленно молюсь, глядя поверх маковок. Зайти внутрь кажется мне лицемерием, я не ощущаю в себе былой искренней благости. Последние годы изменили меня. И вспоминаю я родственников матери, бородатых дедов, людей простых и благонравных (мать у меня самого простого крестьянско-рабочего роду), которые в детстве, как и положено, пели на клиросе, ходили в церковно-приходскую, целовали руку батюшке, а в семнадцатом — восемнадцатом — эх, не Христа ради уже, а в бога-душу — с клинками и винтовками подались в безбожную Красную Армию и пошли рушить и крушить то, что потом стал оплакивать я.

Почему? Что случилось с ними, что случилось со мной? Какой дьявол наплевал нам в душу?

Бабка — та всегда ругала их, большевиков-нехристей, а деды, подавленные коллективизацией и голодом на Украине, оправдываясь, бормотали: "Так мы что же... Мы в первую мировую пошли под пулеметы, под газы, а дома оставили нищету. Буржуазия засела по ресторанам, от фронта — откупная, детовья их по тылам наших молодок портили, на поставках в армию наживались, большими деньгами сорили, а попики, последняя надежда, хоть бы слово за нас замолвили; а только вслед за офицерами: "Вперед, за веру — царя — отечество!" Если б они хоть слово за нас сказали, заступились за нищету, если б были с нами, разве ж бы их потом кто-нибудь тронул? А они одно умели: терпи да терпи, неси свой крест. Одним, значит, по ресторанам да по бабам, а нам — терпеть? Что ж мы, скотина, а не Божье подобие? Скотину — и ту Ной спасал..."

Такую вот хрестоматийную картинку рисовали мне деды, а я пропускал их слова мимо ушей. Но вот произошла Великая Реставрация, и ожили картинки, и классовая борьба перестала быть назойливым тезисом из скучных учебников, и Маркс перестал быть всезнающим прорицателем, и ожил Маркс... Все на своей шкуре надо перенести, братцы, все на своей шкуре, словесные уроки не впрок.

Когда в Белом Доме и у Останкина вооруженные до зубов, хорошо натасканные коммандос, эти достойные потомки былого "офицерья" образца 1905 года, расстреливали практически невооруженную обездоленную бедноту (я видел их и знаю, что обвинения нашей масс медиа — ложь), этих вчерашних инженеров и научрабов, спровоцированных на дурацкое и обреченное изначально выступление недалекими демагогами, разве вступилась за них церковь? Лишь невразумительно бормотала о примирении кошки и мышки... Разве вступается сейчас она, невеста Христова, за обездоленных старух, за обнищавший люд, на копеечки которого она все-таки кое-как дожила до "светлого дня"?

Она, православная наша, как и ранее, — вместе с власть и деньги имущими, вместе с сильными, оставляя слабому лишь одно утешение: "терпи, терпи, на том свете обрящешь..." Нас с вами грабят, расхищают общие богатства, кладут в карманы и в швейцарские банки миллиарды — и сказала ли хоть слово по этому поводу церковь, вступилась ли за ограбленных?

Ее покупают самым простейшим образом, и она спешит отблагодарить сильных проповедью всеобщего послушания. И кланяется, принимая подарки: "свое же от своя же".

Да, снос Храма Христа-Спасителя был актом величайшего вандализма, но доросли ли мы до того, чтобы тратить сотни миллиардов рублей на его восстановление? Что, нас хорошо лечат в больницах, у нас достаточно дешевых лекарств, наши дети сыты и обуты и ходят в хорошие школы? Что, мы всерьез помогаем многодетным и одиноким?

Да если бы иерархи нашей Церкви сами отказались от этого восстановления и передали весь этот гигантский фонд сирым и убогим — наверно, такие, как я, обнажили бы головы и задумались...

Сам когда-то отсылал деньги на восстановление храмов, но сейчас при виде этих колышущихся золоченых риз, при виде этих коллективных портретов иерархов рядом с "государственными мужами", расстрелявшими свой народ, при виде этих улыбок умильных, этого единения Церкви со спонсорами, банками, фондами, я хочу закричать: "Верните! Верните отданное вам, потому что в трудную минуту вы продали меня с потрохами. Верните и проиндексируйте, чтобы я мог

купить колбасу ребенку в школу, чтобы у него были не дырявые кроссовки, чтобы он не завидовал однокласснику, жующему на перемене бананы, эти нынешние самые дешевые русские фрукты...”

... И я прохожу мимо церкви, которую восстанавливал, за которую боролся, будучи членом Комитета самоуправления района.

Чем не анекдот?

* * *

Хотите еще песен? Их много есть у меня.

Ну, свободы, ну, права. Прекрасные абстрактные понятия, красивые, как та статуя Свободы, облетев которую трижды, вы становитесь трижды более свободным.

Если вам дадут вертолет.

Свобода передвижения — одна из важнейших, конечно. Вы можете отправиться, если не очень богаты, на Кипр или в Анталию, а если богаты, можете ездить на собственную виллу в Испанию.

Прекрасно!

Но я, получив свободу передвижения по планете, не могу, как прежде, постоянно навещать старую мать, живущую в полутора тысячах километров от меня. Через две очень братские страны содружества, дерущие за проезд и таможенные шмоны хорошие бабки. Бабки за бабку, дедки за репку... Билет теперь стоит в одну лишь сторону свыше семидесяти тысяч, а стоимость всей поездки превышает все мои месячные доходы.

Раньше, до обретения полной свободы передвижения, когда я платил за билет семнадцать с полтиной, я мог достаточно часто видеться с матерью. И живет она, как сами понимаете, не в Андалузии, а на просторах матушки Руси моей.

Вот анекдотец. А подкладка у него та, что банальная и презираемая истина “свобода осуществима лишь для богатых” с отменой марксизма как науки и практики не исчезла. Тем более в стране, где девять десятых — бедные.

Поясню: на языке социологии девять десятых — это народ.

* * *

Мы всей душой были за частные школы. Ну как еще оживить наше стандартизированное образование? В частных — свобода методов, выбора преподавателей, там новые направления, эксперимент... Когда наши приятельницы организовали частную школу, мы отдали туда детей. “Ну, вот теперь-то!”

Брали долларов по пятнадцати с учащегося носа. Тоже не копеечки были, но решили терпеть.

Потом по тридцать, по сорок... Мы стали отказывать себе в самом важном: лечении, отдыхе, одежде. Дети богачей каждое лето уезжали с преподавателями “у Париж”. Потом рассказывали нашим детям, где течет Сена и Луара. Оказывается, Луара у них впадает в Бискайский залив. Наши детки, естественно, слушали молча. Ну не станешь же рассказывать в ответ, что Волга впадает в Каспийское море. Тем более и до Волги-то они доехать не могли.

Наши стали смотреть на “ихние” принесенные из дома завтраки. “Съел — и порядок”. По выражению лиц моих детей я догадывался, что потомки “новых русских” позавтракали неплохо.

Потом стали брать по сто, двести, двести пятьдесят долларов в месяц. С нас, правда, требовали меньше. Как с многодетных, да еще с приятелей. Но чувствовать себя мы стали неловко. Эдакие прихлебатели. Не знаю, во сколько это обходилось долларов, но школу стали показывать по телевидению. Мол, вот где так вольно дышит маленький человек. “Оказывается, есть у нас школы, куда дети ходят с удовольствием”, — захлебывался комментатор РТВ. И добавлял: “Что может быть дороже детского счастья”?

Мы знали: доллары дороже.

Словом, забрали мы детей из замечательной школы и отдали туда, где учатся люди нашего круга. Старые русские. И не жалеем об этом, хотя, честно говоря, частная школа была неплохая.

Правда, теперь, видя, как по ТВ рекламируются частные школы, или же читая о них в буржуазной прессе, мы знаем, что труд журналистов оплачен из школьного бюджета. Тем более, что бюджеты частных школ составляют коммерческую тайну, как в какой-либо обычной торговой фирме.

Мы уже не можем отличить правду от лжи.
Анекдот у нас получился.

* * *

Мы живем в Крылатском.

Коммуняки презренные выстроили этот район для привилегированных: заслуженных пенсионеров и ветеранов войны, афганцев, многодетных и "перспективных" семей. Среди таких семей оказалась и наша. Надо сказать, жилищные комиссии были достаточно строги, и почти все Крылатское образовалось из действительно нуждающихся.

Разве что мидовский ЖСК, сформированный из работников низшего звена, да "чазовский" дом кардиологов выделялись на сером нашем фоне. Поначалу этот спальный район казался очень удаленным, холодно-ветреным, и ехали сюда не Бог весть с какой охотой. Это уже потом москвичи поняли, что ветра здесь чистые, северо-западные, дующие из лесов, что здесь родники, зеленые овраги и березовые рощицы возле самых домов: в первую пору здесь алела земляника и таились грибы.

Больше всего в Крылатском, удаленном от промышленных предприятий и построенном "городом", оказалось научных работников, инженеров-проектировщиков, учителей и прочего люда, не связанного прямо с производством, бюджетников с невысокими заработками, которые без помощи "города" никогда не смогли бы вселиться в ЖСК с их по нынешним временам смехотворной ценой или, тем более, в бесплатные дома.

В годы перестройки несчастные научрабы и медики подняли бунт против бюрократии: сказались долгая невостребованность их социальных устремлений и низкая зарплата. И то сказать: благодеяние сверху всегда приводит к непониманию и огрехам, которые, правда, с высоты нынешнего дня кажутся незначительными пустяками. Дом не там или диспансер не там поставили, ливневку не проложили как следует на холмах... Возник Комитет самоуправления, в который вошел и автор этих строк. Поначалу Комитет пытался — в спорах и поисках — найти общий язык с властями, обладающими незаменимым опытом управления.

Но новая волна людей с повышенными социальными амбициями, подогреваемых истерическими обвинениями в адрес компартии, которые звучали с газетных полос и из эфира, смела этот Комитет с его попытками компромисса. И волна-то была небольшая, несколько десятков человек, но очень шумная и активная. Прославился Володя С., медицинский администратор. Он полностью отвергал коммуняк презренных, а свой партбилет, ходили слухи, то ли сжег, то ли съел прямо на собрании.

Он-то и стал первым супрефектом (ах, словцо-то какое!) Крылатского, ему-то и вручили ключи от спального городка избиратели, раздавленные "достоверными сведениями" о невиданном взяточничестве Лигачева и миллиардах КПСС в швейцарских банках.

Итог славной борьбы? Володя С. сидит за взятки. Не за вымышленные, пропагандистские, как у Лигачева, а за реальные. И брал-то по-первобытному, по-глупому. Доить коммерческие структуры следовало не напрямую, за тугие соски, а устраивая родню в учредители. Что делать, демократические выдвиженцы не сразу всему научились.

Супрефектом теперь сидит очередной неизвестно кто — люди быстро устали от политики и такими мелочами не интересуются. Сдохла местная газета, надежда гласности. Крылатское превратилось в престижный спальный район, где цена на квартиры выражается в суммах, доступных лишь многоразрядному калькулятору. Истинные творцы Великой Капиталистической Революции вылезают из тени и оседают теперь в экологически чистом спальном городке, постепенно вытесняя многодетных, ветеранов и не отваливших в коммерцию научрабов, оставшихся наедине со своими госбюджетными заплатками.

За квартиру в Крылатском "новые русские" дают бо́льшую в Свиблове или в Бутове, пролетарских микрорайонах, да еще немалую сумму на хлеб с маслом. Идет мирная, но целеустремленная и серьезная экспансия. Скупаются целые этажи, пробиваются стенки, пусть даже и несущие, создаются многометровые квартирки, в некоторых случаях с бассейнами.

"Мы этого гегемона отсюда выбьем", — сказал мне, ошибаясь адресом, один господин, садившийся в новейший БМВ с эффектным оттопыренным задом (у автомобиля, конечно).

И выбьют. Без всяких штурмовых орудий. Деньги — это великий кумулятивный снаряд. Идет быстрое удорожание жизни в микрорайоне, одолеть которое может только толстосум. Обычные универсамы с колбасой для научрабов превращаются в супермаркеты типа "Юникора", очень, кстати, после первого посещения понравившегося первой леди России. Цены там такие, что не надо смотреть фильмов ужасов.

Со своей стороны немногочисленные мастера Крылатского, работники гвоздя и топора, так взвинтили оплату за услуги, что трещина в унитазе превращается в трещину годового семейного бюджета.

Переезд в Крылатское Первого господина еще более взвинтил интерес к району "новых русских". Как-никак под крылом. Здесь безопаснее, чище, спокойнее. Моя милиция меня бережет.

Бывшие подопечные коммунистов-бюрократов, старички с орденскими планками и с клюками, многодетные, научрабики со своими задержавшимися диссертациями, ау! Где вы? Откликнитесь из Свиблова — Бутова! Услышите ли вы меня, услышит ли кто вас?

Анекдот...

* * *

Разговор в банке коммерческой информации, где мне приходилось заниматься издательскими делами. Хозяин банка, которому принадлежат сто процентов уставного капитала, маленький хитроглазый ливанец, обычно держался в тени. Но однажды он вздумал прочитать мне лекцию о том, как должен быть разрушен русский беспутный социализм и построено новое разумное общество.

— Чтобы стало, как в Ливане, — сказал я.

После этого хозяин беседу прекратил. Зато его заместитель, выходец из министерских верхов и бывший воспитанник комсомола (как много цекамолят моментально превратились в бизнесменов!), который принес своему хозяину самое главное в тонком и полном секретов деле коммерческой информации — связи, иногда перебрасывается словцом: "Это вам не при коммунистах..."

К чему напоминать ему о том, что сколько бы ошибок ни совершили коммуняки, все, чем живет он, построено и основано ими. Сам поработал в молодые годы в Сибири, "на стройках семилетки", знаю, как это создавалось. Помню субботники на строительстве Иркутской ГЭС, когда мы долбили мерзлую землю при свете костров, помню комсомольские авралы на Шелеховском алюминиевом, посты на строительстве ЛЭП. Без денег, с песнями, с консервами, разогретыми на углях, с палатками, мы были тогда одной семьей — и коммуняки, и комсомольцы, и такие безыдейные, как я. Верилось — строим будущее.

Да так оно и вышло. Чем мы живем нынче, откуда в стране доллары и марки, откуда привозная ветчина и масло? Откуда трехэтажные особняки, усеявшие Подмосковье? Это все — нефть, алюминий, электроэнергия; и разворовывают вовсю, и еще остается. Много чего построили мы, что говорить. Они нового, кажется, еще ничего не создали.

Прописные истины, скучно писать и читать.

Я знал, что ответит мне этот бывший министерский работник, чей служебный холодильник забит заморскими яствами. Хорошо изучил философию "новых русских".

— Вот и дураки. Работали задарма, а теперь снова нищенствуете. Умные всегда с деньгами.

Вот так. Вырастили дерево на прахе отцов и дедов, едим плоды, жалуемся, что не такого вкуса, как хотелось бы (а других нет), и бросаем огрызки под ноги. И плюем на прах.

Черный юмор. Черный анекдот.

* * *

Начиналось все величественно и грозно, словно на сцене Большого, когда дают нечто эпическое: "Годунова" или "Хованщину".

В августе 1991-го оказался я в самом эпицентре событий вместе с сыном, и привели меня к Белому Дому и на Садовое кольцо два сложных противоречивых стремления: я сочувствовал людям, которые вышли на улицы против бронированных машин, а с другой стороны, я не мог не сочувствовать этим бронированным

батальонам, которые, защищая государство и верные присяге, вели себя на редкость миролюбиво и сдержанно.

Государство — это такая штука, вроде зонтика: когда тепло и ясно, оно мешает, а когда дождливо, то приходится кстати.

Все мы, дети войны, попавшие в фашистскую оккупацию, помним и понимаем, что такое государство и что такое армия. У нас тогда одна надежда была: что после дней паники, бегства и развала наше государство и армия выдержат, окрепнут и придут на помощь. И они пришли. У нас сердце заходилось от радости при виде возрожденной русской мощи.

Но я не о том. Когда уходившие в казармы "бэтээры" были с помощью поливальных машин и троллейбусов наглухо заперты в тоннеле и заметались там под градом грохочущих о броню камней (спасибо им, запуганным провинциалам-солдатикам и офицерам, — огня на поражение не открыли, как понадеялись тайные устроители "операции"), то среди людей, умело командовавших этим действом, целью которого было вызвать жертвы среди мирного населения и устроить "кровавое воскресенье", выделялся один очень оперный господин — в безрукавке и танкистском шлеме, с бицепсами культуриста: как бы представитель армии, перешедший на сторону "народа".

Конечно, я теперь понимаю, что он был лишь актером, а режиссеры скрывались в толпе с мини-рациями.

На следующий день этот молодой человек повел колонну к центру, где состоялось главное действо — повал памятника Дзержинскому.

Надо сказать, Феликса Эдмундовича я не люблю и не думаю, что стоило менять знаменитый лубянский фонтан-поилку для извозчичьих экипажей на бронзового Феликса. Но когда памятник стоит, он уже достояние истории, и он должен стоять. Иначе получается штуковина, известная нам по истории погибели древнего Рима и называемая вандализмом.

Культурист в шлеме (интересно, в какой банк он попал учредителем?), командуя в свой карманный говорильничек, очень быстро организовал свержение Феликса, начав, как водится, с головы. Зеваки, которые составляют основную долю участников любой революции, даже капиталистической, ликовали. Вскоре человек в бронзовой кавалерийской шинели до пят был повален. Он, как и при жизни, оставался несгибаемым, — он просто рухнул.

Но история не зря любит шутить.

Начался великий повал бронзы на местах и отправка ее как дорогостоящего металла через независимую Прибалтику в еще более независимые страны. И к деятельности Эдмундыча это уже не имело никакого отношения. Разве что ОБХСС, если бы воскрес или заинтересовался, интересным стихийным явлением.

В Крылатском, к примеру, тут же свалили бронзовую женщину — мамочку у детской поликлиники. Надо сказать, коммуняки проклятые поставили в микрорайоне немало бронзовых скульптур — для эстетического воспитания и для радости переселенной туда научно-технической бедноты. И скульптур самых высоких достоинств, настоящих произведений искусства, выполненных первоклассными мастерами. Ведь эпоха женщин с веслами уже безвозвратно ушла.

Крылатское украсила группа талантливейших скульпторов, и расходы на эту работу составили сотни тысяч (по-нынешнему миллиардов).

Бронзовая мамочка у детской поликлиники — кстати, поликлиник в Крылатском настроили столько, что теперь и коммерческим организациям площадь перепала, — представляла изображение беременной женщины, а вместо животика был как бы пустой телеэкран, а в нем фигурка младенца, ждущего выхода на свет.

Ультразвук в металле.

Очень-очень талантливо была сделана мамочка. Сначала ее, несмотря на девятый месяц беременности, повалили в снег — видно, оттащить не было сил, а потом она и вовсе исчезла. Не думаю, чтобы жители Тарту или Риги поместили ее в одном из своих скверов.

Потом наступила очередь мальчика с лосем. Изящный такой мальчик в натуральном виде, с пипочкой, а у ног его лежащий огромный лось.

Тоже близ поликлиники — другой.

Лося свалить не могли, он мощный и приникший к постаменту, а вот мальчика свалили.

Наверно, думали: вдруг это будущий Феликс Эдмундович?

Не думаю, что и лось долго пролежит, найдутся специалисты и по лежачим. Культурист в шлеме научит.

Придет очередь девочки на шаре у высотных домов. Доберутся, чего доброго,

и до метро, вестибюли которого все те же мастера украсили фигурками летящих над залом юношей и девушек (Крылатское все-таки!).

Такой вот бронзового века анекдот.

* * *

Печальный анекдот. Слабонервных просят не беспокоить свое воображение. Главка из "Энциклопедии экстремальных ситуаций".

Сейчас многие газеты, проявляя заботу о читателях, публикуют такие "энциклопедии". Специалисты рассказывают о том, как молоденькой девушке отбиться от пятерых насильников в лифте, как обнаружить взрывное устройство в машине, стоит ли обращаться в милицию, если требуют выкуп за ребенка, и что делать, когда ваш телохранитель опаздывает, а на работу надо ехать...

Не думаю, что большинство советов касается нас с вами, читатель. Вряд ли мы окажемся под угрозой приводнения при полете на Канарские острова, и скорее всего под днище нашего с вами, простите, "Мерседеса" не подложат пластиковую бомбу.

Но есть беда, от которой, говорят, никто не может уйти и которую каждый встречает в одиночку, один на один. Я говорю о смерти как извечной экстремальной ситуации. Встречать косую нынче надо во всеоружии, заранее проведя ряд подготовительных процедур, чтобы ваши близкие не взвыли бы от финансовых затрат.

Таким образом мы касаемся грустной танатальной* темы. Я бы с большим удовольствием поговорил бы о проблемах пренатальных** (рождение, зачатие — тоже экстремальные ситуации), но они все реже беспокоят наше убывающее население. Моя жена, эмбриолог, специалист в этой области, недавно переквалифицировалась в уборщицы коммерческого магазина. Платят в три раза больше. Какие еще нужны доказательства ненужности темы. Анекдот в анекдоте...

Итак, перед лицом разорительных для родственников затрат смело берите дело смерти в свои руки. Приуготовляйтесь. Здесь надо предусмотреть все мелочи.

Какие? Их сотни. Если вы человек с логическим мышлением, то сами разберетесь.

Предположим, вас зовут Пафнутий Железняков. Или Григорий Запорожский. Это плохо. Очень плохо. Почти по двадцать знаков. А каждый знак на надгробии стоит нынче до десяти тысяч. Не дай Бог, если вы при этом почетный гражданин, скажем, города Гусь-Хрустальный и родственники захотят отобразить это ваше звание в последних словах признательности.

Заранее отметайте все лишнее, включая даты прожитой жизни, и берите псевдоним. Пафнутий Железняков — это можно выразить коротко и ясно, скажем: Па Же. Правда, от этого вы становитесь как бы китайцем, но что тут страшного. Тоже ведь люди. И потом — кому надо, разберутся. Уверяю вас, по последним данным тот свет совершенно интернационален, даже более интернационален, чем I, II и III Интернационалы, вместе взятые.

Можно еще короче: ПЖ. — 20 тысяч. Или Ж. — 10 тысяч. А если не выбивать знаки, а писать их черным маркером (9,5 тысячи), как на картонных коробках, то экономия выйдет весьма существенная.

Видите, я вам даю путеводную нить для расчетов. Теперь кратенько о том, на чем пишут. О надгробии. Самое простое, бетонное, тянет на поллимона (500 тысяч). Экономьте. Заранее присмотрите простой фундаментный блок. Но не на заводе ЖБИ, где гнут цену, а за городом. Минуйте на электричке застроенное особняками ближнее Подмосковье и отправляйтесь в те места, где получили участки рядовые горожане.

Вы окажетесь среди там и сям разбросанных кучек бетона и бревенчатого материала, так и не превратившегося в строения. Это ваши трудяги-земляки, размахнувшиеся в былые времена и столкнувшиеся с новыми обстоятельствами, оставили на неудобьях маленькие памятники несбывшимся надеждам.

Найдите хозяина, поторгуйтесь. "А этот блочок у вас не вышел. Косенький, с трещиной... Скинуть бы!" Наседайте — уступит. Ему самому больше одного блока не надо.

Даже с учетом погрузки и перевозки вы сэкономите пару сот тысяч. К тому

---

* Танатос — бог и олицетворение смерти у древних греков.
**Пренатальный — дородовый, эмбриональный.

же блок — лучший памятник. Его не повалят подростки, над ним не станет глумиться хулиганье. Прихватите за городом пару ивовых прутьев. Воткнул в землю — и растут. Озеленяйте свой блочок.

Теперь вы вошли в ход моих практических размышлений и, откинув лишние мысли и чувство жалости к себе, взялись за ручку и счетную машинку.

В следующих выпусках моей личной энциклопедии экстремальных ситуаций я познакомлю вас, читатель, с некоторыми иными деталями приуготовления. Ну, скажем, с тем, как можно постараться не помереть в зимнее время, когда рытье, простите, могилки стоит лимон. Не советую вам при этом заниматься предварительным самокопанием, так как кладбищенский персонал, который, говорят, теперь ездит на иномарках, может принять вас за конкурента и трагически ускорить процесс. Есть также уйма советов по самокремации, когда все расходы ограничиваются канистрой бензина (коммерческая цена 20 тысяч) и вязанкой дров.

При этом получается экономия еще и на Шопене.

Но я не хотел бы загружать вас, читатель, обилием мрачных советов. Вы вошли в ход рассуждений — и вперед!

Есть еще один совет. Важный! Не поддавайтесь разбушевавшейся старухе с косой. Смерть — одна из самых дорогих экстремальных ситуаций. Откупорьте шампанского бутылку (7,5 тысячи) иль перечтите "Женитьбу Фигаро" (4 тысячи). Оставайтесь с нами. Не обогащайте погребальную мафию. И если не хотите считать мою "Энциклопедию" анекдотом, — не считайте. Переходите к следующему — короткому, но тоже чуть-чуть танатальному.

* * *

Мой приятель, доктор химнаук и носитель всяческих званий, в последнее время стал очень редко выходить гулять. Бывало, бродит по кварталу, погруженный в свои химразмышления, а теперь все больше на лестничной клетке встречаемся.

Здоровья он не очень крепкого и посасывает валидол.

— Что, — спрашиваю, — хуже стало? Не выходишь!..

Мотает головой:

— Нет. Просто боюсь на улице свалиться. В "скорой" разденут, увидят рваное белье и худые носки, отнесут к бомжам.

Что тут ответишь?

— И стыдно, — признается он. — Разденут — и вот... Неловко. А так-то костюм и пальтишко у меня ничего. Сойдут. Главное — чтоб не раздевали.

Маленький химический анекдот.

* * *

А теперь — на пренатальную тему. Как говорилось ранее на пирушках, — алаверды.

Кафедра эмбриологии, где работала жена до того, как стать уборщицей, занималась, в частности, исследованием сочетанного воздействия вредных всяких там мутагенов на эмбрион.

Природа — штука удивительная. Так, несколько безусловно ядовитых веществ, соединяясь вместе, — случается — резко снижают свое вредное воздействие на организм. Сочетанное воздействие — не просто сумма качеств, тут вступает в действие божественный механизм защиты. Не всегда, правда.

Исследования этого загадочного механизма ведутся во многих странах. Они очень сложны и требуют современного оборудования и весьма квалифицированного персонала.

Мою жену готовили к такой работе не менее 18 лет. Биологические кружки. Биологическая спецшкола. Два года практики в химической лаборатории. Пять лет учебы на биофаке. Три года практической работы и подготовка к диссертации...

И вот теперь перед лицом надвигающейся нищеты она вынуждена покинуть любимое дело. Развалилась работа и всей группы. Даже подопытные мыши и крысы не выдерживают натиска новых времен: теряется элитность породы, опыты становятся не вполне корректны.

А эмбрионы, ждущие своего часа, чтобы превратиться в полноценных живых существ?

Не нужны никому эмбрионы.
Страна сделала коллективный аборт.

* * *

Зубной анекдот.

Частенько мы, интеллигенты, восхищались иностранными улыбками. "Вот у них вставляют зубы — это да! Фарфор да металлокерамика. А у нас? Железяки да пластмасса!"

Приехала и к нам металлокерамика. Передовая технология.

Пришел к врачу, давнему знакомому, вставлять зубы. Мостики там, фасетки...

Новые кресла, яркие этикетки, светлые занавески. Прелесть!

Посмотрел он, обсчитал.

— Восемь единиц, — говорит. — Итого восемьсот зеленых.

Я, видимо, побелел. Или позеленел, не знаю. Только он тут же предложил воды из одноразового стаканчика и утешил:

— У нас по-божески. По сто за единицу. У Петрашевского по сто сорок.

— Сережа, — спрашиваю, — а ты бы себе какие вставил?

— Я бы... — замялся он, — по причине детей, пожалуй, железные.

Господи, на сердце отлегло.

— Сережа, так ты не обидишься? А? Если по-старому — железяки?

— Давай!

И принялся он меня обтачивать своим скоростным бором с водяным охлаждением. На душе у меня радость поет: точи, Сережа, сколько хочешь, только ставь нержавейку. Ну, улыбаться буду пореже. Но внутренне-то буду ликовать. Сколько колбасы для детей, сколько молока куплю — на сэкономленные.

А что американцы призывают почаще улыбаться — так оно теперь понятно. По оскалу сразу можно определить, сколько зарабатываешь, чего стоишь.

Технология — она не для всех.

* * *

Наше правдивое, объективное телевидение...

НТВ показывает так называемую встречу Президента с творческой интеллигенцией. Интеллигенция представлена довольно странно. Здесь много третьеразрядных публицистов, но нет, скажем, Солоухина, Глазунова, Бондарева. Комментатор поправляется: "демократической частью интеллигенции".

Представляете себе учебник литературы без Гоголя, Лескова, Достоевского, заклейменных "демократической прессой"?

Что, Глазунов обслуживает аристократию? Отчего же простой люд ломится на выставки?

И вот на этой встрече выступает писатель, которого любил и уважал за прекрасные военные повести — давно, правда, были они написаны, но были! Григорий Бакланов громко, на всю страну, спрашивает у Президента, до каких пор правительство будет терпеть надписи у Белого Дома? Типа: "Грачев, куда подевал трупы?"

Президент и окружение удовлетворенно кивают: да, мол, безобразие.

Понимаете ли, демократического писателя беспокоят не трупы, не погибшие, не слезы вдов и матерей, не правда о происшедшем, а надписи на бетоне.

Словно бы он работник коммунальных служб, требующих чистоты. А надписи на заборе делают не страдающие люди, а залетные хулиганы.

"Все мы выросли из гоголевской "Шинели"? Нет, не все.

Позорище, анекдот.

* * *

Вот забавно! Лет эдак тридцать пять не ходил ни на какие демонстрации, тем более ноябрьские. Претили мне эти хорошо организованные шествия "представителей районов", показное ликование при виде старцев в шляпах и папахах на Мавзолее.

В этом году, 1994-ом, взял да и поехал на Октябрьскую площадь. Денек был легкоморозный и светлый. Собралось народу не так, чтобы очень много. Какие-то скромно одетые работяги-умельцы свинчивали складные, как удилища, древки знамен из легкого и прочного сплава. Простуженно дудел оркестр из мальчуганов,

пели репродукторы на крыше автобуса — пели песни о могучем некогда народе.

И пошли мы к Лубянке. Шли несколько колонн ("левые" коммунисты, "центристы" и еще Бог знает какие), а между ними образовывались просветы, в которых группками и по одиночке следовали такие вот беспородные интеллигенты, как я.

Знакомились на ходу, улыбались друг другу, как давним друзьям, махали людям в окнах.

И такое было чувство праздника, единения, братства, что мне хотелось сказать: спасибо вам, коммунисты, те, кто не предал свои идеалы, не выбросил партбилеты, кто остался верен себе. Спасибо вам, немногим оставшимся от гигантской армии. За праздник души спасибо.

Теперь можно жить и дальше, зная, что не все продаются.

Вот что бывает, когда лет тридцать пять не ходишь на праздничные демонстрации. До сих пор я чувствую бодрящее прикосновение холодного воздуха к щекам и слышу оркестр мальчиков.

Маленький анекдот приключился со мной, закоренелым беспартийцем.

* * *

Приезжаю на братскую когда-то Украину и еду, естественно, на студию имени товарища Довженко, который и при коммунистах умудрился сделать немало хороших картин и даже заслужить мировое признание.

Интересно проверить, как расцветают теперь его ученики, вырвавшиеся в царство свободы.

Для меня на студии всегда звучит как вечная фонограмма смешок безвозвратно ушедшего Леонида Быкова, скороговорка Лени Осыки, басок Коли Миколайчука.

Но вот — тишина. Пустота и тишина, особенно непривычная в гигантских съемочных павильонах. Что-то, знаете ли, из "Марсианских хроник" Брэдбери.

Прохожу по коридору с кассами, где всегда толпились отъезжающие на натурные съемки группы и звучал смех (выдача денег все-таки!). Мимо бывшего парткома. Когда-то, указывая на табличку, известный молодой режиссер сказал мне: "Вот покончим с этой конторой и заработаем как следует, пойдет настоящее кино".

...Мертвая тишина на студии, только в знаменитом довженковском саду шелестят листья.

В столярном цехе сидит знакомый старый мастер в комбинезоне и ест из стеклянной банки какое-то холодное домашнее варево.

— В столовку нынче не пойдешь, — поясняет он с некоторым смущением.

— А где все?

Он только машет рукой. Столяры, как это известно еще из рассказов Чехова, народ немногословный.

Наконец под плакучими ивами у так называемого павильона Довженко замечаю группу людей и среди них — нескольких знакомых. Рядом автомобили, автобус. Значит, снимают все-таки что-то, ще не вмерла Украина.

— Так вот где жизнь кипит! — кричу я редактору Володе Ч.

Он прикладывает палец к губам.

— Оглянись!

Оглядываюсь — и вижу прислоненную к серой стенке крышку гроба.

— Только на похоронах теперь жизнь и идет, — шепчет мне Володя. — Вот режиссера ховаем, сорок три было парню. Мрут люди от безнадеги, от нищеты.

Стоим мы, склонив головы. Режиссера я не знаю, но жаль парня.

— А студия как? — спрашиваю.

Володя молчит.

Грустный, однако, анекдот...

* * *

Против свободы кто будет возражать? Особенно против свободы торговли. В России всегда любили торговать, и я сам люблю оживленные рынки, где можно купить то же, что в магазине, но дешевле.

Еду в поезде в одном купе с представителем свободной торговли, "челноком". Естественно, бывший инженер-проектировщик, когда-то канатные дороги проектировал. Отменили канатчиков за ненадобностью.

— Да оно и лучше, — признается “челнок”. — Надоело за кульманом, свободы глотнул, мир посмотрел. Я сначала собаками занялся, у меня давний интерес. Я — пойнтерщик. Перешел на булей. Потом на карликовых пуделей. Их, знаете ли, до сорока щенков в коробку помещается. Конечно, отсев был, но из каждой поездки куска полтора привозил. Чистыми.

— Далеко ездили?

— В Калининград, а дальше свободным путем в Польшу. В Варшаве, в Гдыне рыночки, куда бундесы за собаками валят, франки, бельгяши. Наши собаки по качеству не хуже забугорных, но дешевле. Конечно, по дороге ветеринарному надзору дашь, таможне, собачьей мафии...

— А есть и такая?

— А как же. Тоже собачатники, их не проведешь.

— Так что дело идет?

— Да нет, таможен понастроили, стали придираться. На шубы греческие переключился. В бизнесе, знаете, надо нишу свою отыскать, пока не закрылась.

— Но здесь-то все пошло?

— Да оно бы ничего, но сексуальная революция вовсю развернулась, полная свобода слабому полу, а нам от этого нехорошо...

Я замолкаю. Тема начинается личная, расспросы неуместны. Но он сам возбужден и хочет выговориться.

— В дороге жизнь нелегкая. Это не в проектном, по звоночку, мыло в туалете, винегретики, гороховые супчики, рыбные дни... Короче, врезала меня дизентерия, а потом гепатит, зараза. Все на ногах, под лекарства. Бизнес бросить нельзя: сомнут. Тем более, среди нашего брата и врачей полно, особенно со “скорой”. Подлечивают в пути. Но как-то поувял я... вроде выжил, но хожу, будто кто под дых дал. Как-то сел в Афинах на улице и сижу — думаю, помру сейчас и захоронят меня в Греции. Кто-то даже драхму бросил на колени. Приезжаю домой — опять-таки я не человек. А жена у меня молодая, симпатичная, науку бросила, в коммерческую фирму устроилась, а там ресторанчики, букетики, по вечерам совместные просмотры порнухи, ги-ги-ги да га-га-га. Сам когда-то такой был, понимаю.

“Челнок” достает из кармана пачку с транквилизаторами, жует таблетку, запивая пивом.

— Короче, завела мне жена дублера, своего начальника. Я в Грецию, они в постельцию, такие пошли экскурсии. Ну, я, как интеллигентный человек, к ней с расспросами: ты мне зачем тут внеплановую вязку устроила, сука, или я тебе прикиду не обеспечиваю, плохо упакована или что? Она мне в ответ лекцию: мол, жизнь проходит, а женщина, как объясняет литература, состоит из клитора, титек и прочих эрогенных зон, которые надо постоянно ублажать, а то иначе нарушается психика. И действительно: купишь в метро газетку с голой красоткой, а там такой текст заворачивают... Раньше хохотал, а тут не до смеха. В общем, разошлись мы, Митька теперь в саду, Иринка в Тобольске у тещи, полная свобода...

Он морщится.

— А мне еще и пиво нельзя пока... А на газетки эти, на порнуху глядеть не могу. Хуже того, от баб вообще воротить стало. Как идет какая-нибудь современная, со смелым взглядом, независимость на жопе написана, так просто подступает к горлу — вот-вот блевану, как скотина. Ради кого я мучаюсь, ты скажи, а?

Что я ему скажу? Он ее любит, ясно, а возврата нет — гордость не позволит. Как разобраться в этой драме? Легче ли станет ему от банальной истины, вдруг открывшейся мне, что пропаганда открытого секса — старая уловка богачей, старающихся отвлечь молодежь от мыслей насущных. Молодежь — порох, страсти ее надо направлять в сторону от социальных проблем.

Свобода — крутая баба, с ней не пошутишь. Иначе — анекдот...

* * *

Много и всерьез занимался историей Великой Отечественной.

Неожиданно после изучения изрядного числа книг и документов, бесед со знатоками мне открылась новая роль бывшего летчика и рейхсмаршала Германа Геринга в восточной политике гитлеровского государства.

Вообще-то восточной политикой занимался не он, было много других деятелей и специалистов, прежде всего Розенберг и Риббентроп. Но их, теоретиков,

отодвинули в сторону могущественные практики — Гиммлер, Геббельс, и прежде всего сам фюрер.

Геринг, кроме авиации, любил заниматься еще всем понемногу. У него было с дюжину официальных должностей. Так, был он президентом Пруссии и оберлесничим рейха (очень любил тирольский наряд — шляпочку с пером, кожаные шорты, гетры...). И считал, с высоты этих своих должностей, что русские земли, изобилующие лесами и наиболее близко расположенные к Пруссии, должны подчиняться и ему. По этому поводу он составил несколько памятных записок.

Он, в частности, требовал присоединения к Пруссии и выдачи в его полное распоряжение Беловежской пущи, так как она, занимая центральную позицию на востоке будущего нового рейха и являясь прекрасным охотничьим хозяйством, "послужит местом для важных международных встреч".

Вдаль-то как глядел!

Выступал он и против осушения болот в Белоруссии, чтобы не нарушить естественный баланс "в существовании животных, растений и людей". Мы бы сегодня сказали — экологом был авиатор.

Но самое интересное — это его позиция по отношению к населению подведомственных ему в скором будущем земель. Гитлер, Гиммлер и Геббельс были за срочное истребление "излишков" русского населения (под "русскими" понимались и белорусы, и украинцы).

Геринг же отличался некоторым гуманизмом. Недаром Гитлер, когда клевреты жаловались на склонность рейхсмаршала к пирам и роскоши, на тайные реквизиции им ценностей из европейских музеев, отвечал: "Что ж делать, его нельзя трогать, он человек эпохи Возрождения". Стало быть, как человек Ренессанса, Геринг не мог не быть "немножко гуманистом".

Он считал средством подавления русского потенциала не быстрое физическое уничтожение ненужных особей, а "подрыв биологической силы", что означало прежде всего резкое снижение рождаемости и изменение генотипа.

Геринг требовал всемерного поощрения абортов и пропаганды секса как средства, отвлекающего от нормальной семейной жизни и деторождения. Далее он требовал создания таких условий, при которых все силы отдельного человека и общества уйдут на добывание хлеба насущного, чтобы человек меньше всего думал о рождении, воспитании и образовании детей, о собственной истории и уж никак не хотел бы задумываться о "русской душе". Следовало уничтожить русскую духовность, патриотизм, склонность к философскому осмыслению бытия.

Геринг рекомендовал отодвинуть русских в сферу примитивной торговли немецкими товарами, что, во-первых, поднимет германский престиж, во-вторых, опустит народ до уровня мелких и малообразованных лавочников.

Мы бы сказали иначе: "мелких дистрибьютеров".

Незначительной части русских, процентам пяти, проявивших явную склонность к сотрудничеству и подчинению, Геринг предлагал предоставить те же блага и свободы, что и немцам, — в частности, свободу передвижения по свету, — поднять их до уровня немецкого благополучия и немецких возможностей. Эта самая активная и самая богатая часть населения (мы бы сказали "новые русско-немецкие") должна была явиться генератором германизации, влиять на идеологию соплеменников и формировать ее. Таким людям дозволялось бы иметь большие семьи и обучать детей за рубежом, чтобы снизить "потенциал русского духа".

Очень интересно звучат сегодня предложения господина обер-лесничего.

Как исторический и в то же время свеженький анекдот.

И по общей сумме несоизмеримое.

Почему же никак не удается поймать за руку воров и мошенников? Почему все опять возвращается к запросам о "миллиардах КПСС" или о "миллионах Руцкого", якобы запрятанных в швейцарских банках?

Да потому, что поимка настоящих крупных ворюг войдет в противоречие с основными задачами нового российского государства и правящей элиты.

Эти задачи один из политиков "новой русской формации" — кулуарно, конечно, — определил так: "нам важно л ю б ы м п у т е м и как можно скорее создать прослойку очень богатых людей, не раздумывая о том, кто они, бывшие чиновники или партократы, военные или теневики, некогда преследовавшиеся в уголовном порядке.

Они своей мощью, своими миллиардами будут определять общую политику

и идеологию и таким образом прокладывать дорогу к новому обществу, где будет господствовать частная собственность".

Так что, читая об аферах и разоблачениях, мы с вами присутствуем в театре теней. Настоящих актеров, их лиц мы никогда не увидим.

* * *

Слава те, Господи, кончилась война мышей и лягушек. Журналистов с писателями. Я, когда был председателем приемной комиссии у писателей, наелся этих радостей. Напишет человек с десяток фельетонов — и заявление в СП. Примите, мол, ввиду явного таланта. И журналист способный, ничего не скажешь, но зачем же ему в другой цех? Есть плотники, есть столяры, одни дома ставят, другие мебель фуганят. Какой спор?

Потом, если журналиста не принимали, появлялись какие-нибудь статейки: мол, в "министерстве литературы" засели динозавры... "МК" как-то меня литчиновником обозвал, хотя я никогда не служил.

Считалось, у писателей и трубы повыше, и дым погуще.

Сбили трубу. Теперь у писателей вместо знаменитого ресторана с дубовым залом — эдакий предбанничек, где кормят их, малоимущих, худосочными комплексными обедами со скидкой. Иногда через предбанничек проносят салат в дубовый зал, где обедают коммерсанты. Хорошие такие салаты проносят, пробуждающие у мастеров пера творческие воспоминания о прошедших днях. Поглядел — и сразу бросайся писать "Темные аллеи". "Была Россия, были звоны..."

А брат-журналист пошел в гору и теперь в СП не рвется, разве что из коллекционных соображений. Во-первых, у него твердая зарплата. Во-вторых, законные комиссионные, или, как говорили в старину, чаевые, позволяющие пообедать в дубовом зале и без творческого билета.

Свобода — действительно крутая тетка: одних обходит, других зацеловывает.

Журналистам с поцелуйчиками повезло. Знаю, что говорю. Сам в бытность издательским коммерсантом подписывал липовые расходные статьи. Ехал бойкий коммерческий директор в редакцию газеты, скажем, "Распоследние и правдивые вести" или на ТВ и вез поросенка в бумажонке. Ну, такой конвертик с благоуханием купюр. Мол, так и так, талантливейший и честнейший вы наш, не забудьте упомянуть про наше изделие, которое прямо-таки по всем статьям превосходит зарубежные аналоги.

И не забывал талантливейший.

Я, конечно, не про всех говорю, сам факультет журналистики кончал и знаю немало честнейших ребят, особенно из бедных изданий. Это я про "новых русских", которые завелись и в популярной прессе, и на ТВ.

В банке не раз приходилось видеть вырезку из газеты, а на ней росчерк управляющего: "Выплатить 900 долл." Такой гонорар дополнительный с черного хода. Спонсорство, из секретных фондов.

Сейчас каждый президент банка или директор уважающей себя фирмы содержит в целом ряде изданий своих людей. Их, как хороших агентов, используют редко, но по делу. Может, так и надо? Может, это и есть новый подход к свободе печати? Каждому президенту по резиденту.

Такие вот картинки из жизни нашей свободной печати. Раньше, известно, она была совершенно не свободная, а теперь вот видите — есть выбор. Можно дать больше, а можно и поторговаться.

Так что журналисты в Союз писателей не торопятся. Кончилась война. Полнейший гражданский мир.

В чем соль анекдота? А в том, что соль в столовке для нуждающихся писателей — единственный дешевый продукт... Пока.

* * *

Пишу эти строки, а сам слушаю по радиостанции "Маяк" захлебывающийся голос диктора, восхваляющего какую-то новую замечательную компанию "Демидовы". Мол, компания унаследовала от Демидовых их лучшие качества, — это рачительные хозяева были, превратили Урал в цветущий край, облагодетельствовали своих рабочих и прославились благотворительностью.

Ложь.

Почитайте Мамина-Сибиряка — "Приваловские миллионы" и другие его

вещи об Урале и Демидовых. Да, кое-кто из них переписывался с Вольтером, основывал училища, дарил картины, строил мосты в Петербурге. Но при этом Демидовы нещадно эксплуатировали своих рабочих, издевались над ними, секли и штрафовали. Демидовские работяги, талантливейшие мастера, были одними из беднейших на Урале.

Анатолий Демидов, разорив своих служащих и рабочих, истратил миллионы отнюдь не деревянных рублей на приобретение высокого титула и купил для этого целое княжество Сан-Донато в Италии. Стоимость перстня, подаренного им своей невесте, племяннице Наполеона I и дочери Жерома Бонапарта, Матильде, превышала стоимость трех новых больниц или богаделен для рабочих. Этот "рачительный" Демидов пустил на итальянские и французские ветры богатства российского Урала.

И вот эти-то Демидовы, как утверждает наше радио, национальная гордость России? Не Урал, выковавший целые танковые корпуса и обеспечивший победу над фашизмом, не Уралмаш и Магнитка, а князья Сан-Донато?

Анекдот!

* * *

Очень много мы переводим. Прорвались к культуре. Посмотрите: на лотках целые серии любовных романов, детективов, вестернов. "Жрица бога Эроса". "Самый страстный любовник". "Мозги об стенку".

Казалось бы, должны торжествовать переводчики. Есть такой цех замечательный: "Объединение переводчиков" в СП. Раньше собирались, обсуждали, высказывались нелицеприятно: "Э, батенька, слово "калидус" с языка племени лубу вы перевели как "помешанный", а надо бы "потерявший рассудок".

Вот так-то. Самое грамотное объединение было в СП. И взыскательное. С вступающих в СП они требовали представить сто листов переводов. То есть почти две с половиной тысячи страниц. Опубликованных и отрецензированных. Это вам, знаете ли, не поэты, где за десяток стихотворений, написанных "под Есенина", можно было проскочить в писатели со знаком вечно подающего надежды на челе.

Наша школа перевода была лучшей в мире.

Да, кому-то в нашу пору не повезло, а вот у переводчиков работенки должно быть досыта. Правда, недавно встретил одного переводчика с фарси, торгующего книгами с лотка. Ну, думаю, случай, просто не повезло мужику: персы нынче после Хомейни ни детективов, ни эротики не пишут. А остальным-то работенки!

Но, как выяснилось, не оправдались эти надежды...

В коммерческих издательствах "Жриц Эроса" переводят в основном тещи, свояченицы, сестры и близкие приятельницы генеральных, исполнительных и коммерческих директоров. "Моя Тюлечка, знаете ли, перевела вчера с американского огроменный романище. Там, понимаете ли, шесть красоток в чем мать родила попадают на необитаемый остров, где уже живут семь матросов с потерпевшего крушение корабля. Тоже, разумеется, в чем мать родила. И вот седьмой, оставшийся ни с чем, начинает такое!.. Сюжет, а?" — "А когда же это Тюлечка изучила амери... английский?" — "Природный талант прорезался! В прошлом месяце нанял ей профессоршу из Колледжа всех гуманитарных наук, так та просто ахнула: чувство языка, говорит, природное!"

И переводят свояченицы, и выплачиваются им фантастические гонорары, и читаешь потом перлы вроде: "Джорж извлек из своих штанов огромный Смит, а затем Вессон..." Или: "Леонарда упала в объятия Билли, взывая его к тому, что не видит без него жизни".

Мы, к счастью, видим жизнь и без Билли. Не взывая. Но Дама Коммерция не может падать в объятия, иначе как "взывая о том".

* * *

Кинематограф — оплот новой демократии. Не весь, конечно, не отдельные режиссеры и актеры, страдающие от творческого и гастрономического недоедания, а кинематограф как здание. Тут все зависит от того, находитесь вы внутри здания или снаружи.

Внутри здания вы запросто можете увидеть адвоката Макарова — и не в роли обвинителя, как вы к тому за последнее время привыкли, а в роли поедателя котлет по-киевски. Здесь же и Глеб Якунин с крестом на шее. Можно подойти и

поцеловать ручку, если очень хочется. Тем более, что поцеловать любимую актрису — это менее доступно.

Тут же бойкие молодые люди, то и дело улетающие за рубеж за счет каких-то фондов и живущие неизвестно на что, но живущие хорошо и весело. Они пьют бочковое пиво "Холстен" и рассуждают о достоинствах отдельных фильмов и отдельных марок компьютеров.

Основная же масса актеров и прочих тружеников важнейшего из искусств переместилась на собственные кухни или в лучшем случае в пельменные.

Недавно известный режиссер, автор реалистической "Криминальной революции" и фантастической "России, которую мы потеряли", устроил для них акционерное общество. То есть такое общество, которое предполагало справедливый раздел накопленного кинематографистами имущества и творческого капитала.

Собрали их, голубчиков, в Киноцентре, чтобы объявить новость, и приперли они густо — "на халяву". И я в том числе. А в зале по поводу торжественного случая выставили официантов со столиками, и на столиках как дар ресторана тарталеточки, пирожные, шампанское и коньяк дореформенного розлива. С пятидесятипроцентной скидкой. Предполагалось, что такая благотворительность повысит чувство оптимизма у мастеров экрана.

Ходили эти великие, известные всей стране мастера по залу и разглядывали официантов, бутербродики и бокалы. Только один осмелился подойти и хряпнуть, как в старину, рюмаху темно-желтого. Смелость его и расточительность были встречены общим восхищением. Потому что глубины карманов у великих не хватало и на половинную стоимость.

А вскоре лопнуло и акционерное общество, так как выяснилось, что все добро и так уже поделено, но не между великими и равными, а теми, кто успел прихватить.

Зато в памяти остались строгие и вытянувшиеся в струнку официанты из знаменитого ресторана, которые глядели на несмеющих подойти к столикам заслуженных и народных, как пингвины глазеют на пароход.

Такие вот анекдоты...

Сколько их в нашей жизни: каждый мог бы выступить в роли рассказчика. И не потому, что мы ретрограды, не признающие обновления жизни. Да кто ж против перемен? Тем более, что не все в нашей жизни огорчает. Если, скажем, изменившие или вынужденные изменить призванию врачи, инженеры, мэнээсы, которых мы вывели в нашем социалистическом бесплатном инкубаторе огромное количество, превращаются в продавцов и директоров фирм, то кто против? Не навечно же наша недоразвитая торговля должна была находиться в подчинении у хамов и полупьяных теток.

Пусть пекут пироги и чинят велосипеды.

Только непонятно, зачем для этого надо было рушить социализм? До основанья... а затем? Неужели китайцы настолько умнее нас? Впрочем, наверное, умнее, они конфуцианцы.

Когда делаешь электролит, надо знать, что куда лить: воду в кислоту или кислоту в воду. Чтоб не брызнуло в драгоценное лицо. Хотя смесь, по сути, одинакова.

Мы тоже могли получить нужную смесь. Но решили устроить маленький Везувий из кислоты. С социализмом же надо было поступать еще осторожнее, потому что это не лабораторное изобретение, а учение и практика, рожденные жизнью.

Мы же все сваливаем на кучку зловредных алхимиков.

Кампания клеветы и уничтожительные нападки на все, что дал нам социализм, породили не новое общество-великана, а карлика с горбом. Был у нас такой именно социализм, который отражал в себе нас с вами — и наши лучшие порывы, и нашу темноту, и наши заблуждения. Лучшие его искорки остались в наших сердцах и ждут своего часа. Не то ли происходит у венгров, поляков, немцев, всех, кто пошел по нашему пути, — вначале нам казалось, что по нашему же принуждению, а теперь получается, что и по своей воле.

Была великая эпоха социализма, и в ней, как в жизни каждого из нас, были и темные провалы, и светлые блики. Эпоху эту не сотрешь, как, скажем, не сотрешь эпоху Ивана Калиты или Петра Первого, хотя там мы тоже найдем немало того, что способно вызвать возмущение.

Это наша история, наша душа.



АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

ПОНЯТЬ ГЕРМАНИЮ — ПОНЯТЬ РОССИЮ

"В 1945 году они пришли как победители и оккупационные державы в Берлин" — так оповещает рекламный проспект музея трех западных союзников, недавно открытый в Берлине (Целлендорф). О русских ни слова, как будто не они брали фашистскую столицу; как будто взвился над рейхстагом не русский, а американский флаг, англичане бились за рейхсканцелярию, а французы из походных кухонь кормили голодающих берлинцев. Так переписывается история. В духе холодной войны.

Мне вручили рекламный проспект на конференции, посвященной культурной ситуации в Берлине после войны, организованной Французским культурным центром и Немецким историческим музеем вскоре после ухода наших войск из Германии в начале сентября 1994 г. Рабочими языками конференции считались немецкий, английский, французский. Русские чувствовали себя бедными родственниками. Доминировали американцы, поносившие русских. Особенно старался некто М. Ласки, бывший военный историк седьмой американской армии. В эскападах г-на Ласки я почувствовал недобрую тенденцию: столкнуть два великих европейских народа. Между тем, Россия и Германия, как свидетельствует история, обречены на взаимодоверие, взаимопонимание, дружбу.

Я люблю Германию — ее культуру, природу, язык, людей. Германист по образованию, германофил по воспитанию, я остро переживал войну немцев против моего народа — величайшую трагедию времени, тяжелые последствия которой ощущаются и поныне. Я воевал с немцами, я прожил в Германии многие месяцы (в разное время); свои знания, свои впечатления я изложил во многих статьях и очерках. Настоящие заметки продолжают тему.

Колонна победы

Колонна победы (Зигесзойле) была сооружена в память франко-прусской войны и основания империи Гогенцоллернов. Долгое время она стояла возле рейхстага, в конце тридцатых годов ее перенесли на Шарлоттенбургское шоссе (ныне — улица имени 17 июня), где высится она и теперь, привлекая внимание каждого, кто едет из Восточного Берлина в Западный. На солнце она сверкает позолотой, которой покрыта венчающая ее крылатая богиня ("Золотая Эльза"), символизирующая сегодня мирное процветание народа, "перековавшего мечи" на орудия производительного труда.

Проиграв войну, немцы выиграли мир. Разгромленная полвека назад на полях сражений, раздавленная, расчлененная на зоны оккупации, Германия являет сегодня (взору иностранца особенно) обетованный край, тонущий в изобилии, стонущий от правопорядка, гордый своим хозяйственным могуществом и самой твердой в Европе валютой. Зигесзойле — символ достигнутой победы.

А ведь было время, когда над Колонной победы нависла смертельная угроза. Как в свое время Гитлер, сокрушивший Францию, пожелал подписать капитуляцию в том самом вагоне, где в 1918 году маршал Фош продиктовал свои условия победы над немцами, так и в 1945 году французы, придя с победителями в Берлин, захотели уничтожить все, что напоминало об их прошлых неудачах. Был разрабо-

---

ГУЛЫГА Арсений Владимирович родился в 1921 году. Окончил Московский государственный университет. Доктор философских наук. Автор книг "Гегель", "Кант", "Шеллинг" и др., а также многих публикаций в периодической печати. Живет в Москве.

тан технически безупречный план взрыва Зигесзойле, чтобы она рухнула на виду выстроенных союзных войск, не причинив никому вреда. Но Зигесзойле находилась не во французском секторе оккупации Берлина, для ее уничтожения требовалось согласие всех четырех держав-победительниц.

Вопрос рассматривался на заседании комитета по делам культуры межсоюзной комендатуры. Мне довелось работать в одной из подкомиссий этого комитета, считалось, что у меня возник опыт общения с союзниками, и однажды меня посадили на заседание самого комитета. Кто был там до меня, я так и не узнал; инструктировавший меня начальник сам имел приблизительное представление о работе комитета. Наставляя меня, он разговаривал по телефону, по каждому вопросу советовал мне "для ясности" переносить решение на следующее заседание. Последний пункт повестки дня — судьба Цейхгауза на Унтер-ден-линден. "Здесь все ясно", — сказал начальник и махнул рукой, будто саблей хотел отрубить голову. "К чертовой матери", — добавил он. И снова начал что-то говорить по телефону.

На заседании комитета председательствовал француз, который обстоятельно изложил все детали будущего взрыва Зигесзойле. Англосаксы скучали. Я выступил последним и сказал, что советская сторона не готова к решению вопроса и просит перенести его на следующее заседание. Француз был недоволен и что-то проворчал о некомпетентности русского коллеги, который саботирует работу и т. д.

Заседание шло к концу. Последний пункт — о Цейхгаузе (оружейной палате). Тут я заговорил первым: здесь все ясно, Цейхгауз надо взорвать ("К чертовой матери", — вспомнил я слова инструктажа, но, разумеется, не произнес их). Взорвался француз: русские не позволяют уничтожить никому не нужную груду камней, а сами хотят снести неповрежденное здание, которых и так мало осталось в Берлине. Теперь, наконец, до меня дошло, что "к чертовой матери" относилось не к самому Цейхгаузу, а к хранящейся в нем коллекции оружия, я хотел было поправиться, но француз закрыл заседание: англосаксы спешили на ленч.

Вечером меня вызвали к генералу. Свет выключили в тот день рано, я лежал на диване, смотрел в темное окно. Вдруг вижу: луч прожектора пробегает по потолку, автомобиль с дополнительной вертящейся фарой был только у коменданта города, в доме из русских я живу один, телефона пока нет, наверно, ищут меня. Подошел к окну: прожектором освещен номер дома, из машины выходит адъютант генерала. Я к нему навстречу.

— Мы за вами, немедленно к Котикову!

В приемной ждут военные и штатские, генерал работал по-сталински (по ночам). Меня проводят прямо в кабинет. Генерал Котиков (это был уже четвертый комендант после погибшего в уличной катастрофе Берзарина, после Горбатова, Смирнова) приказал доложить о сегодняшнем заседании в межсоюзной комендатуре.

— Это ты хотел взорвать Цейхгауз? Союзники жалуются, что мы посылаем некомпетентных людей, саботирующих решения. У тебя какое образование?

— Диплом философского факультета.

— Философ? Это хорошо. А ты можешь сделать для офицеров доклад о дискуссии Центрального Комитета по книге Александрова "История западной философии", где выступал товарищ Жданов?

— Если подготовлюсь, то смогу.

— Ты лучше к следующей встрече с союзниками подготовься. Возьми какой-нибудь один вопрос, изучи литературу и высеки их. Они ведь тоже не дюже грамотные. Смотри только, чтобы Колонну победы не взорвали, мне Соколовский об этом специально звонил: не всегда немцам жить под оккупацией, пусть сохранится символ единства страны. А Цейхгауз оставь в покое, он еще пригодится.

Следующую неделю я провел в библиотеках (Дома офицеров и немецкой — "Штаатсбиблиотек"), обложенный учебниками истории. На заседании комитета выложил свою эрудицию. Француз, как и в прошлый раз, говорил о том, что его командование ждет взрыва Зигесзойле, все расходы берет на себя. Я возражал: идея реванша не должна иметь почву, вспомните Версаль, способствовавший приходу Гитлера к власти. Немцам не вечно жить в условиях оккупации, пусть сохранится символ единства страны. Я приводил факты, делал обобщения, намечал перспективу. Председатель (американец) перебил меня:

— Господин капитан, ваша аргументация безупречна, вы убедили меня, я буду голосовать за ваше предложение, но при одном условии: вы немедленно заканчиваете спич. Скоро двенадцать, пора обедать. Если вы сейчас не остановитесь, я буду голосовать "против".

Пришлось умолкнуть на полуслове. Перешли к голосованию. Американец сдержал обещание, голосовал вместе со мной, англичанин поддержал нас. Француз остался в одиночестве. Зигесзойле была спасена. "Ну, где это видано, — ворчал француз, — чтобы оккупационная держава была озабочена государственным будущим завоеванной страны?"

Именно такую претензию я услышал слово в слово от другого француза. Было это уже не на заседании комитета, туда меня больше не посылали, а в подкомиссии по денацификации работников искусств, куда я ездил каждые две недели. Мы составляли там "черные списки" запятнавших себя связью с нацистской пропагандой. На этот раз англичане показали нам фильм "Дядюшка Крюгер" как зловредное антибританское произведение и потребовали наказания его участников. Картина потом шла на московских экранах под названием "Трансвааль в огне", ничего сугубо фашистского в ней не было, а нападение англичан на буров выглядело выразительно. Роль вождя буров Крюгера играл знаменитый Эмиль Яннингс. Фильм кончался сценой в концлагере: буры за колючей проволокой, англичане празднуют победу.

После сеанса англосаксы, как всегда, мгновенно умчались обедать, француз медленно спускался со мной по лестнице. Капитан Боке знал русский и охотно говорил со мной по-русски, когда мы бывали вдвоем.

— Что скажете о фильме?

— Яннингс великолепен.

— Да, вообще там все показано правильно. Ведь концлагеря придумали не немцы, а англичане. Немцы, конечно, подонки. Я удивляюсь вам, чего вы трясетесь над их национальным чванством. Где это видано, чтобы победившая держава была озабочена государственным будущим завоеванной страны? Я имею в виду Колонну победы. Почему вы не согласились ее уничтожить?

— Дорогой Боке, я выполнял приказ.

— Не Котикова, а выше? Из Москвы?

— Не могу знать. Может быть, из Москвы.

Странные люди

И еще одно воспоминание тех далеких времен бередит душу, когда ее волнуют судьбы родного народа. Осень 1946 года. В Берлине участились нападения местных уголовников на русских военнослужащих. Комендант города издал приказ: рядовому составу поодиночке не ходить, офицерам иметь при себе личное оружие, в случае необходимости применять его. Задержанных предавать суду и строго наказывать.

Утром я расписался в прочтении приказа, а вечером (день был субботний) мне предстояла поездка за город, на дачу, к семье. Памятуя о приказе, я взял из сейфа свой "вальтер" и положил его в карман. Автомобиль марки "опель-кадет" принадлежал мне и еще одному офицеру, пользовались мы им по очереди, вместе оплачивали шофера. Янзен, в недавнем прошлом танкист, воевал под Смоленском, был под Духовщиной, где и мне довелось побывать. Я помню немецкую танковую контратаку под Духовщиной, и Янзен помнил, его танк был в ней подбит, он, раненый, еле унес ноги. Потом воевал в Арденнах, попал в плен к англичанам, которые его довольно быстро отпустили домой. И вот он шофер у офицеров русской комендатуры.

Сейчас управляю машиной я, Янзен сидит рядом: он отведет ее в Берлин, чтобы мой совладелец ездил на ней воскресный день. Улицы темные, включаю дальний свет. Вижу, на проезжей части стоит наш офицер в форме, поднял руку. Торможу, на ломаном немецком языке младший лейтенант просит подвезти его до комендатуры района Митте, это нам по пути, я приглашаю его сесть. Говорю, разумеется, по-русски и даже показываю ему свое удостоверение. Почему я в гражданском? Служу в отделе пропаганды, нам рекомендовано носить штатский костюм, даже материал бесплатно выдали — всем одинаковый, "обратно" получилась форма. Младший лейтенант смеется: ему сейчас патрулировать, явись он не в погонах, гауптвахта обеспечена. Вскоре он выходит: комендатура за углом.

Не успеваю я набрать скорость, снова перекресток. Из боковой улицы медленно выезжает "пикап". Я торможу. Я еду по магистрали, он обязан мне уступить дорогу, но этого не происходит, и мы не спеша наезжаем друг на друга. Авария незначительная, но все же беда. Моей вины нет, я выскакиваю из автомобиля выяснять отношения. Навстречу выходит немец. Бог мой, он пьян. Пьяный за рулем, да еще

не соблюдает элементарных правил движения. Я совершаю необдуманный, неправильный поступок: бью его по пьяной физиономии. Он кричит, и сразу вокруг меня возникает толпа. Восемь человек, тоже навеселе, обступают, теснят меня. Я говорю, что я русский офицер, но это только усугубляет дело.

— Герр хауптман, — кричит мне Янзен, — у них железные прутья, стреляйте.

Не могу я выстрелить в подставленные мне груди, применять оружие нет пока необходимости, тем более что рядом патрульный офицер, он наведет порядок.

— На помощь!

Я бегу в ту сторону, где высадили младшего лейтенанта. Вот и он. Я быстро объясняю, что произошло, задержите напавших!

На немцев военная форма подействовала отрезвляюще, их уже не восемь, а четыре. Но младший лейтенант обращается не к ним, а ко мне:

— Предъявите документы!

— Я же вам показывал свое удостоверение; вы упустите немцев, напавших на офицера. Вы знаете последний приказ коменданта города.

А немцев тем временем осталось только двое. Мы идем в комендатуру, входим в здание, немцев младший лейтенант оставляет в вестибюле, а меня ведет к дежурному. Опять проверка документов, наконец дежурный понимает, в чем дело, требует немцев, а их уже след простыл. Меня, слава Богу, вскоре отпускают, и мы с Янзеном продолжаем свой путь.

— Странные люди вы, русские, — говорит Янзен. — Случись нечто подобное со мной в Смоленске, остались бы все восемь лежать на асфальте с простреленными головами. А патрульный офицер добил бы тех, кто еще шевелится.

Почему в Германии победил фашизм, а в России — коммунизм?

Мой ответ прост: фашизм — это гипертрофированное, доведенное до изуверства национальное чувство, коммунизм — полная его потеря, готовность подчиниться любой чужой, антинациональной силе. Русская революция с самого начала (от хитроумного политика Ленина до хитроглупых политиканов Горбачева-Ельцина) была враждебна русскому народу и произошла только в силу его национальных особенностей, вернее вследствие слабости национального самосознания. Россию искромсали территориально, на русских натравили инородцев, сломали стержень русской культуры — православие. И все во имя мифического интернационализма, мировой гармонии. Немцы на эту удочку не клюнули бы.

Немцы — индивидуалисты. Конечно, нет правил без исключения, исключения здесь известны, описаны в литературе, но дело в правиле, которое должно нам объяснить, почему именно на немецкой земле возникла обновленческая ветвь христианства, поставившая во главу угла накопление и личное обогащение. Чтобы понять такое, не нужно штудировать "Протестантскую этику" Вебера, достаточно прожить несколько дней в немецкой семье, разумеется, не в качестве почетного гостя, а на равных, в качестве "своего", которого не стесняются и перед которым не "выставляются". Все это тоже описано в литературе.

Немцы — индивидуалисты. Но нет другого народа в Европе, столь национально спаянного, гордого за свою национальную принадлежность, умеющего ценить и отстаивать свои национальные ценности и права, видеть в другом немце часть нации, часть самого себя. У Достоевского: "Всякий немец, прибитый русским, несомненно считает в лице своем оскорбленною и всю свою нацию. Русский, прибитый немцем, ничего не подумает о своей нации, но зато утешится, что все-таки получил плюху от образованного человека".

Вот и все объяснение насчет фашизма и коммунизма. Фашизм — типично немецкая реакция на "побитую морду" (Версальский мир и экономический кризис), коммунизм — русская готовность подставить свою физиономию, чтобы покрепче врезали. Только чувство собственной неполноценности открыло в России чужакам дорогу к власти. Только в России могла возникнуть милая ленинская теория о "внесении сознания" извне. Русские рабочие, мол, ни о чем другом, как о сытой жизни, мечтать не могут, а вот социалистическое сознание, идею насилия и диктатуры должны "внести" в их тупые головы профессиональные вожди, обученные западной науке.

Ох, как ленинская теория соответствовала духу русской истории. Вспомните призвание варягов. "Земля наша велика и обильна. А порядка в ней нет". Приходите и командуйте нами! Внесите сознание! Возможно, Нестор все это

придумал. Но то, что в голове летописца родилось такое и укоренилось в истории, знаменательно. Нигилист Базаров — из той же "оперы": "Русский человек тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения".

Немцы сначала сложились как культурная общность и лишь затем стали строить единое государство. Это не значит, что каждая часть Германии любуется другой. Баварцы недолюбливают пруссаков ("солдатчина"). А в Берлине я слышал: "Да здравствует Бавария, но... без баварцев!" ("грубый консервативный народ"). Попробуй, однако, предложи учредить суверенитет Баварии, на тебя зашикают — и в Мюнхене, и в Берлине: "Deutschland, Deutschland, ueber alles... (Германия, Германия, превыше всего...") Это ведь не фашистская песня. Это гимн старой, донацистской Германии. И старой Австрии.

Австрия — особая статья. Австрийцы — немцы: тот же язык, те же привычки. От общенемецкого дела их (силой оружия) отвадили пруссаки. Сложись в битве под Садовой в июле 1866 года иная ситуация, прояви Мольтке менее решительности и распорядительности, опоздай колонна кронпринца к кульминации боя, и центром общегерманского притяжения стала бы Вена, а не Берлин. После победы под Садовой Бисмарк был обеспокоен только одним: не превратить Австрию в смертельного врага Пруссии (а затем возникшей германской империи). Они стали союзниками и вместе испили в 1918 году горькую чашу поражения. Двадцать лет спустя Гитлер присоединил Австрию к Германии (аншлюсс) и снискал популярность у немцев как основатель Grossdeutschland (Великогермании). Остановись он на этом, он вошел бы в немецкую историю как великий политик. Сегодня он — военный преступник, а все, что натворил преступник — преступно.

И все же рискну утверждать: новый аншлюсс неизбежен. Западная Европа объединяется, немецко-австрийская граница будет стерта не последней. Дай Бог, чтобы это случилось мирным путем: у немцев есть теперь опыт бескровного воссоединения. Дай Бог и нам, используя немецкий опыт, мирно воссоединить Россию.

И еще один немецкий опыт достоин нашего внимания — уменье ценить культуру как общенациональное достояние. Нация — единство ценностей, нация едина не только в плоскостном, территориальном отношении, но и в глубину, вертикально — в тех богатствах, что были созданы ранее и творятся ныне. Грабеж помещичьих усадеб (не для себя, а чтобы "рассчитаться") — разбитые зеркала, порезанные картины, горящие хоромы — музыка русской революции, немецкому уху не доступная. У немцев иной рефрен: "революционеров и сторонников оных просят не топтать городские газоны". (Это из пьесы Г. Грасса "Плебеи репетируют восстание" — о том, как Б. Брехт отказался поддержать народное выступление против Ульбрихта.) Я помню, как социализм пришел в Восточную Пруссию. Была весна, снег стаял, а на дорогах белым-бело — от вспоротых перин, мычат голодные недоенные коровы и все в зареве пожарищ. "Гори, Германия" — призывала фронтовая газета (пока не одернули из Москвы).

"Зачем вы все это делаете? — сокрушался единственный оставшийся на всю округу немец (пастор, женатый на еврейке и потому считавший, что "советы" ему не страшны). — Ведь теперь все это ваше, не ваше лично, но национальное достояние, ваше классовое достояние. Экспроприаторов экспроприируют; грабь награбленное, но не уничтожай, так ведь по Марксу". — "К сожалению, наши марксисты Маркса не читали, а грабить учились у солдат вермахта". — "Грабить, но не уничтожать. В вермахте предусмотрена должность офицера, отвечающего за сохранность захваченных ценностей. У нашего барона в замке были картины старых мастеров, теперь все сгорело, вы потеряли несколько миллионов марок". — "Издержки войны". — "Вы уж очень не считаетесь с расходами, хотите строить на пустом месте".

До марксистов в России были нигилисты (Базаров: "Рафаэль гроша медного не стоит"), затем Пролеткульт — все это проявления одной тенденции — ненависти к культуре высших слоев, к образованию. И по сей день у нас можно встретить людей (увы, встречал таких в Союзе писателей!), которые на университетский диплом смотрят как на свидетельство о неблагонадежности. У немцев такое невозможно. Образованный человек пользуется почтением, А если он защитил немудреную диссертацию — он "герр доктор", и это на всю жизнь как дополнение к фамилии.

...Едем из Лейпцига в Гарц. Я в гостях у доктора Гюнтера Гурста, он ведет машину. Это не автобан, обычное шоссе, совершенно пустое. Впереди перекресток, полицейский поднимает жезл, указывает на обочину, останавливаемся.

— Народная полиция (дело было в ГДР).

Гюнтер отдает документы. Полицейский изучает их.

— Герр доктор, вы нарушили правила движения!

— Каким образом?

— Вы заехали за осевую линию, герр доктор.

— На много?

— На двадцать сантиметров, герр доктор. Будьте внимательны, герр доктор Гурст...

Как только я пересекаю границу Германии (так было и в ГДР), я немедленно становлюсь "герр профессор". Эти строки я пишу на Швайдницерштрассе (Берлин-Вильмерсдорф). Дом небольшой, почтальон знает всех жильцов, знает и меня, утром мы встречаемся (я — на прогулку, он — по делам). "Герр профессор, сегодня писем нет". В родных краях профессором (вне службы) меня звали только в школе: "Эй, профессор, четырехглазый, сними зимние рамы!"

Только в нашей отчизне могла возникнуть босяцкая теория двух культур, двух наций в пределах одной нации. Которые в очках, образованные, интеллигенты — враги народа, минимум — не "свои". "Свои" — все в косоворотках, галстуков не носят, фокстрот не танцуют. К сороковым годам разрешили галстуки и фокстрот — армия нуждалась в современной боевой технике, которую, увы, создают интеллигенты. Вспомнили и о патриотизме, без которого мы никогда бы не выиграли войны. А после победы опять заговорили о том, что была она национальная по форме, но классовая по содержанию, мол, не русские побили немцев, а пролетариат — буржуазию. Народная демократия — форма диктатуры пролетариата (а не кучки просталинских квислингов).

Раздвоенность в русском обществе возникла задолго до большевиков. Большевики только нащупали больную струну России и сыграли на ней. Говорят, Петр Великий расколол Россию — сбрил начальству бороды и обрядил в чужеземное платье. Но существуют и возражения: именно Петр установил порядок, чтобы минимум пятый офицер был родом из простого народа. Ломоносов — дитя петровских перемен. Раскол России сотворили Никон и Аввакум. А до них? Костомаров уверял, что Сусанина замучили не поляки, а казаки. Впрочем, признает он, поляки учили нас не только полонезу:

Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,
Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки.

Смута, вот откуда пошел раскол. Важно, не когда и откуда он пошел, а куда привел. Разин и Болотников, Игнат Нестеров, который ушел с донцами в Турцию, Пугачевщина при Екатерине, пугачевщина в XX веке — чудовищная гражданская война, принесшая победу бунтовщикам и международной сволочи, власовская армия и красновские казачьи части у немцев — какой народ в таких непостижимо гигантских размерах поднимал брата на брата? Парламент, расстрелянный президентом, толкующим о демократии. В Германии последняя гражданская война, опустошившая страну, — XVII век. Потом две религии внутри одного народа мирно уживались друг с другом. Формирование нации — это преодоление всех возможных расколов внутри народа. Говорят, что русские не сформировались как нация в 1917 году, иначе большевикам не видать победы. А немцы остались одной нацией даже после того, как страна оказалась разделенной на два государства. Появились, правда, ученые теории о том, что ГДР и ФРГ — две нации, одна социалистическая, другая капиталистическая. На эту тему писались книги, защищались диссертации, это попало в наши справочники (см. энциклопедию "Народы мира"), но немцы в одну ночь (9.11.1989) доказали другое: "Германия превыше всего...". Даже, как мы увидим, вопреки своим материальным интересам. Я, однако, забежал вперед.

Общность и общество

1945 год внес серьезные поправки в немецкое сознание. Рухнула империя, претендовавшая на мировое господство. Ушел в небытие носитель "гениального руководства". Немцы были уничтожены, опозорены. Материальных трудностей, выпавших на долю русских, они, правда, не знали, немецкие нищие просили не хлеба, не денег, а "чашечку кофе". Раса господ почувствовала себя чуть ли не изгоями. Нарукавных повязок не было, но на автомобилях обязателен был знак — как у слепых — желтое пятно с черными кружочками. И русский номер БГ (Берлин

гражданский). Все нацистские формирования, еще недавно для всех обязательные, были запрещены. Заодно прикончили и Пруссию. Немцев учили забыть свое прошлое. "Минну фон Барнхельм" Лессинга играть было нельзя (там выведен благородный прусский офицер). Играйте на здоровье "Натана Мудрого".

Кайтесь, посыпайте голову пеплом, рвите на себе одежду. Немцы каялись. Их приучали говорить одно, а думать другое. "Ложный путь нации" А. Нордена стал учебником немецкой истории. В кабаре пародировали денацификацию: древний Рим проводит "дегерманизацию" варваров. Апофез покаяния (уже после образования ФРГ) — канцлер Вилли Брандт, рухнувший на колени перед памятником жертвам восстания в варшавском гетто. Вот так бы и продержать немцев на коленях до Судного дня!

Но на коленях работать несподручно. А немцы — труженики. Для настроения послевоенных лет характерна постановка пьесы Сартра "Мухи". Пьеса — современный парафраз "Орестейи" Эсхила. Город Аргос проклят богами: здесь совершено было много лет назад ужасное преступление — убит был царь Агамемнон, убийца Эгисф стал новым царем, но весь погружен в покаяние, а вместе с ним все его подданные — безотказное средство повиновения. Вот как выглядит эта всеобщая истерия, парализующая волю:

"МУЖЧИНА (бросается на колени). Я воняю, воняю! Я мерзкая падаль! Смотрите, мухи облепили меня, как вороны. Клюйте, буравьте, сверлите, мухи-мстительницы, рвите мою плоть, добирайтесь до моего поганого сердца. Я грешен, тысячекрат грешен, я — сосуд смердящий, я — сточная яма...

ЮПИТЕР. Молодец!"

Но то, что радует Юпитера, не годится быку. Бык — рабочий скот, ему работать, а не упиваться самооплевыванием. Юрген Феллинг, постановщик пьесы, как бы говорил победителям: оставьте нас в покое, мы искупим вину трудом. Собственно, мне он об этом прямо сказал (в частной беседе). И задал вопрос: вы ходите пешком по берлинским улицам? вы слышите постоянное шипенье — "Ш-ш-ш"? Это наши несчастные женщины (Truemmerfrauen) разбирают руины; одна вручает кирпич другой, делает это вежливо: "битте шен", другая берет кирпич и соответственно благодарит: "данке шен". Без этих вежливых формул работа шла бы быстрее, но тут уж ничего не поделаешь — сила привычки. А от нас хотят еще постоянных формул покаяния.

(Два года берлинские женщины расчищали франкфуртскую аллею — она же аллея Сталина, потом Карла Маркса — основную автомагистраль восточной части города. Только в 1947 году стало возможным прямое движение, без объездов.)

Мне приходилось слышать, что во всех немецких бедах виноват некий офицер генштаба (вернее, его левая нога), присутствовавший на совещании у Гитлера 20 июля 1944 года. Полковник Штауффенберг оставил тогда в бункере портфель с бомбой замедленного действия как раз напротив фюрера, а означенный офицер (забыл его фамилию) левой ногой отодвинул портфель за массивную дубовую ножку. Бомба разнесла ее, но Гитлер остался жив. Если бы он погиб, в Германии возникло бы новое (генеральское) правительство, которое могло бы договориться с противником, не было бы тоталитарного поражения, расчленения страны и многих других бед, обрушившихся на Германию.

Теория эта наивна. Случайности играют роль в истории, но они "компенсируются", взаимно погашают друг друга, а глубинный поток событий пробивает себе дорогу. Погибни Гитлер или останься в живых, нацистская Германия была обречена.

* * *

В Германии нет Академии наук в нашем смысле слова — с огромным множеством институтов с многочисленными лабораториями. (В ГДР была такая, ныне она распущена.) По немецкой традиции академия наук — это ученое сообщество, членство в котором материальных благ не дает, а лишь накладывает обязанности; некоторые "земли" (провинции) имеют подобные академии, но центрами научной работы (в гуманитарной области) служат университеты. Кроме того (для естественных наук) есть исследовательская организация (раньше она называлась обществом имени кайзера Вильгельма, теперь — имени Макса Планка). Кроме того есть много фондов, финансирующих исследовательскую деятельность. Для выполнения определенной работы приглашаются определенные ученые (в том числе и из-за границы), с ними заключается договор на определенный срок. В 1987 году я получил трехмесячную исследовательскую стипендию в библиотеке имени герцога Августа (Вольфенбюттель), в 1991 году мне была предоставлена годичная стипендия в Научной коллегии (Берлин).

Научная коллегия создана по образцу исследовательского центра в Принстоне. Приглашают сюда людей, зарекомендовавших себя в той или иной области. И не только ученых, но и деятелей искусства. Среди моих "однокашников" оказались немецкий писатель Гюнтер де Бройн, израильский балетмейстер Амос Хетц и перуанский писатель Марио Варгас Льоса. (На следующий год его квартиру получил наш Андрей Битов.) Были представители естествознания, но в целом преобладали гуманитарии.

И вот дискуссионная тема — общность или общество. Общность — совокупность органических связей, которые сводят людей в единое целое — семья, нация в первую очередь. Общество возникает как формальное, механическое целое; главное — индивид, все индивиды равны, право регулирует их отношения. Между человеком и человечеством нет никаких опосредующих звеньев. Нация — устаревшее понятие, некий пережиток архаических времен, мы, мол, живем в эпоху мондиализма, всемирности.

Проблема эта не новая. Более ста лет назад, в 1887 году, вышла книга основателя немецкой социологии Фердинанда Тенниса "Общность и общество" (Gemeinschaft und Gesellschaft), классическая работа, к сожалению, до сих пор у нас не изданная (а Теннис обруган марксистом Лукачем как предтеча фашизма). Теннис исходит из наличия в человеке двух видов воли. Одна — сущностная, инстинктивная, другая — сознательная, целенаправленная. Наиболее яркий пример первой — материнская любовь, второй — торговые отношения, первая создает общность, вторая — общество. Дом, деревня, город — формы общности; мегаполис (grossstadt), государство, космополитическая жизнь — формы общества. Исторически общество сменяет общность, но ничего хорошего в этом нет. Мегаполис и общественное состояние означают распад и гибель народа. Симпатии Тенниса на стороне общности, хотя он понимает неизбежность ее исчезновения. Обещаниям нацистов возродить общность Теннис не верил, демонстративно сблизился с социал-демократами и пострадал за это.

После краха фашизма и неудачного опыта ГДР построить социализм идея общности оказалась скомпрометированной. Немцы-теоретики стали мондиалистами, вели речь только об общественных связях, есть, мол, право и баста, все остальное от лукавого, сиречь тоталитаризм и обман. Но вот появились новые веяния (из Израиля, из Японии), новые теории (из США), появился новый термин "коммунитаризм" (не путать с коммунизмом), который оказался всего лишь перепевом старых идей Тенниса (community — общность). Американцы учили немцев внимательно читать Тенниса и подумать над тем, как в мегаполисе создать общинные отношения.

Разумеется, не все американцы и не всех немцев. В Научной коллегии довелось увидеть озвученный по-немецки американский фильм, предназначенный для широкой публики, "Волна". Это не художественное произведение и не документалистика. Это "воспитательная" короткометражка, открытая публицистика. Показана американская школа. Учитель предлагает ученикам создать некое неформальное объединение "Волна" со строгой иерархией, символикой, ритуалами. Ребятам затея нравится, но учитель быстро разоблачает ее: оказывается, это первый шаг к фашизму. Мораль — всякая общность порочна, есть только индивид, его права и обязанности.

Во время обсуждения фильма вспомнили, однако, о том, что в американской школе занятия и так, без всякой "Волны", начинаются с ритуальной клятвы верности конституции, вспомнили о неформальных отношениях на японских предприятиях ("сначала нация, затем фирма"), вспомнили об израильских киббуцах (добровольных колхозах).

По совету одного из участников дискуссии я отправился в кино смотреть полнометражный художественный фильм "Гитлерюнге Соломон", который только вышел тогда на экран и возбудил противоречивые толки. Гитлерюгенд — это молодежная (только для мальчиков) нацистская организация, нечто вроде нашего комсомола, через нее прошли все немцы. Но как в ней оказался Соломон? Его семья бежала от нацистов на восток — в Польшу. А туда вскоре пришла Красная армия. Соломон стал пионером, славил Сталина, учился русскому языку, маршировал со всеми. Но вот грянула война с Россией. Немцы быстро продвигаются вперед, уничтожают евреев. Соломона спасает великолепное знание немецкого языка, он выдает себя за сироту. Его усыновляет немецкий офицер и отправляет в тыл учиться. Вот так Соломон становится "гитлерюнге". Здесь он тоже хочет быть, как все. Кричит "хайль!", искренне горюет по поводу поражения под Сталинградом: мы видим, как слезы текут по его лицу. Как и у других. Когда русские подходят к городу, он, как все, надевает военную форму, стреляет во врага и попадает в плен

с оружием в руках и в форме. Только тут он вспоминает о том, что он не немец, кричит, что он еврей. Но у русского офицера-еврея это вызывает негативную реакцию, он готов застрелить Соломона, и только внезапное появление брата Соломона, только что освобожденного из концлагеря, со слезами к нему бросающегося, предотвращает выстрел. Кончается фильм — пейзажем Израиля и словами о том, что здесь Соломон обрел свою подлинную родину.

В фильме можно увидеть оправдание вседозволенности: чтобы выжить в аду, допустимы любые средства. Но можно увидеть и нечто иное — поиски подлинной общности. Чужая общность, как ни прилипай к ней, останется чужой; от своей общности — не оторвешь. Беда, однако, в том, что обретенная общность противостоит другим как нечто чужое и враждебное. Взаимодействие таких общностей — нонсенс (или хитрый политический ход): фашисты и коммунисты, фашисты и сионисты. "Как национал-социалист я сионист" — известное изречение Гейдриха. Оно означало, что в борьбе с Англией, опиравшейся на арабов, Гейдрих готов был опереться на евреев и поддержать их эмиграцию в Израиль, не более того. Возможна ли вообще общечеловеческая общность, где народы взаимодействуют, а не борются друг с другом? Вот в чем вопрос.

Ответ, вернее поиски ответа я нахожу в русской религиозной философии. Русский религиозно-философский ренессанс — тема моей исследовательской работы в Научной коллегии. Эта тема создана для работы за рубежом. Здесь вышли главные труды наших идеалистов, изгнанных большевиками из родной страны. Здесь их архивы, завещанные России, но пока еще на родину не доставленные. До архивов я не добрался, но прочитал многое такое, что у нас недоступно.

Основная категория русской философии — СОБОРНОСТЬ. Какую чушь приходится слышать по этому поводу! И. Голомшток: "Соборность — типично русское понятие, но я продолжаю считать, что национальные особенности здесь ни при чем. Каждый народ проходит стадию коллективного сознания. Потом это рассыпается. Русское сознание просто отстало от европейского" ("Еврейская газета", 12.03.1991). Г. Померанц: "Соборность компенсирует недостаточную оформленность личности" ("Столица", 1991, № 27, с. 63), Б. Гройс: "Соборность есть особое дорефлективное состояние жизни" ("Вопросы философии", 1992, № 1, с. 55). Неужели эти господа закостенели в своем индивидуализме, не знают об опыте Японии, не ведают, что такое киббуцы? Или просто хитрят?

Соборность — это подлинная, высокая общность, которую ищет сегодня весь мир, в том числе американские коммунитаристы. Это общность, которая не подавляет индивида, а выявляет его богатство. Это общность, составные части которой взаимосвязаны с другими и все сливается в единое общечеловечество.

П. Флоренский писал о соборности: "...Мы собираемся в семью, в род, в народ и т. д., соборуясь до человечества и включая в единство человечности весь мир". Соборность — фундамент "русской идеи". А по ее поводу несуразностей ныне произнесено столько же, сколько и о соборности. А. Янов уверяет, что это "идеология русского империализма". На обложке книги Янова "Русская идея и 2000 год", изданной в США, карикатурное изображение православной иконы: нимб святого выкроен из советского герба; в глазах автора, советы и церковь устремлены к одной цели — безграничной экспансии. Фонд Горбачева провел конференцию на тему "Русская идея и новая российская государственность". Выступавшие говорили о чем угодно, меньше всего о "русской идее". Вот характерные заявления. О. Р. Лацис: "Мы не знаем, что такое русская идея". Д. В. Драгунский знает: "Когда говорят о русской идее, у меня по коже пробегает легкий мороз. Потому, что на самом деле это просто идея российской империи, не более того и не менее" ("Новый мир", 1993, № 1, с. 79).

А у Достоевского сказано: "...Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое объединение". У Вл. Соловьева есть книга "Русская идея". У Бердяева тоже. И всюду черным по белому: русская мысль выносила идею братства народов, поисков всеобщего спасения. "Русская идея" объединяет человечество в его извечном стремлении утвердить мир и справедливость на Земле. Это всемирная соборность, та подлинная общность, без которой человечеству сегодня не выжить.

На немцев мои рассуждения о русской идее произвели благоприятное впечатление. И было мне предложено выступить с докладом на эту тему на XVII общегерманском философском конгрессе. Доклад без дискуссии — вечером для широкой публики. Предложение я принял. Тем временем мое пребывание в Научной коллегии подошло к концу. Я вернулся в Москву с тем, чтобы в надлежащее время прибыть на конгресс. У меня были виза, авиабилет, заказанный номер в гостинице. Оставалось сесть в самолет и прибыть вовремя. Но не тут-то было.

Оказалось, что мой паспорт устарел: я уезжал из СССР, а теперь государства такого не было, мой синий служебный паспорт не годился, его нужно было обменять на красный, тоже с советским гербом, но с новыми подписями. Я подал в Академию наук соответствующие документы, заплатил требуемую сумму. Месяцы шли, а нового паспорта не было. Наступила осень девяносто третьего, президент разогнал, а потом расстрелял парламент, а паспорта не было. Я позвонил в Берлин и сообщил профессору Позеру, руководителю конгресса, что приехать нет возможности.

— Вы опять "невыездной"? — спросил он. — Ведь у вас теперь демократия, не общность, а общество. Ваш начальник, между тем, сюда приехал.

— Мы живем по-прежнему по Оруэллу; вспомните "Скотный двор": все скоты равны, но некоторые скоты более равные.

— Но приехал и молодой человек, который не подпадает под категорию "более равных". Каким образом?

— Это для меня секрет.

Через некоторое время я встретил этого молодого человека и поинтересовался, каким образом он получил выездные документы. Он ответил вопросом:

— Вы любите Аверченко?

— Разумеется.

— Знаете рассказ о самом верном способе покорить женщину?

— Запамятовал.

— На железнодорожной станции автор встретил приятеля, который рассказывает ему о способах овладеть сердцем женщины, но для рассказа о самом верном способе не хватает времени: поезд тронулся. И вот вместо слов он показывает автору золотую монету. Наши чиновники теперь как женщины.

Взяточничество существует и в Германии. Но какими решительными мерами борются с ними. Каким общественным позором окружен взяточник. Даже малейшее подозрение — причина увольнения. Подарки официальным лицам — не более стоимости авторучки. Некто слетал бесплатно на самолете своего друга — пришлось оставить министерский пост. Другой из государственных средств оплачивал домашнюю работницу — шум в печати и отставка. Министр хозяйства рекомендовал пользоваться изделиями фирмы, принадлежащей его родственнику, — только его и видели. А чтобы человеку, против которого возбуждено уголовное дело, поручить обязанности прокурора, простите, у немцев такое не принято. Ну а если клевета? Извольте все детали оправдания подробно изложить в печати и только после этого доверять государственный пост.

После объединения

Я опять забежал вперед. Снова придется вернуться назад. Вспомнить две даты, существенные для немецкой истории: 1961 год — создание берлинской стены и 1989-й — ее падение. Берлинская стена, казалось, возведена была на столетия, но рухнула без особых эксцессов, без единого выстрела, без жертв, под аплодисменты. Постарались Горбачев и Шеварднадзе. Посольские вспоминают, что последний был обеспокоен, как бы не вмешались наши военные и не нарушили указания Москвы "никаких действий не предпринимать". Действовали немцы. Поздно вечером 9 ноября 1989 года около одиннадцати часов пограничники ГДР покинули свой пост на Борнхольмерштрассе, к полуночи все ограничения на проезд и проход в Западный Берлин были сняты, полицейские пили шампанское, поток "трабантов" (автомобили ГДР с мотоциклетным двигателем) устремился на Курфюрстендамм (парадную улицу Запада, где знаменитый магазин КДВ, имеющий всегда в продаже полторы тысячи сортов колбасы).

Эйфория длилась недолго. Довольно скоро выяснилось, что объединение легло тяжелым бременем и на западных ("вессис"), и на восточных ("оссис") немцев. В 1993 году вышла книга "Семь смертных грехов объединения". Ее автор экономист Э. Ханкель суммирует результат — неоправданные надежды на новое "экономическое чудо" (так назвали в свое время бурный подъем экономики ФРГ в пятидесятые годы). В экономику бывшей ГДР было вложено в двадцать раз более средств, чем получила Западная Германия по плану Маршалла, но теперь "чуда" не произошло — другая эпоха, другая ситуация. Азия из рынка сбыта давно стала поставщиком товаров. Уровень жизни "новых земель" (бывшей ГДР) по-прежнему ниже, чем на Западе, зарплата ниже, а цены всюду одинаковые. Спад переживают и "старые земли", их обитатели — "вессис" считают, что им приходится содержать

Восток, а "оссис" видят в себе немцев второго сорта и горюют по поводу утраты преимуществ социализма. Немцы ворчат, но довольны, более того, пребывают в триумфе: "Германия превыше всего!"

Весной 1993 года фонд F.V.S. (никто не знает, что обозначает эта аббревиатура: то ли Фридрих фон Шиллер, то ли барон фон Штейн, основал Фонд некий богатый меценат) присудил премию мира имени Иммануила Канта Эдуарду Шеварднадзе. Я знаю, что грузинские философы чтут Канта, но при чем тут Шеварднадзе? Далее, Кант был теоретиком мира, но при чем тут Шеварднадзе?

Свои сомнения я изложил в заметке для печати, назвал ее "Кто следующий?". Вот она: "Кому быть следующим лауреатом кантовской премии мира? Полагаю, что господин Эрих Мильке — вполне подходящий кондидат. Присудили же в текущем году эту премию его коллеге, многолетиему шефу госбезопасности Грузии господину Шеварднадзе. Господину Мильке предъявлено обвинение в убийстве двух человек 60 лет назад. Господин Шеварднадзе несет ответственность за все коммунистические насилия в Грузии не только в годы его руководства КГБ, но и позднее — в бытность его первым секретарем КП Грузии. Число жертв мне неизвестно, но я хорошо помню его позорно подхалимскую речь на съезде КПСС, в которой он без удержу и стыда прославлял своего партийного друга и босса Брежнева. Все смеялись и дивились пресмыкательским талантам предводителя грузинских большевиков.

После распада СССР Грузия выбрала президентом бывшего узника КГБ Гамсахурдия. В ходе гражданской войны, которая продолжается и сегодня, Гамсахурдия был свергнут, главой государства стал Шеварднадзе. Две других войны Шеварднадзе — одна против Южной Осетии, другая — против Абхазии. Три войны — не слишком ли много для одного лауреата мира? Может быть, целесообразно мирную премию Канта преобразовать в военную премию Клаузевица? Тогда выбор Шеварднадзе сделан правильно. А за ним эту премию стоит присудить уже не Мильке, а одному из генералов, что воюют в Боснии. Если верить биографу Канта Форлендеру, последний отпрыск семьи Канта, носивший эту фамилию, скончался в Тифлисе. Но это тоже не основание для присуждения мирной премии военному вождю грузинов. Сначала надо покончить с войной в Закавказье, а затем уже награждать миротворцев — подлинных, а не мнимых".

Заметку я направил в гамбургский еженедельник "Ди Цайт", с главным редактором которого графиней Денхоф был немного знаком (по ее инициативе в 1992 году был восстановлен памятник Канту в Калининграде). Дальше произошло нечто, сильно напомнившее нравы советской печати, мне хорошо известные. Редакция "не мычит, не телится": заметку не печатают; графиня в отъезде, ее сотрудники "не в курсе дела", один отфутболивает к другому и т. д. А когда я предложил передать заметку в одну из берлинских газет, всем это очень понравилось. Заручившись опять предварительным согласием, я направил ее в "Тагесшпигель", где уже однажды публиковался. На этот раз ответ был решительным и скорым. От заведующего отделом культуры пришло письмо: "Я вынужден вернуть ваш текст по поводу Шеварднадзе. Наша политическая редакция, которой принадлежит решающее слово, отклонила публикацию. Немецкая перспектива выглядит иначе. Сотрудничая с Геншером, Шеварднадзе сделал много для немецкого объединения, он сам превратился из Савла в Павла и оказался вовлеченным в неразрешимые конфликты своего региона".

— Как вы не понимаете, — растолковывал мне другой журналист, — что Шеварднадзе теперь национальный герой Германии, ну как Горбачев или Копелев. Шеварднадзе вкупе с Горбачевым дали единство. А Копелев в своей книге освободил немцев от чувства вины перед русскими, рассказав о тех бесчинствах, которые творили "советы" в Восточной Пруссии. Немцы народ благодарный. Вот прочтите.

Он дал мне русскую газету "Наследник победы" с сообщением ИТАР—ТАСС: "БЕРЛИН. Награда за литературный труд, который никогда не издавался и скорее всего безвозвратно утрачен, присуждена в Германии известному русскому писателю Льву Копелеву. Золотую медаль имени Гете вручил ему в Веймаре президент Международного общества имени Гете Вернер Келлер. Л. Копелев, бывший диссидент, проживающий ныне в Кельне, написал после своего освобождения из сталинских лагерей книгу о творчестве Гете. Ее издание было запрещено в СССР, а рукопись книги, насколько известно, власти уничтожили".

Прочитав такое, я потерял желание обличать Шеварднадзе.

Реальна ли угроза фашизма?

Иностранцы в Германии — привычное дело. В годы войны, когда немецкая молодежь была на фронте, страну заполонили военнопленные и угнанные из завоеванных стран — русские, французы, югославы. После войны хлынули турки, арабы, негры, кавказцы ("русская мафия"). Они не брезгуют черной работой (и уголовщиной). Когда немецкий юноша, отчаявшись найти достойное место, выражает готовность заняться чем-то, что ранее казалось ниже его статуса, то вдруг выясняется, что место занято выходцем из Ганы, Камбоджи или Курдистана. Юноша недоволен, костерит правительство и марширует "направо" в радикальное движение. Иной спьяна бросает бутылку (сначала пустую, а потом с "коктейлем Молотова" — зажигательной смесью) в общежитие для иммигрантов, попадает под суд. Судья сам косо поглядывает на неопрятных иностранцев, но закон есть закон, и за поджог полагается срок. А если погибли люди — бессрочное заключение.

"...А убийцы, все еще не сформировавшиеся как люди, сразу зачисляются в "коричневые правоэкстремисты" и в "нацисты" и проклинаются, — пишет читатель газеты "Моргенпост" (13.06.1993). — ...Нельзя превращать каждое убийство иностранца в политическое дело. При этом возникает впечатление, что людей убивают только в Германии. Если бы мы, немцы, были бы враждебны к иноземцам, то они бы к нам не стремились. Между тем число беженцев из всех углов земли растет непрерывно".

Иностранец иностранцу рознь. В прошлом году в Берлине начала выходить новая газета на русском языке "Европацентр". В первом же номере она поспешила обрадовать читателей сообщением о дополнительных льготах иностранцам — жертвам фашизма. "50 тысяч человек получат компенсации от правительства ФРГ". Что это за люди? "Германия согласилась выплатить миллионы долларов евреям — жертвам нацистских преследований, которые в прошлом вообще не получали компенсацию или лишь мизерную сумму".

Достигнутое соглашение означает, что евреи в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе, которые в 50-е и 60-е годы не смогли из-за того, что жили при коммунистических режимах, получить компенсации от ФРГ, теперь смогут получить сотни миллионов долларов.

Соглашение было без лишнего шума подписано в Бонне между министерством финансов ФРГ, Всемирным еврейским конгрессом и Конференцией по вопросам материальных притязаний евреев к Германии... Право на получение компенсации будут иметь лица, которые находились не менее шести месяцев в концлагерях, пребывали в гетто не менее 18 месяцев и в тяжелых условиях прятались от нацистов в течение 18 месяцев и больше. Лица, отвечающие этим критериям, начиная с 1 августа 1995 года будут получать по 500 немецких марок в месяц, а в январе 1993 года единовременную сумму "на промежуточный период" ("Европацентр", 27.05.1993). Заявки на выплату компенсации принимает штаб-квартира Конференции по еврейским материальным притязаниям к Германии, которая находится в Нью-Йорке. Чехи, поляки, русские и прочие могут не беспокоиться.

Немцы пытаются смыть с себя клеймо фашизма. Поэтому они так охотно участвуют в манифестациях против расизма. Мой друг — доктор Гурст, в юности "гитлерюнге", затем функционер демократической молодежи, почитавший сначала Гитлера, а затем Сталина, ныне марширует со свечкой в защиту бедных иностранцев. Лишь бы маршировать!

Насколько реальна в Германии угроза фашизма? Об этом больше твердят иностранцы, немцы убеждены, что нет сегодня главной предпосылки нацизма — "побитой морды" (разрухи). Немцы обеспокоены другим: как бы Германия не потеряла свое собственное национальное лицо. Германия для них — не просто цветущий край с преступным прошлым. Германия — родина, а родина всегда твоя. Грехи юности — твои грехи. Примирение с прошлым (и тревога о будущем) — тема многосерийного телефильма "Родина".

...Деревня Шаббах где-то на западе. Кончилась первая мировая война. Пришел солдат с фронта, женился, завел двух детей. Затем свалилась на него зараза — "муза дальних странствий", ушел из дому неизвестно куда, много лет спустя объявился в Америке. А дома жизнь идет своим чередом. Кто-то увлекается фотографией (его снимки иллюстрируют жизнь деревни). Вторгается в сельскую жизнь радио, возникают автомобили, строят автостраду. Вторгается и нацизм, кто-то стал местным фюрером. Но в принципе все течет по-прежнему. И вот война. Мария Симон (жена беглеца в Америку) нашла себе друга, у нее появился третий сын, друг — подрывник, обезвреживает неразорвавшиеся бомбы; один раз — неудачно. Двое старших сыновей Марии — на фронте, возвращаются живыми.

Старший заводит после войны собственное дело, он — преуспевающий предприниматель. Тем временем из Америки приезжает его папа. И не только он один прибыл из-за океана. Американские нравы вторглись в добропорядочную немецкую деревню — гремит рок-н-ролл, гулящие девицы демонстрируют себя и т. д. Фильм кончается современной "вальпургиевой ночью". Мондиалистский шабаш в Шаббахе — Германия без немцев. Это для немецкого сердца пострашнее, чем взятие Берлина русскими.

Фильм, снятый в восьмидесятые годы, повторяется регулярно и пользуется успехом. Его режиссер Эдгар Райц вернулся к теме, решил ее по-новому, но теперь, увы, без зрительского одобрения. Новый фильм "Вторая родина" показывает младшего сына Марии Симон Германа. Это одаренный музыкант, он учится в мюнхенской консерватории. Перед нами мир мегаполиса — огромный и интернациональный, родина здесь для всех (и ни для кого!). Авангардистское искусство, движение "новых левых" — все это сегодня немцам совсем не по сердцу. Им по сердцу — народная музыка. Одна из постоянных и любимых телевизионных программ, которую показывают в самое "телевизионное" время (сразу после ужина) — народные песни: лучшие солисты, публика, которая воодушевлена и подпевает, и соответствующий национальный антураж.

Я смотрю на экран немецкого телевизора и мысленно переношу себя в родные края. Возможна ли Россия без русских? Боюсь, некоторым это нравится и они рады устроить такое. Возможен ли фашизм в России? "Побитая морда" (разруха) здесь налицо. Но нет другой важнейшей предпосылки — гипертрофированного национализма. Русский менталитет, не люблю я это слово, скажу лучше — духовный склад не допускает подавления других народов. Сколько написано о том, как складывалось русское государство, какой национальной и религиозной терпимостью оно отличалось, в результате русские оказались сегодня на положении париев в родной стране. Только развитое национальное чувство может нас спасти. Пугают Жириновским. Смешно. Как раз успех Жириновского — свидетельство отсутствия расистских устремлений у русских. Они готовы идти за этим "полуюристом" потому, что слышат от него импонирующие русские слова. Можно ли представить себе полуараба как вождя израильтян? У Гайдара "юридических начал" в крови гораздо меньше и внешность приказчика, но "охотнорядцы" его не слушают, плевать они хотели на кровь, у всех она красная. Я не исключаю тоталитаризма в нашем будущем, но придет он, скорее всего, от тех, кто больше всего сегодня вопит о русском фашизме.

Сегодня источник тоталитаризма — безликий мондиализм. Это враг — и наш, и немцев. Вот почему судьба определила нам дружить и сотрудничать. Рассадник мондиализма — Америка. И в этом ее беда. Умные люди уже предрекают закат Америки, в том числе как раз из-за ее мондиализма. Будущее принадлежит странам Дальнего Востока. И объединенной Европе. Какое место в будущей Европе принадлежит России? В союзе с Германией — одно из первых. Мысль не новая, ее высказывал еще Бисмарк. Судьба, однако, сталкивала нас лбами. Два кровавых урока двадцатого века. Довольно!

* * *

Я начинал свои заметки с воспоминания о том, как русские спасли Зигесзойле. Без них (без нас!) взлетела бы она на воздух, как когда-то наш Храм Христа — тоже памятник победы над французами, и пришлось бы немцам ломать голову над ее восстановлением. Как ломают они голову над тем, восстанавливать ли гарнизонную церковь в Потсдаме, взорванную в ГДР.

Закончу заметки напоминанием о еще одном добром деле русских в Берлине вскоре после конца войны. Адрес — Луизенштрассе 18, клуб работников искусств "Чайка". Он создан был распоряжением генерала Котикова, предоставившего 75 солдатских пайков для материальной помощи артистам и писателям Берлина.

Наши коменданты вообще проявляли непонятную для союзников заботу о пропитании жителей Берлина. При Берзарине и Горбатове стояли на улицах походные кухни, и каждый прохожий мог получить котелок солдатской каши; когда ввели продовольственные карточки, Смирнов позаботился о том, чтобы нормы в столице были выше, чем в других местах, кроме того, он подарил обер-бургомистру Большого Берлина доктору Вернеру дойную корову, чем снискал популярность в муниципальных кругах, тем более что коменданты городских районов, следуя доброму примеру, не оставили своим вниманием деятелей меньшего масштаба; Котиков создал "Чайку".

Название в честь московского Художественного театра придумал первый президент клуба граф Тройберг, заведующий литературной частью театра имени

Геббеля. Вечерами в "Чайку" съезжались все, кто не был занят, здесь можно было поужинать без продовольственных карточек, выпить без чудовищных наценок, поговорить с интересным собеседником. Офицеры отдела культуры по очереди дежурили в клубе. Все были довольны. Кроме коменданта, которому не хватало идеологической работы: вы все там развлекаетесь, хоть бы лекцию по марксистско-ленинской эстетике прочитали, — наставлял он моего майора Мосякова и майора Дымшица, который командовал культурой в пределах всей оккупационной зоны.

Эстетика была предметом моих тайных вожделений. Дипломную работу на философском факультете я написал о проблеме прекрасного, мой руководитель был работой недоволен: я не проштудировал "Критику способности суждения" Канта, а без этого в эстетике делать, по его мнению, было нечего. Тем более, думал я, выступать перед немцами. Да еще на немецком языке.

И вот однажды Дымшиц звонит довольный из Карлсхорста, где размещалось наше главное начальство: нашелся офицер, готовый прочитать лекцию о марксистско-ленинской эстетике. Дымшиц сам вел это заседание клуба. В "дубовом зале" соорудили кафедру, перед которой лихо встал молодой человек с погонами капитана. И начал вещать. На каком языке говорил он? Не на немецком, но и не на русском. Лилась какая-то абракадабра, Kauderwelsch. Смысл доходил с трудом, он был ужасен; капитан рассказывал о четырех чертах диалектики по Краткому курсу истории ВКП(б).

Лицо Дымшица, сначала триумфаторское, стало скучающим, затем паническим. Он взглянул на часы, поманил меня пальцем, усадил рядом и зашептал:

— Я должен сейчас уйти. Займите мое место и доведите заседание до конца.

Мне пришлось испить чашу позора до конца. Когда капитан умолк, я спросил аудиторию, есть ли вопросы. Все молчали: всем было все ясно. Только мой друг Эбергард Шмидт, композитор, энтузиаст хорового пения, робко поинтересовался:

— Верно ли, что в России закрыты все философские факультеты?

Образование докладчика, как потом выяснилось, было "средним" — ускоренные курсы политруков военного времени. Вопроса Шмидта он просто не понял и промычал нечто невразумительное. В дискуссию пришлось включиться мне.

Я сказал, что одно время философии у нас, действительно, не обучали. Но это в прошлом. Конечно, за годы войны уровень теории у нас упал, мы решали практические задачи, какие — известно всем. Решили их успешно, иначе не было бы ни сегодняшнего заседания, ни "Чайки" вообще. Для меня сегодняшняя встреча — урок и обязательство. Надеюсь, что разговор об эстетике мы продолжим, будет еще одна встреча.

Состоялась она, правда, только через сорок лет. В лекционном цикле "Советская наука из первых рук" мне довелось прочитать в Берлине лекцию о нашей эстетике. Организовали лекцию Дом советско-немецкой дружбы и клуб "Чайка". Среди моих старых друзей был и Эбергард Шмидт.

И еще одна встреча с "Чайкой" и Шмидтом произошла совсем недавно. После объединения Германии "Чайка" долгое время была закрыта. Затем нашлись, как сегодня говорят, спонсоры, и клуб опять функционирует. Летом 1993 года, 18 июня, в годовщину его открытия, состоялось скромное торжество. Началось все с воспоминаний. Эбергард Шмидт, вечно юный, рассказывал о том, как создание клуба смотрелось глазами антифашиста, вернувшегося к мирной жизни. Мне пришлось напомнить о деятельности советской комендатуры, вспомнил я и о злополучном докладе по эстетике, который сыграл не последнюю роль в выборе моей гражданской специальности. После разговорной части был концерт. Сначала американский джаз со "звездой", потом русский военный хор. То ли "звезда" была не первой величины, то ли народ проголодался, но когда выступали американцы, публика пребывала в буфете. Когда появился хор, "дубовый зал" снова наполнился. Наши пели a capella — без оркестра, пели народные, казачьи — походные и шуточные песни, а "на десерт" — церковные. Когда грянули "Многие лета", Эбергард Шмидт схватил меня за руку:

— Это великолепно. Народ, у которого такие песни, не погибнет. Познакомь меня с руководителем хора. Мы должны держаться вместе.

Я спросил Шмидта, имеет ли он в виду только музыку или нечто более широкое. "Предельно широкое", — заметил Шмидт.

Берлин — Москва



Конспирология

ОЛЕГ ПЛАТОНОВ

МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР В РОССИИ (1731—1995 гг.)

ВСТУПЛЕНИЕ

Эта книга написана на основе подлинных масонских документов, хранившихся в секретных масонских архивах и не подлежавших публикации.

Русские масонские тайны оберегались так надежно, что, не случись вторая мировая война, мы, скорее всего, ничего не узнали бы и до сих пор. Дело в том, что архивы масонских лож (а русские ложи были филиалами западных) и разных секретных организаций и спецслужб были захвачены Гитлером во время оккупации Европы. А после нашей победы оказались в руках Красной Армии. В качестве трофея их вывезли в Москву, где выделили в Особый Архив (ОА) и хранили под строгим секретом вплоть до 1991 года, используя преимущественно как оперативный материал для КГБ.

Десятки, сотни тысяч дел с середины XVIII века по 1939 год, а в них — протоколы заседаний масонских лож, документы, циркулярные письма и инструкции, финансовые отчеты, переписка, позволяющие с полной определенностью говорить о преступном, заговорщическом характере этой тайной организации, ставящей главной целью достижение политического влияния и господства темных закулисных сил.

Автор благодарит за помощь при составлении словаря российских масонов Башилова Юрия Михайловича, а также выражает признательность работникам Особого Архива СССР (ныне Центр Хранения Историко-Документальных Коллекций) и Государственного Архива Российской Федерации за советы и консультации при подборе документов.

ЧАСТЬ I

МАСТЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЫ

ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ РОССИИ — ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛОЖИ — ВРАЖДА К РУССКОМУ И КОСМОПОЛИТИЗМ — СЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МАСОНСТВА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ — МАСОНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ — ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРИГИ — РУСОФОБИЯ ФРИДРИХА II — ПРЕДАТЕЛЬСТВО В СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ

История российского масонства первых десятилетий существования — это метание от одного иноземного влияния к другому в поисках какой-то абстрактной "абсолютной истины", под видом которой скрывалась духовная пустота и ненависть к своей Родине, патологическая нелюбовь к ее национальным началам, традициям и идеалам.

Первые русские масонские ложи возникли как филиалы масонских орденов Западной Европы, с самого начала отражая политические интересы последних.

Журнальный вариант.

Главный постулат новоиспеченных российских масонов — мнение о духовной и культурной неполноценности России, ее темноте и невежестве, которые необходимо рассеять путем масонского просвещения.

Опорой масонского проникновения в Россию стала часть правящего класса и образованного общества, оторвавшаяся от народа, не знавшая и даже презиравшая его национальные основы, традиции и идеалы. Это предопределило антирусский, антинациональный характер развития масонства в России.

С масонства начинается сознательное повреждение русского образованного общества и правящего слоя. Оторвавшись от отеческих корней, они ищут "ключи к таинствам натуры" в западных ценностях бытия. Эти люди, ориентированные на Запад, несчастны в своей беспочвенности. Стремление найти истину для себя в чужой жизни приводит к болезненному духовному раздвоению.

Новообращенным российским масонам внушались мысли о бесспорном преимуществе западной культуры и общественной жизни по сравнению с русской "темнотой" и "невежеством". Духовная сторона масонства заключалась в вытеснении из сознания образованного слоя России национальной духовной традиции и внедрения в него чуждых "ценностей" западной цивилизации. Именно масонские ложи дали первые примеры противостояния образованного слоя государственному строю России, от них идет начало революционного антирусского движения, направленного на разрушение национальных основ.

По масонскому преданию, не имеющему никакого документального подтверждения, первым русским масоном был царь Петр I, якобы ставший членом одной из лож в Амстердаме в 1697 году. В масоны Петра будто бы посвятил английский масон строитель храма св. Павла в Лондоне Джон Верн[1].

Возвратившись в Россию, Петр якобы основал ложу в Москве, мастером которой стал Лефорт, оратором — граф Брюс, 1-м Блюстителем — Гордон, а вторым — сам Царь. Предание это является чистейшей воды позднейшей масонской выдумкой с целью освятить преступную организацию авторитетом великого человека. Царь Петр очень щепетильно относился к своим суверенным правам, высоко ценил российский самодержавный принцип, чтобы всерьез представить, что он мог поступиться ими ради участия в иноземной секте. Кроме того, если бы факт действительно имел место, то в архивах голландских масонских лож (а они хранятся пока в Москве) он был бы обязательно отражен, а этого нет.

В действительности же развитие масонства в России начинается после смерти Петра I. Вначале оно объединяет иностранцев и узкий слой космополитизированного российского дворянства и знати. Этим людям был просто необходим своего рода клуб, в котором они отделяли себя от русской жизни.

Первая российская масонская ложа возникает в 1731 году. Организуется она Великой Ложей Англии, и возглавляет ее английский капитан на русской службе Джон Филиппс, которого через десять лет сменил на этом посту тоже англичанин — генерал Джеймс Кейт.

Одним из первых известных российских масонов стал крещеный еврей П. П. Шафиров (ум. в 1739), занимавший при Анне Иоанновне высокий пост президента Иностранной Коллегии, то есть главы внешнеполитического ведомства.

Очень малочисленные вначале, масонские ложи в царствование Елизаветы охватывают несколько сот человек, преимущественно иностранцев. Именно через эти ложи западноевропейские монархи осуществляют свою тайную политику против России, а члены масонских лож становятся агентами влияния западноевропейских владык.

К середине XVIII века практически все влиятельные западноевропейские масонские ордена возглавлялись либо самими государями, либо представителями царствующих родов.

Английское масонство еще в 1721 году становится под протекторат наследника престола принца Уэльского, и с тех пор английские масоны возглавлялись высшими особами государства.

Французское масонство с 1743 года возглавлял принц королевской крови Людовик Бурбон, граф Клермон.

В Германии верховным покровителем и руководителем масонов был прусский король Фридрих Великий (вступил в ложу в 1738 году). Он имел звание гроссмейстера Великой Ложи "Трех глобусов". Его пример подтолкнул к вступ-

---

1 Особый Архив — далее ОА — ф. 730 оп. 1 д. 172 (Записка масона Кандаурова).

лению в масонство множество немецких государей и владетельных князей. Прежде всего здесь следует отметить Франца I, сначала герцога Лотарингского, а затем германского императора.

В Швеции по традиции король возглавлял национальный масонский орден.

В 1750-х годах возник так называемый "Королевский орден" с различными капитулами — "Рыцарей Востока", "Императоров Востока и Запада". В 1774 году в этом ордене состояли двенадцать королевских принцев и царствующих особ различных западноевропейских стран. Конечно, объединения эти носили преимущественно политический характер и являлись тайной формой проведения внутренней и внешней политики.

Естественно, государи и владетельные особы, загруженные государственными делами, сами не занимались текущей работой масонских лож, поручая ее своим политическим эмиссарам.

Во Франции у главы масонства Людовика Бурбона, например, такими эмиссарами служили еврейский банкир Бор и учитель танцев Лакорн, выполнявшие разные щекотливые поручения.

В Германии масонским эмиссаром был член иерусалимского капитула (бывший советник ангальт-цербстской консистории, лишенный должности за развратный образ жизни) авантюрист Самуил Роза. Не в меньшей степени прославились как мошенники и авантюристы масонские эмиссары Великий Приор Джонсон, занимавшийся открытым вымогательством денег, и барон Гунд, основатель масонской системы "Строгого Чина".

Эта система была выдумана им якобы по праву начальника всех германских масонов (VII провинции). "В короткое время орден "Строгого Чина" приобрел господствующее положение во всей Германии, и другие масонские ложи стали переходить в этот орден, подписывая "акты повиновения" неизвестным орденским властям. Таинственность ордена была настолько велика, что от членов ордена скрывались даже его цели, которые были будто бы известны только в тайне пребывающему начальству"[1]. На самом деле все это был сплошной обман, о котором мы бы не стали упоминать, если бы именно масонская система "Строгого Чина" не приобрела широчайшего распространения в России.

Сторонниками этой системы был созван масонский конгресс, на котором гроссмейстером всех лож "Строгого Чина" избрали герцога Фердинанда Брауншвейгского. А в 1775 году устроили еще один масонский конгресс в Брауншвейге, в котором приняли участие 26 князей.

Тайные политические эмиссары масонских лож плетут свои невидимые сети повсюду, где пролегают государственные интересы их западноевропейских владык. Причем самой распространенной фигурой высокого масонского функционера становится авантюрист, искатель удачи.

В середине XVIII века такой типической фигурой является Михаил Рамзэ. Как отмечает исследователь масонства, эта была "личность темная и загадочная, связанная явно с якобитами, но в то же время получающая свободный пропуск в Англию; гувернер в доме герцога Бульонского, мечтавший о "масонской космополитической республике" и вместе с тем отрекшийся перед французскими властями от своей принадлежности к масонству. Шпион Стюартов (занимавший одно из высших мест в масонской иерархии), он одновременно служил и Ганноверской династии, ловко маскируя свои политические интриги возвышенными разговорами о связи масонства и ордена крестоносцев"[2].

Под стать ему был барон Генрих Чуди, видный масон, подвизавшийся в качестве тайного масонского агента при русском Дворе.

Проникновение немецкого политического масонства в Россию можно датировать 1738 годом — моментом вступления в масонство прусского короля Фридриха II, сделавшего ложи орудием политического влияния на русское государство. Именно в 1738—1744 годах налаживаются сношения берлинской ложи "Трех Глобусов" с Петербургом[3], где уже существовала по крайней мере одна масонская ложа[4], возглавляемая Д. Кейтом. Немецкие масоны из "Трех Глобусов" захваты-

---

1 Масонство в его прошлом и настоящем. Спб. 1914, т. 1, с. 81—82.
2 Масонство... т. 1, с. 44.
3 Вестник Европы, 1868, 6, с. 550 (статья Пыпина).
4 Кроме того, известны были ложи в Риге и Архангельске.

вают контроль над русскими ложами. Петербургские масоны хранят в Германии свои архивы и регулярно направляют туда свои отчеты. Уже тогда некоторые масоны включаются в политическую борьбу, участвуя, в частности, в перевороте 1742 года[1]. За спиной заговорщиков Шетарди и И. Лестока, организовавших заговор с целью захвата власти, стояли Франция, Швеция и Пруссия, но душою его был прусский король Фридрих II, который щедро оплачивал и Шетарди, и Лестока. Цель Фридриха — способствовать отстранению от русского престола Правительницы, которая придерживалась враждебной Пруссии австрийской ориентации, а также в перспективе провести на русский престол благоговевшего перед ним с детства племянника, голштинского герцога, сына дочери Петра I и сестры шведского короля. Как известно, этот план частично удался, хотя история и внесла свои коррективы.

Однако Фридриху не удалось сделать Елизавету орудием в своих руках. Более того, Елизавета поняла действительные цели Лестока как секретного двойного агента одновременно и Пруссии, и Франции. В 1745 году русские спецслужбы перехватили тайную переписку Лестока и Шетарди; последний был выдворен из России, а Лесток потерял прежнее влияние. В 1748 году снова были перехвачены письма Лестока и заместителя канцлера М. И. Воронцова к прусскому королю-масону Фридриху, из которых следовало, что оба они регулярно получали деньги от прусского короля за некие тайные услуги. Тесно связанные с масонскими ложами Воронцов и Лесток были наказаны: Воронцов на время отстранен от государственной деятельности, а Лесток арестован, пытан в Тайной канцелярии, приговорен к смерти как политический преступник, но помилован и сослан в Углич, а затем в Устюг Великий.

Все эти эпизоды заставили Елизавету зорко следить за масонами. В 1747 году по ее инициативе учиняется допрос вернувшемуся из Германии графу Н. Н. Головину, уличенному в тайных сношениях с Фридрихом II. Он признается в своей принадлежности к масонству и сообщает имена некоторых других масонов, "живших в оном же ордене": братьев графов Захара и Ивана Чернышевых, К. Г. Разумовского и др. (принятых в ложу в 1741—1744 годах).

В 1756 году руководитель Тайной канцелярии Л. И. Шувалов приносит царице показания Михаила Олсуфева о масонской ложе "Молчаливость" в Петербурге, в которой числилось 35 человек, представителей лучших княжеских и дворянских родов — Воронцовых, Голицыных, Трубецких, Щербатовых, Дашковых. Упомянуты там, в частности, писатель А. П. Сумароков, историк Болтин, Ф. Дмитриев-Мамонов, П. С. Свистунов. Возглавлял ложу отец будущей княгини Дашковой Р. И. Воронцов. С 40-х годов рассадником масонской идеологии среди молодежи становится шляхетский сухопутный корпус, в котором преподавали масоны-иностранцы.

В середине 50-х годов масонское влияние проникает во многие центры жизнедеятельности государственного механизма России и особенно в высшие эшелоны власти, причем ориентация его была преимущественно прогерманской. С 40—50-х годов ведут членство в масонских ложах вице-канцлер (а позднее великий канцлер) граф М. И. Воронцов, воспитатель Павла I граф Н. И. Панин, а также брат последнего П. И. Панин.

Если самые близкие Елизавете люди — ее муж А. Г. Разумовский, А. П. Бестужев-Рюмин — и не состояли в масонских ложах (?), то их окружение было в значительной степени масонским. Состоял в масонской ложе брат А. Г. Разумовского Кирилл, гетман Украины. У самого Разумовского любимым адъютантом был знаменитый масон (а в будущем гроссмейстер) И. П. Елагин. Кроме того, в близком его окружении мы видим масонов А. П. Сумарокова, В. Е. Ададурова, Г. Н. Теплова (управляющего Академии Наук).

Масоном был и другой фаворит Елизаветы граф И. И. Шувалов[2], у которого личным секретарем состоял барон Генрих Чуди, один из виднейших идеологов мирового масонства[3].

Находясь под контролем масонских организаций Пруссии, русские масоны становились своего рода подданными прусского короля Фридриха, мечтавшего о разгроме и расчленении России. В первой половине 50-х годов Фридрихом гото-

---

1 ОА ф. 730 оп. 1 д. 172 л. 7.
2 Иванов В. Православный мир и масонство. М. 1993, с. 23.
3 Масонство... т. 1, с. 44.

вится заговор с целью возведения на престол свергнутого Елизаветой I младенца Иоанна Антоновича, принадлежавшего Брауншвейгской династии, к которой, кстати, относился и будущий глава мирового масонства герцог Фердинанд Брауншвейгский. Фридрихом планировалось не только отстранение от власти Елизаветы, но и военная интервенция против России.

В канцелярии Тайных розыскных дел хранится дело И. В. Зубарева, по происхождению купца, ставшего известным своими авантюрными похождениями. В 1755 году, бежав из Сыскного приказа, Зубарев держит путь за границу, в Германию, где после многих приключений встречается с офицером, оказавшимся впоследствии генерал-адъютантом Манштейном (некогда состоявшим на русской службе при Минихе). Последний отправил его в Берлин, где Зубарев беседовал с родным дядюшкой свергнутого императора Иоанна Антоновича, затем с самим Фридрихом II, который произвел его в полковники и выделил 1000 червонцев на выполнение специального задания.

Речь шла о возвращении на русский престол Иоанна Антоновича. Для этого Зубарев должен был прежде всего отправиться к раскольникам и склонить их на сторону Пруссии, убедив выбрать из своей среды епископа, который при содействии прусского короля будет утвержден в своем сане одним из иноземных патриархов. Подготовив бунт среди раскольников, Зубареву приказывалось отправиться в Холмогоры, где в то время находились свергнутый император и его родители. Изменник получил задание пробраться к герцогу Брауншвейгскому Антону Ульриху, передать ему две медали, по которым тот уже поймет, от кого и зачем прислан Зубарев. В задание Зубарева входила также подготовка герцога и его сына, низложенного императора, к побегу за границу. Побег готовился в Архангельске, куда весной должен был быть направлен корабль под видом купеческого. В случае, если похищение принца удастся, предполагалось, что король прусский объявит войну России и военным путем возведет Иоанна на престол[1].

Однако заговор провалился. Зубарев был схвачен и после долгого следствия во всем признался. В связи с чем в 1756 году свергнутый император был срочно перевезен из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость. Впрочем, впоследствии масонские заговорщики пытались освободить его еще два раза (об этом позднее).

Ярким примером масонской интриги против России стали тайные политические манипуляции английского посла-масона Вильямса, вольным или невольным орудием которого стал руководитель российского внешнеполитического ведомства граф Бестужев-Рюмин. Суть интриги состояла в том, чтобы к моменту смерти императрицы Елизаветы и восхождения на престол Петра III обеспечить такое правление, которое бы отвечало интересам Англии и ее союзников.

За спиной России тайно был заключен Уайтхоллский договор 1756 года между Англией и Пруссией, подорвавший сложившийся в мире баланс сил и на некоторое время изолировавший Россию, которая должна была выбирать между противостоящими группировками Австрия — Франция и Англия — Пруссия. Причем масонские конспираторы пытались привязать Россию к чуждому ей блоку, поссорив с прежними союзниками.

"Непостижимая перестановка в системе держав", которая так удивляла современников, являлась в значительной степени результатом развития масонского интернационала, приобретавшего особый вес в союзе прусских и английских масонских владык.

Конечно, национальные интересы России того времени должны были быть связаны с ограничением агрессивной политики Фридриха II. Дочь Петра Великого Елизавета это отчетливо понимала и не давала втянуть себя в борьбу против Франции и Австрии, к чему стремилась английская корона.

Для канцлера Бестужева-Рюмина участие в масонской интриге кончилось арестом, лишением всех чинов и должностей. Вместе с ним за эти интриги пострадал будущий глава российского масонства И. П. Елагин, состоявший в масонских ложах с двадцати пяти лет. Он был сослан в Казанскую губернию и вернулся в Петербург только с воцарением Екатерины II.

Кстати говоря, друг этого Елагина масон Г. Н. Теплов был, на наш взгляд, типичнейшим выразителем масонства этого времени.

Г. Н. Теплов, управлявший Российской Академией Наук, оставил после себя самую худую память. Как справедливо отмечалось, не было, кажется, ни одного

---

1 Русский биографический словарь "Жабокритский-Зяловский". Спб. 1916, с. 500.

факта, который свидетельствовал бы о том, что "принадлежавшая ему исключительная власть была направлена им на благо академии или отдельных выдающихся членов ее. Скорее напротив. Индифферентный к судьбам академии, как целого, к ее ученым успехам, к ее славе и процветанию, он вмешивался в тогдашнюю борьбу ее членов между собою, вмешивался как начало не примиряющее, а обостряющее разногласия..."[1]. Его деспотизм и гнет испытали на себе лучшие люди русской науки и литературы, и прежде всего Ломоносов и Тредьяковский, в травле которых он активно участвовал. Теплов был типичным масоном — безнравственным и ловким, умевшим хорошо говорить и писать. Австрийский посол в секретном письме давал исчерпывающую характеристику этому искателю удачи; "Признан всеми за коварнейшего обманщика целого государства, впрочем очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий, из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий. Когда он находился при гетмане Украины (масоне К. Разумовском. — О. П.), то несправедливостями и неотвязчивыми вымогательствами так сильно распустил всю страну, что, конечно, не избежал бы смертной казни, если бы в предыдущие оба царствования (Елизаветы и Петра III) господствовал хоть малейший порядок"[2]. Возвышенный в свое время Разумовскими, он им коварно изменил, когда стало выгодно. После смерти Теплова его бумаги перешли в руки "брата" Елагина.

Страшным преступлением масонов против России были их интриги во время Семилетней войны. Я, конечно, далек от мысли сводить все перипетии этой войны к масонским интригам, но главное налицо — совершенно очевидно имел место факт предательства. Закулисные махинации перечеркнули славные победы русских войск.

Ко времени Семилетней войны германский император, король прусский, герцоги Брауншвейгский, Гольштейн-Бекский и многие другие владетельные особы были руководителями немецких масонских лож. Соответственно к масонским ложам принадлежали и дворы этих особ и главные политические и военные деятели. Как свидетельствуют архивы, все эти люди были тесно связаны с молодым русским масонством и всячески опекали его. Сложилась система неформальных связей.

Прослеживая эти связи, прежде всего следует отметить, что наследник русского престола будущий император Петр III был членом немецкой масонской ложи и горячим поклонником ее гроссмейстера прусского короля Фридриха II.

Большое количество масонов подвизалось в штабе и среди ведущих военачальников, направленных в Восточную Пруссию для борьбы с Фридрихом II, и прежде всего в окружении фельдмаршала Апраксина (а позднее и главнокомандующего масона В. В. Фермора): генералы братья Ливены, П. И. Панин, З. Г. Чернышев, волонтеры князь Н. В. Репнин, граф Я. А. Брюс, граф Апраксин и др. Усилилось влияние масонства и в окружении самой императрицы. В частности, с 1758 года великим канцлером России становится масон М. И. Воронцов, родной брат руководителя масонской ложи "Молчаливость".

Достаточно сказать, что в разгар Семилетней войны в занятой русскими войсками Восточной Пруссии (в Кенигсберге) действовала ложа "Три Короны", возглавляемая прусским чиновником Шредером. В эту ложу входили многие русские офицеры[3]. Изменнический характер этой ложи состоял хотя бы в том, что она подчинялась великой ложе "Трех Глобусов", великим мастером которой был прусский король Фридрих II[4].

19 августа 1757 года у Гросс-Егерсдорфа произошло первое крупное сражение между русскими войсками, которыми командовал фельдмаршал Апраксин, и прусской армией. В результате упорных боев русские вынудили пруссаков к беспорядочному бегству. Прусская армия была разгромлена, потеряв 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Для русских появилась возможность беспрепятственного движения в глубь Пруссии на Кенигсберг. Однако главнокомандующий

---

1 Русский биографический словарь "Суворова-Ткачев". Спб. 1912, с. 471.

2 Там же, с. 473.

3 По не вполне достоверным данным, полученным Т. В. Бакуниной из вторых рук, от лица, якобы имевшего доступ в архив ложи "Три Глобуса" (из исследователей этих сведений никто сам не видел), непродолжительное время в этой ложе в 1761 году состоял молодой Суворов (см.: Бакунина Т., Знаменитые русские масоны. М., 1991, с. 14). Однако кроме этих, не вызывающих доверия, сведений никаких других доказательств принадлежности Суворова к масонству не существует.

4 ОА ф. 730 оп. 1 д. 175 л. 16.

Апраксин остановил преследование разбитой прусской армии, а затем приказал своим войскам отойти в Литву и Курляндию, безосновательно ссылаясь на недостаток продовольствия и распространение болезней в русских войсках.

Среди русских офицеров все это вызвало волну негодования. Вот что пишет участник этой битвы А. Т. Болотов: “Молва носилась тогда в армии, что многие будто и представляли, что учинить за неприятелем погоню и стараться его разбить до основания; так же будто советовали фельдмаршалу и со всею армиею немедля ничего, следовать за бегущим неприятелем. Но господином Ливеном (масоном. — О. П.), от которого советов все наиболее зависело, и которому, как мы после уже узнали, весьма неприятно было и то, что нам... удалось победить неприятеля, сказано будто при сем случае было, “что на один день два праздника не бывает, но довольно и того, что мы и победили”[1].

“Фельдмаршал наш, — писал в другом месте Болотов, — в донесении своем ко двору о сем происшествии, старался как можно скрыть и утаить свою непростительную погрешность<...>. Превозносил храбрость и отважность пруссаков до небес и утаивал совершенно то обстоятельство, что из армии нашей и четвертой доли не было в действительном деле, а что все дело кончили не более как полков пятнадцать, прочие же все стояли, поджав руки и без всякого дела за лесом<...>. Старался все заглушить приписыванием непомерных похвал бывшим при сражении волонтерам князю Репнину, графу Брюсу, графу Апраксину, капитану Болтингу (все имена масонов. — О. П.)...”[2]

За предательское поведение фельдмаршал Апраксин был арестован и предан суду. Новый главнокомандующий немедля двинул войска в Германию. 11 января 1758 года был взят Кенигсберг, его власти и жители присягнули Елизавете. К концу января вся Восточная Пруссия находилась в руках русских войск.

Но и в этой кампании проявлялось вмешательство масонов. При взятии Кенигсберга масонская ложа “Три короны” обратилась по масонским каналам к русскому командованию с ходатайством пощадить их город и не разрушать его как военную крепость. Ходатайство было удовлетворено[3].

Несмотря на масонские интриги и недоброжелательную политику западноевропейских держав, русские войска наголову разгромили пруссаков и в сентябре 1760 года вошли в столицу Пруссии Берлин. Однако вскоре они были отозваны оттуда, в результате чего кампания 1760 года оказалась как бы безрезультатной. Отряд войск, занявших Берлин, возглавлял тогда, в частности, старый масон З. Г. Чернышев. Возможно, это также может служить ответом на вопрос, почему русские покинули Берлин.

Положение спас русский полководец Румянцев. В 1761 году он осуществляет ряд активных боевых действий, в результате которых армия Фридриха была окончательно разгромлена и русские войска открыли путь на Берлин. “Следовало ожидать конца прусской монархии”, а Восточная Пруссия превращалась в одну из губерний Российской Империи. Русская армия ликовала.

И на этот раз Фридриха спас масонский интернационал. 25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета, а на престол взошел масон и поклонник Фридриха Петр III. С самого начала он объявил себя покровителем масонства, основал даже особую масонскую ложу в Ораниенбауме, “сразу же привлекая все что было влиятельного в армии и при дворе”. И, конечно, первое, что сделал этот коронованный масон, — вопреки национальным интересам России одним росчерком пера уничтожил результаты блистательных русских побед в Германии, отозвав оттуда войска и протянув врагу русского народа Фридриху II “руку дружбы”. Своим указом Петр III сделал главнокомандующим русскими войсками в Пруссии масона З. Г. Чернышева, дав ему одновременно распоряжение присоединиться к немецкой армии и начать военные действия против бывших союзников. Пользуясь масонскими каналами, Фридрих использовал русские войска в интересах Пруссии. Весьма характерен факт масонской солидарности прусского короля и русского масона. При воцарении Екатерины II Чернышев получил приказ о возвращении русских войск на родину. Однако по просьбе своего масонского началь-

1 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова... М. 1986, с. 170—171.
2 Там же, с. 175.
3 ОА ф. 730 оп. 1 д. 172 л. 3.

ника он три дня не объявлял о повелении императрицы, скрыв его и простояв в назначенном ему Фридрихом месте. А это позволило Фридриху успешно воевать против недавних союзников России.

Таким образом, З. Г. Чернышев "оказал Фридриху великую услугу, за что щедро был одарен им"[1].

ГЛАВА 2

РАСЦВЕТ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА — "СТРОГИЙ ЧИН" — ЕЛАГИНСКИЕ И РЕЙХЕЛЕВСКИЕ ЛОЖИ — ОБЪЕДИНЕНИЕ — ИНТРИГИ ШВЕДСКОГО И ПРУССКОГО КОРОЛЕЙ-МАСОНОВ — В РУКАХ ИНОЗЕМНОЙ ВЛАСТИ — КНЯЖЕСКАЯ ЛОЖА НА СЛУЖБЕ ФРИДРИХА II — ЗАГОВОРЫ ПРОТИВ ЕКАТЕРИНЫ — ЗАПРЕЩЕНИЕ ЛОЖ — ЖЕСТОКОСТЬ МАСОНОВ К РУССКИМ ЛЮДЯМ — НАРОДНОЕ ПРЕЗРЕНИЕ К ФАРМАЗОНАМ

Российское масонство времен Екатерины II — законченное преступное сообщество, ставившее перед собой цели подрыва российской государственности и русской церкви, подчинение народа власти иноземных владык. За внешней обрядовой мишурой чувствовалась твердая политическая воля мировой масонской закулисы, шаг за шагом превращавшей правящий класс России в космополитических марионеток, живущих по шкале координат Западной Европы.

Основные преступления масонов против России сформулированы в Указе Екатерины II по делу московских масонских организаций[2].

"...Следующие обстоятельства обнаруживают их явными и вредными государственными преступниками.

Первое. Они делали тайные сборища, имели в оных храмы, престолы, кресты и евангелия, которыми обязывались и обманщики и обманутые вечной верностию и повиновением ордену златорозового креста, с тем чтобы никому не открывать тайны ордена, и если бы правительство стало сего требовать, то, храня оную, претерпевать мучения и казни...

Второе. Мимо законной, Богом учрежденной власти дерзнули они подчинить себя герцогу Брауншвейгскому (руководителю мирового масонства того времени. — О. П.), отдав себя в его покровительство и зависимость, потом к нему же относились с жалобами в принятом от правительства подозрении на сборища их и чинимых будто притеснениях.

Третье. Имели они тайную переписку с принцем Гессен-Кассельским и с прусским министром Вельнером изобретенными ими шифрами и в такое еще время, когда берлинский договор оказывал нам в полной мере свое недоброхотство (находился в состоянии войны с Россией. — О. П.). Из посланных от них туда трех членов двое и поныне там пребывают, подвергая общество свое заграничному управлению и нарушая через то долг законной присяги и верность подданства.

Четвертое. Они употребляли разные способы, хотя вообще, к уловлению в свою секту известной по их бумагам особы (наследника русского престола Павла I. — О. П.)...

Пятое. Издавали печатные у себя непозволенные, развращенные и противные закону православному книги и после двух сделанных запрещений осмелились еще продавать новые, для чего и завели тайную типографию...

Шестое. В уставе сборищ их... значатся у них храмы, епархии, епископы, миропомазание и прочие установления и обряды, вне святой нашей церкви непозволительные..."

После свержения с престола своего супруга-масона Екатерина II испытывала к масонству глубочайшую неприязнь и недоверие, хотя открыто это и не проявляла. Как реальный политик она понимала истинное значение масонства во внутренних и внешних делах западноевропейских государств и трезво считалась с этим фактором, иногда, по-видимому, сама пытаясь использовать его в своих интересах.

Однако каждое новое соприкосновение с масонством вызывало у нее все большее и большее отторжение от него.

---

1 Русский биографический словарь "Чаадаев-Швитов", с. 314.

2 Об участии и роли в этом деле русского просветителя Н. И. Новикова мы расскажем позднее.

С масонскими заговорщиками Екатерина II сталкивается в первый же год своего царствования. Представители древнего дворянского рода братья Гурьевы Семен, Иван и Петр уличаются в заговоре в пользу Иоанна Антоновича, содержащегося в Шлиссельбургской крепости. На следствии выяснились определенная их связь с масонами Н. И. Паниным и И. И. Шуваловым, а также непонятная осведомленность об Иоанне Антоновиче и месте его пребывания (что держалось в строжайшей тайне). Заговорщики говорили: "Мы стоим за то, для чего царевич не коронован, а теперь сомнения у Панина с Шуваловым, кому правителем быть"[1]. Преступники были сосланы на Камчатку и в Якутск.

Масонские корни, по-видимому, имел и заговор В. Я. Мировича, служившего в Шлиссельбургской крепости, где в заточении находился Иоанн Антонович. В 1764 году Мирович склонил на свою сторону часть охраны, чтобы освободить "Царя Ивана". Однако при узнике постоянно находились два стража, имевшие инструкцию его убить при попытке освобождения. Они точно выполнили приказ, и Мировичу достался только труп свергнутого "Царя". Расследование, проведенное по этому делу, обнаружило у сообщника Мировича, поручика Великолуцкого полка, отрывок масонского катехизиса[2].

Мирович был "сыном и внуком бунтовщиков" против русского государства, судя по всему, крепко связанных с зарубежными конспираторами. Его дед, переяславский полковник Федор Мирович, изменил Петру I и после поражения Карла XII бежал в Польшу. Отец его, Яков Мирович, ездил тайно в Польшу, за что и был сослан в Сибирь, где в 1740 году и родился будущий "освободитель" "Царя Иоанна".

Во второй половине XVIII века сознание русского правящего класса подвергается серьезному испытанию — масонской идеологией, которая имела главной задачей разрушение ценностей русской цивилизации. Общечеловеческие ценности в понимании масонов были на самом деле ценностями западной цивилизации. Масонство проникает в высшие слои русского общества, а конкретно — в ту его часть, которая была лишена национального сознания и уверена в превосходстве западной культуры. Масонство внедряется в души русских вельмож через мистицизм, пропаганду абстрактных ценностей, сентиментальные мечтания, к которым всегда были склонны люди, лишенные национального сознания и почвы.

Отмечая привносной, искусственный для русской культуры характер масонства, один из членов масонских лож времен Екатерины Второй признавался, что "у нас не было ничего собственного, что чужое пришло к нам случайно и через влиятельных людей, которые умели окружить себя нимбом, но что оно было здесь приведено в действие с блеском и великолепием, и с редкими самопожертвованиями"[3].

Что приводило в масонские ложи русских дворян? — Любопытство, тайна, желание быть причастным к великим секретам, простое человеческое тщеславие: как бы возвыситься над другими.

"Я с самых юных лет моих, — писал известный масон И. П. Елагин, — вступил в так называемое масонство или свободных каменщиков общество, — любопытство и тщеславие, да узнаю таинство, как сказывали, между ими, тщеславие, да буду хотя на минуту в равенстве с такими людьми, кои в общежитии знамениты, и чинами и достоинствами и знаками от меня удалены суть, ибо нескромность братьев предварительно все сие мне благовестила. Вошед таким образом в братство, посещал я с удовольствием Ложи: понеже работы в них почитал совершенною игрушкою, для препровождения праздного времени вымышленного... препроводил я многие годы в искании в Ложах и света обетованного и равенства мнимого: но ни того, ни другого ниже какие пользы не нашел, колико не старался..."[4]

И. П. Елагин приобщился к масонству, по-видимому, еще в кадетском сухопутном корпусе. В двадцать пять лет он принят в ложу английской системы и служит адъютантом при фаворите императрицы Елизаветы А. Г. Разумовском. С воцарением Екатерины II Елагин определен в кабинет "при собственных ее вели-

---

1 Русский биографический словарь. "Павел-Петр", с. 194.
2 Брокгауз и Ефрон, т. 72, с. 509.
3 ОА ф. 730 оп. 1 д. 200 л. 8—9.
4 Там же, л. 57.

чества делах, у принятия челобитен", а также членом дворцовой канцелярии. Это сделало его одним из влиятельнейших людей государства. Еще более успешно проходила его масонская карьера[1].

В конце 60-х годов он основывает в Петербурге ложу Св. Екатерины, а в 1770 году Великую русскую провинциальную ложу. В 1772 году эта ложа попала под контроль Великой Ложи Англии, а Елагин, высокопоставленный екатерининский вельможа, стал провинциальным гроссмейстером под юрисдикцией английского масонства с титулом "Провинциальный Великий мастер всех и для всех русских"[2].

Под контролем Елагина (а точнее, английского трехстепенного масонства) действуют не менее пяти лож:

"Девяти Муз" в Петербурге (основана в 1774 году), руководил сам Елагин;
"Совершенного согласия" в Петербурге (1771), мастер стула Д. Кели;
"Урания" в Петербурге (1772);
"Беллоны" в Петербурге (1774);
"Клио" в Москве (1774).

Передаточными звеньями между заграничными масонскими центрами и русскими масонскими ложами служат так называемые Капитулы, наделяемые особыми правами. Например, в 1765 году в Петербурге действует директивная масонская организация Капитул "Строгого Чина" тамплиерской системы.

Работа капитулов велась в строжайшем секрете. Состав их не был известен даже большей части "братьев". Только сейчас мы имеем возможность познакомиться с персональным составом этих своего рода масонских правительств, обладавших огромным влиянием и включавших в себя видных государственных деятелей.

Вот перед нами список членов Капитула Восток Санкт-Петербурга[3] (к сожалению, не все имена написаны разборчиво, поэтому приводим только те, которые удалось разобрать).

Члены Капитула Восток С.-Петербурга (1777):

князь (А. Б.)[4] Куракин — Приор
князь (Г. П.) Гагарин — Великий Префект
граф (А. С.) Строганов
граф (Я. А.) Брюс
граф Петр Разумовский
князь Несвицкий
князь Георгий Долгорукий
барон Строганов
президент[5] (А. А.) Ржевский
Смирнов
Сабуров
Розенберг 1
Розенберг 2
Загряжский
Бороздин
(В. И.) Бибиков
Риббас
Балтинг
(И. П.) Елагин
(И. В.) Бебер.

Одновременно с развитием масонских лож, контролируемых Елагиным, широкое распространение получает семистепенное масонство так называемой Циннендорфской системы, учрежденной агентом прусского короля известным масоном, бывшим гофмейстером при дворе герцога Брауншвейгского, бароном Рейхе-

---

1 ОА ф. 730 оп. 1 д. 226 л. 43—44.
2 ОА ф. 730 оп. 1 д. 172 л. 2.
3 ОА ф. 1412 оп. 1 д. 5297 л. 34.
4 Инициалы в скобках поставлены мною. — **О. П.**
5 Президент Медицинской коллегии.

лем. Он был направлен в Петербург Фридрихом Великим, сделавшим из масонства инструмент внешней политики и достижения германских национальных целей. Как отмечается во внутренних масонских источниках, "правительство Фридриха Великого не было чуждо инициативе Рейхеля; действительно, никто лучше этого монарха не мог понимать важности для Германии распространения в России немецкого влияния, и тех результатов, каких в этом направлении можно было надеяться достичь при помощи масонства..."[1]

Барон Рейхель поселяется в Петербурге в 1771 году и делает быструю карьеру, став вскоре начальником шляхетского кадетского корпуса, превратив его в центр масонской пропаганды и воспитания молодежи в космополитическом духе.

Под эгидой Рейхеля уже в 1771 году в Петербурге учреждается первая ложа Циннендорфской системы "Аполлон" (просуществовавшая до 1772 года), а затем еще несколько лож:

"Гарпократа" в Петербурге (основана в 1773 году), первый руководитель князь Н. Трубецкой;
"Изиды" в Ревеле (1773);
"Горуса" в Петербурге (1774—1775);
"Латоны" в Петербурге (1775);
"Немезиды" в Петербурге (1775—1776).

Но главной своей задачей масонский барон видит в установлении всеобъемлющего политического контроля над русскими ложами. Шаг за шагом Рейхель заручается поддержкою целого ряда влиятельных лиц, терпеливо и умело ведя интригу. В масонских архивах сохранились документы, свидетельствующие о методах, какими проводилась эта работа.

Так, в 1771 году от имени петербургской ложи "Аполлон" герцогу Брауншвейгскому, гроссмейстеру масонского ордена, направляется письмо, подписанное мастером ложи бароном Рейхелем, наместным мастером М. Херасковым, князем А. Трубецким.

В нем высказывалась благодарность за руководство ложей со стороны немецкого масонства и получение 8 грамот на возведение в высокие масонские степени.

Рейхель и его соратники просили помощи гроссмейстера для дискредитации прав шведского и английского масонства на конституирование других лож во всем мире. Рейхель просит подсказать, что ему делать, чтобы дезавуировать влияние других масонских систем. Он извиняется перед гроссмейстером, что не может пока переслать в Германию третью часть взносов русских масонов, которые по уставу они должны выплачивать Великой Немецкой Ложе.

Рейхелевцы жалуются на поведение их соперников — Елагина и его сторонников. В письме также сообщается о методах борьбы с инакомыслящими в масонских рядах, которые, в частности, осмеливаются сотрудничать с Елагиным. "Мы, — пишет барон Рейхель, — отмечаем каждый такой случай в актах ложи и заносим в особый список. Мы удаляем провинившихся из наших рядов. Мы надеемся, что Высший Архитектор Вселенной избавит нас от подобных печальных происшествий в будущем и охранит нас от людей, кто неспособен научиться ценить чистоту... наших алтарей"[2]. По-видимому, именно в результате борьбы за чистоту алтарей ложа "Аполлон" просуществовала около года и была закрыта. Верные рейхелевцы перешли в ложу "Гарпократа", а остальные отсеялись.

Старания и интриги барона Рейхеля увенчались успехом. 3 сентября 1776 года произошло объединение лож Елагинских и Рейхелевских. Барон объяснял необходимость объединения лож требованиями установления порядка в масонской работе. Англия не имела писаных ритуалов и запрещала их иметь. По мнению Рейхеля, необходимость перевода ритуалов на русский язык вызывала много недоразумений и ошибок. Рейхель предлагал печатные ритуалы всех трех градусов[3]. Конечно, это был только повод. На самом деле решающую роль сыграло усиление немецкого влияния в русском обществе. В результате соединенные ложи попали под юрисдикцию и контроль берлинской ложи "Минерва", первоначальное английское господство в масонстве заменилось прусским, то есть новой заку-

---

1 ОА ф. 730 оп. 1 д. 172 л. 3.
2 ОА ф. 1412 оп. 1 д. 4754 л. 7—10 (подлинник на немецком языке).
3 ОА ф. 730 оп. 1 д. 172 л. 3.

лисной победой прусского короля. В письме от 2 октября 1776 года Елагин сообщает Великой Национальной Германской ложе, что он очень счастлив, видя "во всей России одного Пастыря и одно стадо"[1]. В общем под юрисдикцию немецкого масонства подпадает вся Елагинско-Рейхелевская Великая провинциальная ложа, объединившая под свое управление 18 лож, членами которых являлись многие высшие представители политического руководства России или люди, близкие к нему.

Так, в ложе "Гарпократа" в 1777 году руководителем был обер-секретарь Артемьев, в ложе "Немезиды" — статс-секретарь А. В. Храповицкий.

Через рейхелево-елагинский альянс герцог Брауншвейгский твердо контролирует деятельность русского масонства и связанных с ним политических деятелей. Право на создание новых масонских лож русские получают из Германии, туда же идут отчеты о проделанной работе. Вот, например, передо мной лежит патент немецкого гроссмейстера герцога Брауншвейгского на право создания ложи в Москве от 15 октября 1781 года[2]. В Особом Архиве хранится немало подобных документов.

Однако елагинско-рейхелевский альянс оказался непрочным и недолговечным. Причина этому была чисто политическая — борьба за влияние на наследника русского престола, в которую включился шведский король, возглавлявший масонство своей страны.

Эта шведская политическая интрига реализовывалась через князя А. Б. Куракина. Князь Куракин с детства попал на попечение своего дяди Н. И. Панина, высокопоставленного масона, руководителя внешнеполитического ведомства, воспитателя великого князя Павла Петровича. В качестве племянника Панина Куракин стал товарищем в играх и занятиях будущего императора Павла I. Между ними завязались еще с этого времени дружеские отношения, которые постоянно крепли.

В 1773 году по рекомендации дяди Куракин вступает в масонскую ложу и в тот же год получает назначение состоять при наследнике престола.

Уже в 1775 году Куракин получает 3-ю степень в ложе "Равенство", а в 1776 году выполняет поручения Великой ложи в Санкт-Петербурге по организации лож шведской системы. В Швеции Куракин наделяется специальными полномочиями. Он привозит с собой конституции для введения степеней шведской системы. Самому Куракину дается звание Великого Мастера шведской системы, которое по возвращении в Петербург он передает князю Г. П. Гагарину[3]. Однако игра в степени была только ширмой, за которой скрывались политические интриги с целью приобрести влияние на великого князя Павла Петровича.

В 1777 году в дело вступает и сам шведский король Густав III, стоявший во главе шведского масонства. Он приезжает в Петербург и лично основывает там ложу под юрисдикцией Великой Ложи Швеции, но самое главное — через посредство Панина и Куракина добивается посвящения в нее наследника русского престола великого князя Павла Петровича[4]. Конечно, происходит это в глубокой тайне.

Шведская Провинциальная Ложа выделялась порядком своей внешней организации. Кроме трех символических степеней имелись еще 4 высших градуса, по которым работал Капитул "Феникс" в Петербурге. В этом городе имелись 9 лож, три в Москве, по одной в Ревеле, Кронштадте и Саратове. Имелась также военная ложа при южной армии.

Под контроль шведского масонства попадает большая часть русских лож, ранее контролируемых Германией. Видные государственные деятели, состоявшие в русских ложах, подчиняются шведскому королю.

Об этом, в частности, свидетельствует переписка 1777—1779 годов между масоном князем Куракиным и шведским принцем Карлом Зюдерманландским, сохранившаяся в Особом Архиве[5]. Из нее явствует, что князь Куракин получал и

---

1 Масонство... т. 1. с. 145.
2 Масонство... т. 1, с. 145.
3 ОА ф. 730 оп. 1 д. 282 л. 112—113.
4 ОА ф. 730 оп. 1 д. 172 л. 4. Есть также версия, что в. к. Павел Петрович был принят в ложу годом раньше, во время заграничной поездки (во Фридрихсвилде) или другой заграничной поездки в 1782 году (Б а к у н и н а Т. Указ. соч., с. 49—50). Во всех случаях прием связан с участием князя Куракина.
5 ОА ф. 1412 оп. 1 д. 5300.

выполнял инструкции руководителя страны, настроенной тогда отнюдь не дружественно к России. Правда, намерения масонской закулисы разоблачаются русскими спецслужбами, перехватывается компрометирующая Куракина переписка, а сам он ссылается в свою саратовскую вотчину.

Рейхелево-елагинский альянс, несмотря на раскол в нем, продолжает бороться за подчинение себе, а точнее немецкому масонству, русских лож шведской системы. Ведется это под маркой дальнейшего улучшения организации масонства. И снова подпольные интриги и стремление всячески дискредитировать своих противников, которыми в этом случае выступают сторонники шведской системы братья Розенберги (один из которых занимал руководящую роль в шведском масонстве).

В масонском архиве сохранился документ 1777 года, отражающий атмосферу этой борьбы. Из него явствует, что елагинско-рейхелевский альянс желал управлять всеми российскими ложами, а представители шведской системы предлагали протекторат шведского короля.

В 1779 году герцог Зюдерманландский издает декларацию, в которой объявляет для всего мира Швецию девятой провинцией масонского ордена "Строгого Чина", приписав к ней в числе других местностей и всю Россию[1].

Екатерина, узнав об этом, в справедливом возмущении приказывает ложи шведской системы закрыть.

Поклонники шведского короля покидают Петербург и объявляются в Москве, где учреждают ложи, которые продолжают тайно работать по шведской системе[2]. К масонскому подполью этой системы присоединяются ложи "Трех мечей", "Аписа", "Трех христианских добродетелей" и, что самое характерное, на некоторое время даже ложа "Озирис".

О последней ложе следует рассказать особо. Она называлась "княжеской", так как все ее основатели имели княжеский титул и принадлежали к древнейшим дворянским родам, а свои протоколы вели по-латыни.

Однако и ложа "Озирис", куда входили члены правящих родов России, управлялась из Берлина.

Сохранилось подлинное обращение членов княжеской ложи к своим иноземным начальникам, в котором они просят их покровительства (долгое время оно сохранялось в тайных масонских архивах).

"Досточтимый мастер и досточтимые братья
Великой национальной ложи Германии

...Благодаря милости великого Архитектора Вселенной мы познали счастье открыть в Москве 2 марта 1776 ложу справедливую и совершенную под названием Озирис.

Мы получили акты о трех первых градусах, снабженных печатью ложи Аполлона для нашего досточтимого мастера князя Трубецкого, который уже получил их от досточтимого брата барона Рейхеля.

Мы надеемся, что вы не откажете нам в вашей братской дружбе. Направляем вам имена членов, которые составляют ложу Озирис, и наш адрес. Просим Вас прислать нам список лож, которые работают под вашим руководством... и не отказать нам быть ведомыми Светом вашей высшей науки Королевского Ордена Германии

Подписано:

Князь Николай Трубецкой (мастер)
Князь Алексей Черкасский (казначей)
Харитон Чеботарев (секретарь)
Михаил Пушкин (мастер церемоний)
Сергей Салтыков (первый надзиратель)
Михаил Рахманов (второй надзиратель)".

К обращению приложен список членов ложи, который сам по себе о многом говорит.

---

1 Масонство... т. 1, с. 152.
2 Там же.

Список членов ложи "Озирис" в Москве (1776)

1. Князь Николай Трубецкой — мастер ложи
2. Князь Григорий Долгорукий — заместитель мастера
3. Князь Григорий Щербатов —"—
4. Князь Василий Долгорукий — первый надзиратель
5. Сергей Салтыков — —"—
6. Михаил Рахманов — второй надзиратель
7. Михаил Херасков — оратор
8. Василий Майков — —"—
9. Семен Десницкий — —"—
10. Алексей Шепелев — секретарь
11. Харитон Чеботарев — —"—
12. Князь Алексей Черкасский — казначей
13. Князь Александр Трубецкой — мастер церемоний
14. Михаил Пушкин — —"—
15. Василий Аргамаков — первый привратник
16. Князь Федор Гагарин — второй привратник
17. Александр Гурьев
18. Князь Василий Сибирский
19. Сергей Плещеев
20. Князь Владимир Щербатов
21. Князь Николай Козловский
22. Степан Колычев
23. Князь Сергей Голицын
24. Петр Салтыков
25. Николай Колычев
26. Князь Николай Трубецкой
27. Матвей Афонин
28. Князь Александр Засекин
29. Георгий Оболдуев
30. Богдан Ройенберг
31. Князь Сергей Волконский
32. Князь Сергей Голицын
33. Петр Жеребцов
34. Николай Евреинов
35. Иван Ступишин
36. Сергей Полтев
37. Сергей Бредихин
38. Князь Александр Волконский[1].

Княжеская ложа "Озирис", как и другие российские ложи, колебалась от одного иноземного влияния к другому. Подпадая то под одно, то под другое влияние, ложа "Озирис" представляла собой идеальное космополитическое образование, враждебное национальным интересам России.

Княжеская ложа "Озирис" становится ядром так называемой Великой Национальной Ложи, в которую кроме нее вошли ложа "Аполлон" и несколько других небольших лож. Гроссмейстером Великой Национальной Ложи стал руководитель "Озириса" князь Трубецкой. Национальной эта Великая ложа была только по названию, на самом деле она находилась под юрисдикцией немецкого масонства и контролировалась из Берлина, а следовательно, королем Пруссии.

Правда, некоторое время на руководство этой ложи претендовало шведское масонство, используя в качестве козыря участие в ней наследника русского престола. Как мы уже говорили, в завязавшейся борьбе все же победила Германия, а шведская система ушла в глубокое подполье, чтобы возродиться как господствующая в царствования Павла I и Александра I (начальный период).

(Продолжение следует)

---

1 ОА ф. 1412 оп. 1 д. 4754 л. 18—19 (подлинник на французском языке).



Страна и мир

ВЛАДИМИР ДАНИЛОВ

ГРЯДЕТ ЛИ "ВЕЛИКИЙ ТУРАН"?

После провозглашения новых суверенитетов в Закавказье, Казахстане и Средней Азии темы дальнейшего развития событий в этих регионах, их судеб, борьбы за влияние в них стали одними из самых актуальных в России. За истекшие два — три года наибольший интерес к этим регионам и наибольшую активность в них проявила Турция. Это понятно. С Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Киргизией ее связывает не только религиозная — исламская, но и этническая — тюркская общность.

Турецкая экспансия породила всевозможные спекуляции относительно возрождения пантюркизма, формирования общетюркского пространства, возможностей создания на бескрайних просторах от Средиземного моря до Китая некоей тюркско-исламской империи — "Великого Турана" (Туран — название государственного образования, которое объединило бы всех живущих на Земле тюрок и которое хотели бы создать пантуранисты-пантюркисты — течение, оформившееся в последние годы существования Османской империи). Так, Н. Н. Лысенко полагает, что существует тенденция к созданию мирового исламского фронта, и одна из версий этой идеи — "Великий Туран" — новая империя тюрков, спаянная железом ислама и этнического родства" (см. "Наш современник", 1993, N 7). Другой автор также утверждает, что происходит бурный процесс консолидации тюркских народов на территории СССР и за ее пределами в Туран, представляющий главную опасность для России (см. статью Артура Геворкяна "Туран вместо СССР?" — "Наш современник", 1993, N 4).

Для того чтобы оценить обоснованность такого рода высказываний, надо, вероятно, вначале посмотреть на фактическую сторону дела — реальное проникновение Турции в тюркско-мусульманские республики Советского Союза, а затем попытаться определить возможные перспективы этого дела.

Да, во второй половине 1991 года в советско-турецких отношениях наступили неожиданные для турецкой стороны изменения. Последняя, внимательно наблюдая за происходившими внутри СССР деструктивными процессами, вначале отнюдь не торопилась реагировать на них. Но события заставили ее поторопиться. Так, прибывший в декабре 1991 года с официальным визитом в Анкару новоявленный президент Узбекистана И. Каримов, увидев в аэропорту три флага — Турции, СССР и Узбекистана и встречавшего его посла СССР, заявил, что демонстрация советского флага и участие советского посла в его переговорах ему нежелательны. Ход событий внутри СССР разрушал складывавшееся десятилетиями добрососедское, глубоко уважительное отношение Турции к великому северному соседу.

Изменение ситуации в регионе — провозглашение независимости тюркскими республиками СССР — привело к формированию в турецкой внешней политике нового важного приоритетного направления — развития прямых всесторонних связей с этими республиками, минуя Москву.

Активно реализуя это направление, Турция первой объявила о признании ею независимости новых тюркских республик. Уже в 1991 году их руководители побывали с официальными визитами в Турции. В мае 1992 года тогдашний премьер-министр Турции (ныне ее президент) Сулейман Демирель с большой помпой и в сопровождении огромной представительной делегации посетил эти республики с ответным визитом. Завязавшиеся прямые политические контакты оживленно продолжались и в 1993 году.

ДАНИЛОВ Владимир Иванович родился в 1931 году в Москве. Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук. Автор нескольких книг и десятков статей, посвященных социально-политическим проблемам современной Турции.

Таким образом, наметились очертания какого-то общеполитического поля, прозвучали многообещающие декларации даже о перспективах общетюркского парламента.

Одновременно наблюдался прогресс и в прямых экономических связях. Турецкие деловые круги быстро поняли, какие огромные возможности открываются перед ними в деле освоения природных богатств и приобретения новых широких рынков сбыта. Подписание Турцией с республиками ряда торгово-экономических соглашений и предоставление ею кредитов более чем на миллиард долларов создало основу для реализации этих возможностей.

В середине 1992 года солиднейшая экономическая организация Турции — Союз промышленных и торговых палат и бирж — организовала поездку в Среднюю Азию представительной и многочисленной (свыше 100 человек) делегации. Главной задачей ее стало определение объектов для совместных капиталовложений и торгово-экономического сотрудничества. Турецкие бизнесмены обратили особое внимание на создание совместных предприятий, на возможности инвестиций в строительство, нефтедобывающую и текстильную промышленность, турецкий финансовый капитал проявил интерес к участию в банковской сфере. В Турции прозвучали заявления о таких грандиозных проектах, как создание Центральноазиатского и кавказского банка развития со штаб-квартирой в Анкаре, восстановление "Великого шелкового пути" через строительство по его трассе железной дороги, прокладка газо- и нефтепроводов из Казахстана и Туркменистана с выходом их на средиземноморское побережье Турции.

Однако наиболее впечатляющими на сегодня выглядят достижения Турции в создании общетюркского культурного пространства. После провозглашения тюркских суверенитетов в рамках СССР в Турции как на государственном уровне, так и в общественно-политических кругах постоянно указывают на узы кровного родства, историческую, духовную, культурную общность между тюркскими народами, проводят идею восстановления этой общности, укрепления культурного, в том числе языкового единства тюрок.

Турецкое руководство не пожалело средств для организации интенсивных радиопередач на тюркские республики, с апреля 1992 года туда ведутся турецкие телепередачи с использованием спутниковых систем связи. Все эти передачи в первую очередь используются для оживления и проведения в жизнь идеи о культурно-историческом единстве. Значительные средства вкладывает Турция и в организацию совместной подготовки кадров. Выделены сотни стипендий для обучения студентов из тюркских республик в турецких университетах. В ряде городов Турции на средства министерства национального образования открыты курсы для специалистов-преподавателей из Средней Азии. На турецком языке для слушателей предлагаются лекции об идеях и реформах основателя Турецкой Республики К. Ататюрка, по истории турецкой революции, культуре и системе национального образования Турции. Образовательные мероприятия распространились даже на дипломатов: летом 1992 года в МИД Турции были проведены трехмесячные курсы для группы дипломатов из Азербайджана и Средней Азии. В программу были включены изучение турецкого языка, лекции по теоретическим вопросам дипломатии, внешней политике Турции. Отметим попутно, что для некоторых тюркских республик осуществляются турецкие программы помощи в подготовке военных кадров.

Большое значение придается достижению языкового единства. Турецкая сторона убеждает "внешних тюрок" в необходимости общего алфавита и в качестве образца предлагает турецкий латинский алфавит, распространяя его массовыми тиражами. Со стороны Турции оказана значительная помощь в финансировании создания в республиках высших и средних учебных заведений и обеспечении их оборудованием, специалистами, программами. Последние предусматривают адаптацию учащихся к турецким политическим, экономическим и идеологическим стандартам, в том числе ценностям западной демократии, рыночной экономике, секулярному характеру государства, отрицанию исламского фундаментализма. Этой же цели должен послужить турецкий добровольческий корпус для Средней Азии в составе тысячи представителей различных профессий, которые призваны оказать помощь в разработке новых конституций, законов, судебных систем, новых структур здравоохранения и образования, в развитии транспорта, связи, банковского дела и др.

Созданные на базе национальных министерств культуры по инициативе Турции постоянные органы организуют широкий культурный обмен. Поощряется обмен писателями, организация совместного издательского дела.

Энергичные и довольно эффективные инициативы, предпринятые Турцией после появления новых тюркских суверенитетов в Закавказье и Средней Азии по созданию

общетюркского культурного пространства, порождают и в России, и за ее пределами рассуждения о своего рода пантюркистском ренессансе.

Реально здесь складывается следующая ситуация. Духовное наследие остающегося в Турции непререкаемым авторитетом К. Ататюрка включает такой важный элемент, как идеология тюркизма. Последняя обусловлена исторически и продиктована тем обстоятельством, что турецкая нация отстояла свое право на существование и на независимое государство в кровопролитной войне против греческих интервентов и оккупационных войск стран Антанты, пришедших в Анатолию после развала Османской империи в результате ее поражения в Первой мировой войне. Тюркизм, турецкий национализм был провозглашен как объединяющий фактор для турецкого народа строго в границах Национального обета, определенного К. Ататюрком и его сторонниками. К. Ататюрк завещал отказаться от идей и практики пантюркизма и паносманизма времен Османской империи, которые он назвал безумными химерами, и сосредоточиться на национализме в рамках Турецкой Республики.

Это обстоятельство продолжает определять официальную позицию турецкого руководства, которое на самых высоких уровнях систематически разъясняет как в самой Турции, так и за ее пределами полное отсутствие в его политике в тюркских республиках СССР каких-либо элементов пантюркизма. Оно подчеркивает, что Турция, развивая отношения с этими республиками, отнюдь не преследует целей, определяемых идеями пантюркизма и панисламизма. Было бы грубым искажением, подчеркивает турецкое руководство, интерпретировать желание Турции помочь тюркским республикам как усилия по возрождению пантюркизма. Цель ее — не возрождение Османской империи, а развитие сотрудничества с республиками, с которыми ее связывают исторические, культурные, религиозные и языковые узы.

В мае 1992 года в ходе поездки по республикам Средней Азии С. Демирель заявил там в одном из своих выступлений: "Наша цель — не пантюркизм. Мы не затронем интересов нетюркской части населения этих республик. Но здесь — наши исторические корни, наша история, и культура начинается отсюда". Вернувшись из поездки, С. Демирель сообщил своим согражданам, что он поехал в Среднюю Азию не для того, чтобы утверждать там турецкое руководство. Просто настало время объединиться вокруг общих национальных и духовных ценностей. У Турции и тюркских республик Средней Азии, подчеркнул он, — общие дела как у стран с общими духовными ценностями, кровными узами, религией, языком.

Формулируемая таким образом официальная позиция подкрепляется и подтверждается высказываниями представителей турецкой общественности — ученых, журналистов и др. Нелишне привести в связи с этим мнение газеты "Миллиет" — одной из самых влиятельных в Турции: "...Турция может быть культурным центром всех тюрок, но мы отметаем вместе с тем бред пантюркизма".

И все же, и все же... Уже приведенные официальные формулировки и газетные высказывания как бы таят в себе некую двойственность. С одной стороны, подтверждается верность ататюркистскому толкованию турецкого национализма (только в рамках национального государства), а с другой — явственно проступает констатация исторического, культурного и т. д. единства тюрок и стремление как-то реализовать последнее.

Пантюркизму говорится решительное "нет", но вместе с тем с развалом СССР и возникновением новых тюркских суверенитетов в Закавказье и Средней Азии открываются вдруг такие новые горизонты, такие новые возможности, которые захватывают дух и будят воображение турок. Постоянно говорится о скромных намерениях крепить культурные, духовные связи, подчеркивая их равноправный характер. Но в то же время настойчиво звучит мысль о Турции как центре, средоточии этих связей.

Именно по инициативе Турции в последние годы состоялось несколько общетюркских форумов различного характера. Еще в конце 1990 года в Стамбуле прошел Международный курултай Туркестана, который был призван стать "ядром тюркского мира". Состоявшееся летом 1922 года в Стамбуле по инициативе Турции совещание министров культуры Турции, Азербайджана, тюркских республик Средней Азии и так называемой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) декларировало, что оно "...поднимет на новую высоту дух тюркизма, все тюркские государства достигнут высот современной цивилизации, и XXI век будет веком тюрок". В марте 1993 года в Турции прошел Съезд дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и общин, в котором участвовало около 800 делегатов из разных стран. Цель съезда — развитие политических, экономических и культурных связей между всеми тюрками, консолидация тюркского мира "от Адриатики до Китая".

В Турции распространяются плакаты — контуры Европы и Азии с огромным

красным (турецкий государственный флаг — красного цвета с полумесяцем и звездой в центре) пятном от Балкан до Китая. Турки, пишут газеты, "переживают период великих чувств".

Процесс осознания столь быстро и неожиданно возникших новых геополитических реалий — уход с границ Турции северного соседа, которого многие продолжали считать потенциальной угрозой, и появление новых тюркских государств — сопровождается пониманием новых громадных возможностей для региональной активности Турции, возвышения ее роли и влияния, ее лидирующего положения в тюркском мире. В результате определенные слои турецкого общества начинают считать рамки турецкого национализма слишком узкими для современных условий. Они встают перед необходимостью разрешить противоречие между заветами Ататюрка и новыми заманчивыми возможностями расширения регионального влияния Турции в тюркско-исламском мире, которые в свете изменений внутри СССР кажутся столь реальными. В связи с этим в упомянутых слоях считают, что пришло время пересмотреть положения ататюркизма, заставляющие Турцию замкнуться на самой себе. Эти устремления в общетюркский мир называют "неоосманизмом", который, однако, вряд ли будет копировать османские доктрины. Возможности его становления и развития будут определяться иными по сравнению с временами Османской империи факторами международной обстановки.

Итак, налицо определенный успех турецких инициатив в деле развития всесторонних, особенно культурных, связей с тюркскими республиками СССР, в деле формирования элементов общетюркского пространства, пробуждения общетюркской солидарности. Все это может быть отнесено, так сказать, к активу замаячившего где-то в будущем "Великого Турана". Но уже сегодня просматривается у него и пассив, и довольно весомый.

Начнем с того, что в самой Турции, среди главных политических сил, единого подхода к вопросу о политике в отношении новых тюркских республик нет, а это для судеб предполагаемого "Турана" имеет не последнее значение. По результатам всеобщих выборов в октябре 1991 года на смену однопартийному правительству правоцентристской Партии отечества (ПО) к власти пришло коалиционное правительство правоцентристской же Партии верного пути (ПВП) и Социал-демократической народнической партии (СДНП). Позиции всех трех названных главных политических партий Турции по коренным вопросам внешней политики существенных различий не имеют. Принципиальные внешнеполитические установки их программ и их практическая деятельность направлены на военно-политический союз с США, полную интеграцию по всем линиям с Западной Европой, членство в западноевропейских организациях. Считая Турцию неотъемлемой частью Запада, они рассматривают ее как своего рода посланника Запада в тюркских республиках, как своего рода "мост" между Западом и тюркским миром.

Они уверены, что турецкая модель развития могла бы послужить образцом для тюрок СССР. В политическом плане эта модель предполагает следование по пути освоения принципов, норм, институтов западной демократии, формирование политической системы по западному образцу. В экономической сфере это — курс на свободный рынок, экспорториентированное производство, сочетание государственного и частного секторов, называемое "смешанной экономикой". Для турецкой модели характерен завещанный К. Ататюрком принцип лаицизма. Турция — редкий, если не единственный в мусульманском мире тип секулярного, светского государства. Принцип лаицизма зафиксирован в конституции и неуклонно соблюдается. В целом в продвижении турецкой модели в тюркский мир правоцентристы особый упор делают на либеральную экономику, а социал-демократы — на политическую демократию и лаицизм.

Однако этому курсу в Турции существует альтернатива, представленная происламской Партией благополучия (ПБ), также одной из самых влиятельных. ПБ находится в острой оппозиции по отношению к прозападному курсу трех вышеназванных партий. Ее программные установки предусматривают принципиальную политическую и экономическую переориентацию Турции с Западной Европы на исламский мир, создание исламского общего рынка, возрождение исламских духовных ценностей.

ПБ резко критикует стремление прозападных партий придать Турции роль "моста". Она заявляет, например, что американский империализм стремится ныне подчинить себе весь мир, в том числе и Среднюю Азию. Сионизм же контролирует руководство США и использует американский империализм в своих целях. А прозападные партии Турции становятся посредниками в этом деле. Указывая, что тюркские республики СССР уже испытали на себе и капиталистические, и коммунистические порядки, руководители ПБ стремятся предостеречь их от опасности попасть в ловушку западного капитализма и стать объектом эксплуатации этого капитализма и его посредников.

Если прозападные партии стремятся показать, сколь удачно Турция сочетает в себе свойства мусульманской страны и в то же время части Запада, поборницы прав человека и демократии в западном понимании, то ПБ призывает отказаться и от западного капитализма, и от коммунизма и найти третий путь исламского свойства.

В последнее время в Турции явно происходит процесс возрождения исламских ценностей. Изменяется толкование принципа лаицизма — из него выбрасываются всякие намеки на атеизм. В отличие от 40—50-х годов, Турция осознает себя частью исламского мира, она вступила в Организацию исламская конференция. Этот ветер перемен дует в паруса Партии благополучия. Она наращивает свое влияние. В нынешнем составе однопалатного меджлиса она имеет около 60 мест из 450 и свою парламентскую группу. Если по итогам парламентских выборов 1991 года ПБ заняла среди партий четвертое место, то по результатам проведенных 27 марта 1994 года выборов в местные органы власти она вышла на третье.

Как видим, идеи консолидации исламских сил близки лишь одной из крупных партий Турции. Однако, несмотря на все ее успехи, ПБ вряд ли удастся осуществить свои цели. В Турции весьма и весьма сильно прозападное, мондиалистское лобби. Уже сейчас оно предпринимает попытки растащить Партию благополучия либо изменить ее ориентацию. Со своей стороны крупные партии западной ориентации сделают все, чтобы не допустить прихода ПБ к власти.

Определяя Турции роль "моста", прозападные партии, разумеется, не намерены ограничиваться служением интересам Запада. Таким путем предполагается достижение по крайней мере следующих собственно турецких целей. Посредническая роль и поддержка Запада позволят, по их мнению, повысить политический вес Турции в тюркском мире, а также использовать финансово-экономические возможности Запада для претворения в жизнь собственных региональных амбиций. Через заинтересованность Западной Европы в посреднической миссии Турции они надеются наконец укрепить ее положение в Европейском сообществе и стать его полноправным членом. Наконец, используя роль "моста", Турция хотела бы обеспечить признание ТРСК как со стороны Запада, так и мусульманских республик СССР.

Собственные амбиции и планы нынешнего турецкого руководства в тюркско-мусульманском мире, конечно, есть, но они ограничиваются ее экономическими возможностями. Ряд выдвинутых в 1991—1992 годах грандиозных экономических проектов из-за этого уже повисает в воздухе. Турецкую экономику терзает инфляция, сопровождающаяся снижением жизненных стандартов трудящегося населения и одновременно ростом социальной напряженности в обществе. Быстро растет ее внешний долг, составивший в прошлом году около 60 млрд. долларов. Получаемые из США, Японии и Западной Европы кредиты, не решая экономических проблем, увеличивают задолженность. В стране очень высок уровень безработицы, не решены многие социальные проблемы. Опыт истекшего года в целом показал, что намерения Турции в тюркских республиках явно превосходят ее возможности. Финансово-экономические трудности осложняются дорогостоящей и кровопролитной войной, которую турецкому правительству приходится вести в собственной стране против курдских сепаратистов. На пути к достижению общетюркской консолидации, видимо, лежит решение собственных межнациональных проблем.

Теперь о состоянии и перспективах всеобщего мусульманского единства, о неизбежности, как полагает, например, Н. Н. Лысенко, создания наряду с "Великим Тураном" и "единого арабо-тюрко-пакистанского исламского фронта". Наши мусульманские республики, заявив о своих суверенитетах, обнаружили определенный интерес к исламскому миру. В той или иной степени они включились в деятельность Организации экономического сотрудничества (в составе Ирана, Пакистана, Турции). В конце 1992 года членами этой организации стали Азербайджан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан. В декабре 1991 года при активном содействии Турции Сессия глав государств — членов Организации исламская конференция одобрила принятие Азербайджана полным членом ОИК. В июне 1992 года Туркменистан и в декабре 1992 года Киргизия и Таджикистан также стали членами этой организации.

Однако никакого единства действий со стороны исламских государств в отношении наших республик отнюдь не обнаруживается. Напротив, существуют противоречия. Наиболее глубокие из них просматриваются между Турцией и Ираном. Причем речь идет не столько о политических или экономических интересах, сколько об идеологическом влиянии. Надо сказать, в самой Турции на государственном уровне (как, впрочем, и в Иране) не любят распространяться об этих противоречиях и соперничестве или даже отрицают их, заявляя о намерении сотрудничать в Центральной Азии.

Тем не менее Турция и Иран предлагают Средней Азии два разных пути — секуля-

ристский и исламский, идет борьба между ними, и это отражается в общественном мнении обеих сторон. Так, турецкие социал-демократы призывают к продвижению в мусульманские республики принципов демократии и лаицизма (секуляризма), указывая, что если Турция не сделает этого, то вакуум заполнят Иран либо Саудовская Аравия.

Гораздо острее вопрос ставится в Иране. Иранская печать пишет о том, что Турция стремится навязать мусульманским республикам СССР свою идеологию лаицизма. При этом особый упор делается на то, что "руками Анкары действует Вашингтон", что американские деньги, перекачиваемые через Турцию в пораженные кризисом новые государства, могут полностью подчинить их "международному империализму", что США призывают Турцию стать базой для "культурного" завоевания Америкой советских мусульманских республик. Голос Исламской республики Иран предупреждает в своих радиопрограммах мусульман Средней Азии об опасности попасть под влияние политики, запрограммированной Западом для проведения через турецкий канал.

В марте 1992 года МИД Турции сообщил, что достигнута договоренность с Индией о совместном противодействии влиянию исламского фундаментализма в Средней Азии. Как видим, одно мусульманское государство идет на союз с немусульманским против другого мусульманского государства. Где уж тут говорить о мусульманском единстве.

Индия, естественно, заинтересована в ослаблении влияния ислама в регионе и особенно хотела бы противодействовать усилению влияния Пакистана, хотя тот и продвигает в Среднюю Азию более умеренную по сравнению с Ираном и поэтому более терпимую для Запада исламскую модель. В отличие от Турции, опирающейся главным образом на тюркские республики Средней Азии, Пакистан особое внимание обращает на Таджикистан, подчеркивая общность религиозных, культурных и этнических традиций между ним, Афганистаном и Таджикистаном, не игнорируя, однако, при этом и другие республики Средней Азии. Естественно, что возможность такого рода консолидации мусульманских сил в этом регионе не может не вызвать серьезную тревогу в Индии. Для последней, видимо, предпочтительнее видеть лидером интегрирующих исламских тенденций в регионе Турцию, а не Пакистан.

В известной мере вмешивается в соперничество за Среднюю Азию Саудовская Аравия, которая, как полагают на Западе, желает в противовес Ирану продвинуть свою модель исламского фундаментализма. Афганистан вследствие деструктивных процессов в СССР превращается сегодня из объекта влияния в весьма активное действующее лицо в борьбе за позиции в Средней Азии.

Нет, не видно в обозримом будущем грозного единого исламского фронта. Даже о единстве только лишь арабских стран говорить совершенно не приходится, тем более о единстве всего исламского мира. Призрачность такого единства проявилась в ходе событий вокруг армяно-азербайджанской войны из-за Нагорного Карабаха. Азербайджан самым первым из республик полностью порвал с СНГ и наиболее активно ассоциировался с международными исламскими организациями. У него сложились особые, наиболее тесные отношения с Турцией, включая даже военное сотрудничество. Все свои надежды в войне с Арменией Азербайджан связывает с поддержкой Турции и других исламских стран.

Не получилось. Запад рекомендовал Турции занять сдержанную позицию в конфликте. Было ясно, что он не допустит односторонней и активной поддержки Азербайджана Турцией. Деваться было некуда. Еще в 1992 году Турция по просьбе Армении (правда, после консультаций с Баку) согласилась выступить посредником в конфликте. Более того, откликаясь на просьбы Армении и настойчивые рекомендации Запада, Турция согласилась помочь Армении электроэнергией и хлебом. Первые партии пшеницы уже были отправлены.

Резкое обострение конфликта в 1993 году поставило Турцию в сложное положение. С одной стороны, правительство должно было вести себя сдержанно и выполнять посреднические функции. С другой, — в стране составилась мощная оппозиция против такой политики в отношении кровных братьев в Азербайджане. В меджлисе националисты и исламисты обрушились с яростными нападками на правительство за его соглашательскую политику в конфликте, требуя прямого и энергичного военного выступления Турции на стороне Азербайджана. Указывая, что пассивность Турции зажгла перед Арменией зеленый свет, они настаивали на создании антиармянского тюркского фронта. Правительство вынуждено было прекратить всякую помощь Армении, предприняло довольно энергичные миротворческие усилия в Закавказье, обратилось в Совет безопасности ООН с требованием принять меры против агрессии Армении, заявив, что в случае ее продолжения Турция окажет военную помощь Азербайджану. Однако дальше этого дело не пошло. Тогдашний премьер-министр С. Демирель заявил, что военного

вмешательства Турции не будет, поскольку этого не поддерживает "мировое сообщество".

Позиция этого "сообщества" весьма повлияла и на отношение Турции к событиям в Чечне. Вначале возникло легкое замешательство. Турецкая печать, сообщая о начале военных действий российской армии против режима Дудаева, отмечала, что последний намерен устроить России второй Афганистан, что чеченцы близки туркам этнически и тоже мусульмане, что издавна существовали исторические и культурные связи, что зона конфликта близка к границам Турции... Вскоре выяснилось, что ни Европа, ни США не протестуют, а указывают, что это внутреннее дело России. Соответственно к середине декабря 1994 года на смену первоначальному демаршу МИД Турции по поводу того, что "бомбардировки Грозного вызывают серьезное беспокойство" (турецкие газеты расценили это как формальную дань этномусульманской солидарности), последовали новые официальные заявления. В них подчеркивалось, что Анкара поддерживает сохранение территориальной целостности России, что Чечня является ее неотъемлемой частью, и нарушение территориальной целостности приведет к нестабильности в регионе. Более того, Анкара с особым пониманием относится к принципу территориальной целостности, так как сама имеет проблемы в связи с активностью курдских сепаратистов на юго-востоке страны. Не исключено, однако, что изменение оценки Западом событий в Чечне может повлиять и на позицию Турции.

В целом складывающиеся взаимосвязи стран Ближнего и Среднего Востока с бывшими советскими мусульманскими республиками постоянно находятся в поле зрения западного сообщества. Особое положение среди этих стран в глазах сообщества занимает Турция. Ее теория "моста" получает полное понимание и поддержку Запада. Для последнего далеко не безразлично, какие пути развития определят для себя новые мусульманские суверенитеты, какие политические, экономические, идеологические приоритеты изберут, ибо это существенным образом может повлиять на соотношение сил в регионе, представляющем особую важность для Запада.

Судя по заявлениям весьма ответственных деятелей США, стран Западной Европы и НАТО, последние хотели бы, чтобы Турция играла решающую роль в определении будущей ориентации исламских республик Закавказья и Средней Азии, так как "она является моделью в области прав человека и демократии". На Западе сразу обратили внимание на соперничество Турции с фундаменталистским Ираном, для которого ататюркистский лаицизм остается главным препятствием в борьбе за влияние в мусульманских республиках, где сосуществуют тюркоязычные и персоязычные народы, сунниты и шииты. Этому соперничеству придали даже большее значение, чем в самой Турции. И это можно понять, если иметь в виду, что предлагаемая Ираном для Средней Азии модель — самая нежелательная и неприятная, даже прямо враждебная Западу. Последний видит в лице Турции наиболее эффективное средство для противостояния этому, своего рода плацдарм для срыва попыток Ирана распространить в Средней Азии исламский фундаментализм и тем самым повысить роль ислама во всем регионе Ближнего и Среднего Востока.

На Западе не ограничиваются признанием особой миссии Турции, но и понимают необходимость ее материальной поддержки. Еще в конце 1990 года представитель известной американской мондиалистской организации — Фонда наследия — отмечал, что США должны поддержать в Средней Азии "силы демократии" и частное предпринимательство. Средства же для этого США должны выделять в рамках своей ежегодной помощи Турции, которая призвана сыграть конструктивную роль в регионе. Как тут не вспомнить приведенные выше опасения иранской прессы! Попутно замечу, что состоялись соответствующие соглашения между США и Турцией о выделении последней такой помощи. Руководители главных западноевропейских стран также признали необходимость поддержки действий Турции в мусульманских республиках. В 1992—1993 годах из США и Западной Европы последовали значительные финансовые вливания в ряд проектов, осуществляемых Турцией в этих республиках.

Итак, налицо достаточная координация целей и действий Запада и Турции в мусульманских республиках СССР. Собственно говоря, Турцию можно рассматривать как страну, в значительной степени уже интегрированную в западное сообщество, хотя, как отмечалось выше, она имеет в республиках собственные цели и стремится использовать поддержку Запада для их наилучшего достижения. Тем не менее, единение Турции с Западом свидетельствует о нереальности формирования ею в обозримом будущем какого-то общетюркского образования, повернутого против Запада.

До сих пор наши мусульманские республики рассматривались здесь как объект той или иной политики или влияния. Неожиданно для них самих поставленные, в результате предпринятых из Москвы волюнтаристских действий "демократического"

руководства, перед развалом СССР, выталкиваемые затем тем же руководством из рублевой зоны и т. д., они вынуждены были задуматься о своей дальнейшей судьбе. Постепенно приходит осознание сложности проблемы определения дальнейших путей развития, осознание того, что дело заключается не в простом выборе той или иной модели для слепого копирования, а в учете всего многообразия внутренних и внешних факторов. В связи с этим в республиках разворачиваются сложные социально-политические процессы. Например, возникают движения, ориентирующиеся на западную демократию, одновременно консолидируются группы, выступающие за возрождение исламских ценностей, за союз с исламским миром. Дело не ограничивается политическим противостоянием, уже не раз возникали кровавые конфликты, унесшие сотни человеческих жизней.

Первая волна эйфории, вызванной "свободами", суверенитетами, увлечением турецкой моделью, многочисленными взаимными визитами, декларациями, прошла. Это можно было уже видеть по результатам состоявшегося в Анкаре в октябре 1992 года совещания глав государств и правительств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Турции. Они оказались значительно меньше тех, что ожидали руководители Турции. Последние надеялись на оформление какого-то политического и экономического объединения. Казахстан и среднеазиатские республики, однако, не пошли на это. Руководители Казахстана заявили, что Казахстан проводит свою политику равного взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, они высказались отрицательно по поводу любой замкнутости по этническому или религиозному принципу. Руководство Узбекистана, со своей стороны, указало, что оно против создания "механизма надстройки над суверенными государствами", собравшимися в Анкаре, и что оно видит цель совещания в консультативном обмене мнениями и изучении турецкого экономического опыта, но не более того.

Казахстан и среднеазиатские республики отказались от принятия каких-либо официальных совместных заявлений по армяно-азербайджанскому конфликту, Боснии и Герцеговине и кипрской проблеме, чего очень хотела турецкая сторона. По-видимому, это отразило их нежелание быть втянутыми в проблемы и интересы турецкой внешней политики. Итак, тюркские республики охотно идут на продолжение и расширение экономического и культурного сотрудничества, на ограниченные политические консультации с Турцией. Но какое-либо оформление единства по этно-религиозному признаку вызвало у них отрицательное отношение. Итоги сотрудничества между Турцией и тюркскими республиками в 1993—1994 годах не внесли заметных корректив в границы этого сотрудничества.

Примерно в том же духе, что и первая, прошла вторая встреча в верхах в таком же составе, состоявшаяся в Стамбуле в октябре 1994 года. Принятая в результате Стамбульская декларация ограничилась в основном общими формулировками о приверженности принципам демократии и прав человека, светского характера государства, рыночной экономики. Зафиксировано намерение разработать проекты освоения природных ресурсов в тюркских республиках, особенно нефти и газа, а также их транспортировки. Серьезные трудности и противоречия выявились при обсуждении нефтяной сделки Азербайджана с западными нефтяными консорциумами.

Как и в Анкаре в 1992 году, среднеазиатские республики выступили за более сдержанные по сравнению с турецкими формулировки по Нагорному Карабаху. В декларации не получили отражения предложения Анкары о признании ТРСК и односторонней помощи боснийским мусульманам. В целом по итогам встречи можно сказать, что больших, а главное, конкретных договоренностей по экономическим и политическим вопросам между Анкарой и тюркскими республиками по-прежнему нет.

Итак, мы рассмотрели фактическое состояние дел с турецкой экспансией, выделив ее сильные и слабые стороны и показав реакцию на нее со стороны наших тюркских республик. Как видно, на сегодня возможность появления какого-либо общетюркского политического и тем более государственного образования мала, но в перспективе полностью исключать ее нельзя. Будущее такого образования зависит от России, ее дальнейшей судьбы и ее политики в международном и региональном масштабах.

Какое-либо дальнейшее прогнозирование дальнейших судеб тюркских республик совершенно немыслимо без учета роли России, как бы это слово ни понимать — как государство, названное в свое время СССР, или как усеченное и неопределенное образование, которое нарекли Российской Федерацией. Собственно говоря — на что хотелось бы обратить особое внимание — сама проблематика, ставшая темой статьи, возникла единственно по одной причине — из-за развала СССР. Разве кто-либо извне официально предъявлял претензии на среднеазиатскую часть СССР? Разве внутри

страны имело место какое-либо национально-освободительное движение, разве кто-нибудь требовал отделения от СССР? Ничего подобного.

В 1990—1991 годах "демократы", взявшие власть в Москве, предприняли при поддержке могущественных мондиалистских кругов из-за рубежа быстрые действия по развалу единого государства. Процесс этот освещался и освещается "демократическими" средствами массовой информации таким образом, будто бы он является отражением воли народов СССР, за которую выдается всего лишь желание поощрявшихся из Москвы групп сепаратистов-националистов, а массам населения усиленно навязывается впечатление "свершившегося факта", необратимости событий.

Однако развернуть полностью огромный корабль России (СССР) в желаемом направлении "демократам", несмотря на все их временные, хотя и впечатляющие успехи, пока не удается. История не повторяется, но уроки ее надо учитывать. После Октябрьской революции троцкисты уже пытались, расчленив Россию, бросить ее в жертву мифической "мировой революции", использовать Россию и русский народ как топливо для разжигания мирового пожара, на пепелище которого предполагалось возведение "нового мирового порядка". Этим в своих целях воспользовались и окраинные сепаратисты-националисты. Но не вышло... Среди большевиков, как известно, возобладали сторонники укрепления российской государственности. Ныне "демократы", будучи, по существу, политическими наследниками троцкистов, предпринимают новую аналогичную попытку. Терминология разная, но суть одна: расчленить Россию и принести ее в жертву мондиалистским планам.

И теперь постепенно становится все более ясно, что развалить СССР одним блиц-натиском "демократов" даже при мощной поддержке из-за рубежа не получается. Стало ощущаться пусть пассивное, но сопротивление этому миллионов нитей, составляющих единую ткань тысячелетнего государства. Веками происходила естественная взаимная диффузия населения различных его частей. Развал СССР потребует обратного процесса (и он уже идет), массовых миграций, мучительных для людей. К слову, в среднеазиатском регионе русское население — это не какая-то кучка колонизаторов-эксплуататоров, это более десяти миллионов человек (второе место по численности после самого большого этноса — узбеков), в подавляющем большинстве связанных с самыми трудоемкими и сложными отраслями производства и технологиями.

А границы? Ведь между РФ и Казахстаном, между среднеазиатскими республиками они, как говорится, чисто символические. Настоящих границ здесь никогда (!) не было. Можно представить, к каким трагедиям приведет попытка их установить. Ведь исторически различные этносы здесь настолько перемешались, что их невозможно разделить, если не резать по живому.

Принятые с налета решения о ликвидации СССР никак не могут уничтожить тесную связь и взаимозависимость всех его частей. Народы огромной страны, пока пассивно сопротивляясь развалу, ждут дальнейшего развития событий. Одновременно в людях растет понимание подлинного смысла происходящих в стране процессов, подлинной сути "демократов" и сепаратистов в центре и на местах. Об этом неопровержимо свидетельствуют события в ряде республик. В Азербайджане созрело понимание того, что ни Запад, ни мнимое мусульманское единство не помогут в решении его сложнейших проблем, и он вновь повернулся лицом к России, вступив в СНГ. То же сделала и Грузия, осознав, что только в единении с Россией может найти выход из того ужасного положения, в котором оказалась. Кстати, в турецких политических кругах вступление Азербайджана и Грузии в СНГ было расценено как крупная неудача турецкой политики в регионе.

Короче говоря, 1993—1994 годы, безусловно, характеризуются нарастанием центростремительных тенденций в рамках СССР в противовес центробежным. Это, в частности, нашло отражение и в прохладно-настороженном отношении среднеазиатских республик к какому-либо тюрко-исламскому объединению. Республики эти отчетливо осознают себя неотрывной частью другого государственного и экономического объединения.

Такой ход событий не может остаться незамеченным и в российском МИДе. Примерно до указанного выше периода вопрос со среднеазиатскими республиками считался там решенным — они должны были сами определять свою судьбу. "Идите, идите. Идите прочь..." — звучало в направлении этих республик из стен МИДа. Было и уточнение, куда именно идти. В одном из своих высказываний министр Козырев выразил пожелание, чтобы республики пошли по турецкому пути. Смотрите, какая синхронность с пожеланиями из Вашингтона! Жизнь, однако, заставляет менять такой подход, побуждает возобновлять связи и сотрудничество с республиками.

Исторически обусловленное взаимное тяготение друг к другу частей СССР, оче-

видно, перекрывает по своей силе идеи создания общетюркского пространства. Но если "демократам" удастся преодолеть эту естественную тенденцию, если они и дальше будут гнуть свою линию на закрепление развала СССР, то на очередь вполне закономерно встанет следующий этап этого процесса — развал того образования, которое мы называем РФ. Уже сейчас в ряде тюркских территорий, например Татарии, очень активно проявляют себя местные сепаратисты, которые, видимо, лишь ждут своего часа. И неудивительно — ведь в свое время прозвучал известный руководящий призыв брать столько суверенитета, сколько кому хочется. Уже много в РФ президентов, много и суверенитетов. Где еще, в какой стране мира существует сразу несколько президентов? На проходившей в Москве научной конференции, посвященной отношениям мусульманских республик со странами Ближнего и Среднего Востока, представитель одной из мусульманских народностей Северного Кавказа сказал мне в беседе, что они не хотят отделяться от России. Но если процесс развала последней пойдет и дальше, они, понимая, что в одиночку не видать им никакой независимости, вынуждены будут задуматься о том, с кем в дальнейшем связать свою судьбу.

Вот в таком случае не исключено в перспективе образование какого-то тюрко-исламского конгломерата. Тогда действительно за распадом России может последовать что-то вроде "Великого Турана". Не убережем Россию — некому будет противостоять этому. Если же сумеем поддержать естественные центростремительные тенденции в границах СССР, независимо от того, как они вновь будут оформлены, то это только пойдет на пользу всем народам СССР, и не будет никакого "Великого Турана".

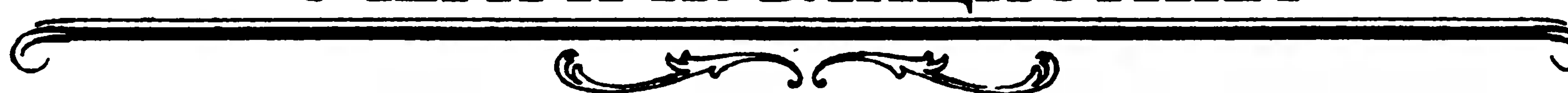
Нас призывают подчас к "всемерному политическому, экономическому, а при необходимости и военному натиску на Турцию" (замечу попутно, что Турция — член НАТО, а по условиям договора война с Турцией — это война с НАТО), объявляют Турцию с ее идеей "Великого Турана" "целью нового русского наступления".

Можно понять особую обеспокоенность некоторых стран перспективой тюркской консолидации. В дальнем зарубежье это, например, Греция, имеющая острейшие противоречия с Турцией в Средиземноморье и на Кипре, в ближнем — Армения, для которой Турция — исконный враг.

Если же говорить о сугубо российских интересах, интересах русского народа, то они никак не совпадают с искусственным разжиганием русско-турецкого противостояния. Напротив, учитывая наличие в границах РФ многих тюркских новосуверенных образований, получивших своих президентов, оно может быть ловко использовано "демократическими" кругами для осуществления второго этапа плана уничтожения российской государственности — развала РФ — который, к их сожалению, застопорился. Не задумывалась ли в этом плане Чечня как своего рода детонатор, который должен был привести к взрыву — сталкиванию лбами русских и широкого тюрко-исламского фронта? Пока не получается, но как знать...

Нет, главный враг России сегодня не в Анкаре, а в Москве. Именно отсюда "демократические" радикалы, поддерживаемые их союзниками и вдохновителями — американским государственным глобализмом и мондиалистскими силами, одержимыми безумной идеей строительства "храма" нового мирового порядка, угрожают самому существованию нашей родины, русского народа, да и других коренных народов России. Вот они-то и должны стать целью нового русского наступления.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



За право иметь дом на земле

СЕРГЕЙ БАБУРИН,

Председатель Российского Общенародного Союза,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА

История любой страны имеет свою внутреннюю логику. Чтобы понять суть нынешних отношений Российской Федерации с республиками Прибалтики, Украиной, Казахстаном, республиками Закавказья, надо не забывать, что русская государственность зарождалась тысячу лет тому назад на берегах Днепра, и Киев является по праву Матерью городов русских. Необходимо понимать, почему 450 лет тому назад началось движение России на Запад, в чем был смысл политики Ивана Грозного и Петра Великого. Мы должны помнить, чем для России был выход к Балтийскому морю и что значил для России выход к Черному морю. Помнить, что государственные руководители Армении и Грузии еще 300 лет назад обращались к самодержцам России с просьбой принять их под свое христианское покровительство.

Россия имела и имеет свои национально-государственные интересы, отображающие потребности ее существования и развития.

Российский общенародный союз (РОС) как политическая партия видит одну из главных своих задач в защите этих интересов во имя процветания России, счастья ее народа, во имя развития и безопасности всего человечества. Иерархия национальных (государственных) интересов России может быть условно определена следующим образом:

— безопасность России как государства;
— демографическая безопасность русского суперэтноса;
— культурно-исторические традиции России;
— политические ценности;
— интересы социального и экономического развития России;
— зоны жизненно важных интересов и регионы геополитической ответственности России.

История единого Российского государства, опыт совместной жизни составляющих его наций исчисляются столетиями. И главное, что должно доминировать над внутренними противостояниями в России, над всеми внешнеполитическими подходами имманентно русского российского руководства — кто бы ни был в этом руководстве, — это приоритеты российской государственности, торможение, остановка и поворот вспять центробежных тенденций в отношениях между республиками прежнего Союза.

1. В качестве основы всей системы национальных (государственных) интересов России, основного геостратегического приоритета российской политики следует назвать обеспечение государственной безопасности России.

Государственная безопасность России складывается из двух основных элементов. Во-первых, это обеспечение суверенитета России, его защита от внешних и внутренних разрушителей. При этом суверенитет — верховенство и независимость государственной власти — рассматривается как нерасчленяемое качество власти.

Во-вторых, государственная безопасность России предполагает обеспечение ее территориальной целостности, установление ее границ, их незыблемость. Россия едина и неделима.

Сознавая всю важность социально-экономического противостояния цивилизаций и государств, следует учесть, что на авансцену истории даже в чисто военном отношении неумолимо выходят Китай и исламский фундаментализм, преследующий как религиозные, так и политические и этнические цели. Только Иран на свое ускоренное вооружение тратит 18—20 процентов национального

продукта, осуществляет секретные ядерные программы. А 20—30 тысяч мусульманских фанатиков арабской национальности, обученных ЦРУ для войны против советских войск в Афганистане? Сегодня они чувствуют себя без работы...

Обеспечение суверенитета, независимости и территориальной целостности должно быть незыблемой основой нашей внешней и внутренней политики. Государство должно обеспечивать личную безопасность каждого своего гражданина и безопасность народа в целом. Обеспечивать всей своей мощью, отдавая лишь приоритет политическим средствам.

2. Демографическая безопасность русского суперэтноса. С 1992 года впервые за многие годы Россия переступила порог этнической безопасности, войдя в стадию депопуляции (вымирания населения). В Российской Федерации за год смертность превысила рождаемость почти на 800 тысяч человек. Одновременно с этим общий социально-экономический и государственно-политический кризис привел к обвальному ослаблению пограничного режима на внешних рубежах прежнего СССР, в результате чего против России началась широкомасштабная этническая экспансия. Только китайцев за 1992—1993 годы на территорию Сибири и Дальнего Востока переселилось около 3 млн. человек. Переселяются корейцы, японцы, выходцы из Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии.

При этом уже Всесоюзная перепись населения 1989 года показывала, что при общем приросте населения Российской Федерации в 1979—1989 годах на 7 процентов численность проживающих на ее территории выходцев из Закавказья и Средней Азии увеличилась в несколько раз.

Пора осознать, что в межцивилизационном противоборстве, выражением которого стало разрушение СССР, для русского народа, включая все исторически и культурно вошедшие в Россию нации, речь идет об этническом выживании. Не защитит тот же суверенный Казахстан свой народ, сколь ни пытался бы, даже ценой переселения по инициативе Н. Назарбаева в районы преобладания русского населения этнических казахов из Китая и Монголии. "Уйдет" Казахстан или в Россию, или в Китай. Но если в России, как показала история, казахи развиваются как нация, то в Китае утрата их самоидентификации неизбежна.

Учитывая тот факт, что на какой-то относительно длительный период историческая Россия расчленена на Российскую Федерацию, Украину, Белоруссию, Казахстан и другие "суверенные" части, необходимо принимать во внимание и обстоятельство, которому уделяется недопустимо мало внимания: вне Российской Федерации за пределами "своих" государств прежнего СССР проживают около 7[illegible] млн. человек, не относящихся к так называемой "коренной" нации. Значительна[illegible] часть из них — русские. Усугубляющаяся дискриминация по этническому и язь[illegible] ковому признакам породила все нарастающий поток беженцев на территори[illegible] Центральной и Средней России.

Выработка целенаправленной демографической политики, пресечение этни[illegible] ческой агрессии, принятие ряда экстренных мер, направленных на регулирован[illegible] притока населения в Российскую Федерацию из-за рубежа, адаптацию пришлой населения к русской культурной среде, привлечение русского населения в регионы Сибири и Дальнего Востока — сегодня центральная, исключительно злободневная задача российских политиков. Именно она призвана определять смысл и направленность государственной доктрины России.

3. Социальный нигилизм, забвение наших отечественных традиций и особенностей были среди факторов, вызвавших нынешнее сверхкризисное социально-экономическое положение в России. Сохранение и развитие культурно-исторических традиций России составляет важный элемент наших национальных интересов.

Традиционализм был всегда присущ массовой психологии и собственно русскому духу. Я имею в виду прежде всего идею славянского единства и идею православия как скрепляющего звена русской идеологии.

У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. И национальной чертой русских является уважение, сотрудничество и единство с другими нациями, из поколения в поколение живущими в составе нашего государства. Многонациональный состав России — ее первооснова и всемирно-исторический смысл — был ее наиболее уязвимым местом во все трудные периоды истории XX века. Но это происходило только тогда, только тогда нас потрясали революции, потрясали беды и трагедии, когда общество забывало о культурно-исторических принципах России. Ибо традиции Русской идеи, которые вырабатывались народом, осмысливались нашими отечественными мыслителями — писателями и философами, сформировали полиэтнический характер нашего национализма как обязательный элемент развития и непобедимости России. Признание этого обстоятельства, как это случилось в ходе Великой Отечественной войны, стало фундаментом победы.

Сегодня возрождается интерес к Русской идее, которая в государственно-правовом аспекте представляет собой отрицание моноэтнической государственности. Это идея духовно единой многонациональной (полиэтнической) империи

(державы), идея многонационального (полиэтнического) русского народа. И не стоит удивляться тому, что у нас свой — русский — путь в истории человечества.

Русский Путь — это правый путь жизни русского и единых с ним народов, это преломление собственного и мирового опыта через призму священного бремени отечественной истории, через позитивный традиционализм, это глубокие и последовательные реформы в атмосфере соборности — духовной общности, социально-психологического, экономического, политико-правового единения самых разных слоев российского общества. Действовать, творить соборно — значит творить сообща, общими силами, содействием, согласием.

На Руси всегда ценили индивидуальность, но не привечали индивидуализм. Эта особенность русского человека, ставшая основой национального мировоззрения и национального уклада жизни, определяла судьбу всех реформ в России за последние столетия и будет определять ее впредь.

4. К следующей группе национальных интересов России следует отнести политические ценности, политические интересы России. Это защита свобод, прав, достоинства и благополучия граждан, независимо от места их нахождения. Это создание внешнеполитических условий для осуществления реальных реформ и формирования новой политической системы. Народовластие — институт, который имеет и давние российские традиции. Мы должны преломить опыт западных стран, опыт стран Востока через наше собственное прошлое, через наши традиции.

И сегодня один из главных принципов РОС — сохранить парламентский путь развития России при любых ситуациях, при любых политиках во главе России. Но здесь возникает вопрос, возможно ли сохранить такой курс, когда тот или иной политик придает забвению национальные (государственные) интересы России?

Говоря о праве нации на самоопределение, мы должны обеспечить развитие своих культур в России всем нациям, независимо от численности каждой из них. Но развитие национальной культуры нигде в мире не означает права той или иной части единого народа на разрыв целостности государства. Мы уже опробовали в XX веке идею самоопределения вплоть до отделения, "почувствовали", во что выливается самоопределение наций после отделения — это кровь, человеческие жертвы, миллионы трагедий.

Российский общенародный союз подчеркивает, что возрождение наций, живущих на территории России, может протекать только через культурно-национальную автономию в рамках единого федеративного государства, построенного по государственно-территориальному принципу.

5. Неизменным является и наш курс на серьезную экономическую реформу. Интересы сегодняшней России в этом направлении должны быть защищены и во внешней, и во внутренней политике.

Сегодня уже почти всем понятно, что на Россию нельзя "надеть" экономическую систему никакой другой страны, какой бы удачной та экономическая система нам ни казалась. Наши приоритеты в экономической реформе известны. Мы отстаивали их на Съездах народных депутатов и в Верховном Совете России, защищаем в Государственной Думе.

Во-первых, это незамедлительное принятие системы протекционистских мер, обеспечивающих развитие отечественного предпринимательства и отечественного производства. Речь не идет об отказе от политики взаимодействия с иностранными фирмами и зарубежными партнерами. Просто необходимо стимулировать развитие собственной промышленности и собственного сельского хозяйства, реально защищать наш внутренний рынок.

Во-вторых, частичное восстановление государственного регулирования процессов экономической реформы, прежде всего — восстановление государственной управляемости государственным сектором экономики; более плавное, постепенное осуществление акционирования.

Иностранные инвестиции в любом государстве вызывают споры в обществе, тем более неоднозначна в этом вопросе позиция российского общества сегодня. Убежден, что наше экономическое сотрудничество с иностранными партнерами предполагает и иностранные инвестиции в определенные отрасли нашей экономики. Но это не должно вести к превращению России в источник дешевого сырья для других стран.

Конечно, сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Помимо выгоды для отечественных и зарубежных предпринимателей должна быть обеспечена выгода и для России в целом. Россия должна не просто сохранить прежний высокий экономический потенциал в военно-промышленном комплексе, в авиакосмических и других областях, но и выйти вновь на передовые рубежи научно-технического прогресса.

Мы убеждаем коллег справа и слева, правительство и оппозицию, что сегодня бессмысленно говорить о социалистической или капиталистической экономике в России. Столь односторонние оценки нужно оставить в XIX — начале XX века. В эпоху технократии должны формироваться новые идеологические и экономические доктрины.

Представления "новых русских" о роли "многолетнего коммунистического режима" в России неточны. "Многолетний коммунистический режим" в Китае ведет эту страну к процветанию, и тому есть объективные объяснения. Разрушению политической системы и экономики Советского Союза также есть более реальные, достоверные объяснения, чем ссылка на коммунистическую идеологию. Помимо объективных недостатков управленческих структур административно-командной системы есть и субъективные причины. Это не только забвение наших традиций людьми, которые брались определять духовную сферу, политику и государственное устройство СССР, экономическую идеологию и инфраструктуру нашей экономики, но и недальновидность политического руководства Советского Союза периода перестройки, успешная работа врагов России.

Проблема устранения монополии государственной собственности в экономике будет главной для нашей экономической реформы и впредь, даже при смене сегодняшнего правительства и нынешнего президента. Вариант приватизации, который осуществляется в России с 1991 года, — это величайшее заблуждение или величайшая афера, и я надеюсь, что этот чудовищный эксперимент над великим народом будет в ближайшее время прекращен. В России должно быть осуществлено основанное на здравом смысле, научно и социально обоснованное, политически обеспеченное разгосударствление собственности.

6. У каждого государства есть свои национальные интересы. Наивно предполагать, что кто-либо пожертвует этими интересами ради своего соседа. Задача политических деятелей России — найти гармоничное сочетание национальных интересов России с интересами других государств и при этом обеспечить, чтобы национальные интересы России не приносились бы в жертву кому бы то ни было.

Что касается коллизии между Западом и Востоком, то я убежден, что сегодняшнее преувеличенно большое внимание к опыту Запада не должно наносить ущерба России, оно должно быть дополнено изучением опыта Востока. Ибо опыт реформ Японии, Южной Кореи и Китая нам сегодня может дать гораздо больше, чем западный опыт XVIII и XIX веков.

Мы не требуем, чтобы Россия в своей внешней политике отвернулась от Запада и стала "смотреть" только на Восток. Мы добиваемся того, чтобы деятели, определяющие сегодня нашу внешнеполитическую линию, помнили о существовании и Запада, и Востока, и Юга, и Севера.

Трудно комментировать то место в опубликованной газетой "День" в январе 1993 года стенограмме встречи президентов Б. Ельцина и Д. Буша, где президент Ельцин сообщает президенту Бушу, что по просьбе американской стороны оставил в должности министра иностранных дел России господина Козырева. Жаль, что парламент оказался бессилен и не дал адекватной оценки этому факту.

Необходимо ясно заявить о сохранении у России зон жизненно важных интересов и регионов геополитической ответственности. К первым из них на ближних к России подступах относятся прежде всего Закавказье и Средняя Азия, Монголия и Корейский полуостров, Прибалтика, Средняя Европа и Балканы. Ко вторым, определяемым конкретной международной ситуацией, — Ближний Восток, районы Персидского залива и Карибского бассейна, Юг Африки.

Недруги России пугают мировую общественность заявлениями, что за Прибалтийские республики, Украину и Закавказье мы будем вести войну. Скорее наоборот. Если кто-нибудь будет препятствовать естественному процессу выражения воли народа Украины, Российской Федерации и других республик к объединению, то независимо от воли политиков та война, которая уже полыхает на окраинах прежнего Советского Союза, может стать повсеместной.

Что касается сегодняшних отношений с Прибалтийскими республиками, Украиной и другими, то, поскольку все стороны заявили о суверенитете и независимости, давайте обеспечим эту независимость. Прежде всего в сфере экономики. Не вижу защиты национальных интересов России в продолжении лишь слегка подретушированных экономических дотаций со стороны России этим республикам, в отказе от мировых цен в наших торговых отношениях. Не говорю уже о том, что в отношении республик Прибалтики считаю нормальным, справедливым и логичным сохранение на их территории ряда военных объектов как военных баз России.

Сегодня Российская Федерация несет историческую ответственность за безопасность и мир во всех регионах прежнего СССР. У Российского общенародного союза и его представителей в парламенте нет агрессивных намерений по отношению к каким бы то ни было странам Востока, Запада или Юга. Но мы выступали и будем выступать за последовательное обеспечение национальных интересов России, защиту достоинства и жизни граждан всего нашего государства. У нас свой путь в истории человечества, на котором были, есть и будут поражения и потрясающие весь мир успехи. В сохранении русской самобытности, своего Русского Пути — главная и даже единственная гарантия выживания всех наций, связавших за столетия свою судьбу с Россией.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ

Статья III

НАДЗИРАЮЩАЯ

1. С кем Вы, яростная "патриотка"?

Вечером 27 сентября 1993 года кольцо оцепления вокруг Дома Советов готово было замкнуться наглухо. Остававшиеся до сих пор свободными проходы с Садового кольца и с Новоарбатского проспекта перекрыли мощные кордоны омоновцев с автоматами. В этой гигантской ловушке оставили одну щель — проход от метро "Баррикадная". Отсюда, вдоль глухой стены стадиона — какую страшную известность обретет он вскоре! — на площадь Свободной России еще просачивался людской ручеек.

Вот в такой момент появились на площади несколько человек с огромными пачками газет. Толпа, наэлектризованная предчувствием надвигающейся беды, обступила их со всех сторон. Люди раскрывали номер "Русского собора" (пришедшие были сотрудниками редакции) в надежде узнать, что ждет впереди, какие формы борьбы могут дать шанс на победу.

О чем писала газета? Гвоздевой материал номера был посвящен сокрушению Игоря Шафаревича. Обличительница, Т. Глушкова, клеймила его как "отступника-перебежчика", именовала — весьма экзотично — "разбойником". Писала о "греховном деле" и "пурпурово-сером ореоле".

Ошеломленный, я переводил взгляд с газетного листа на омоновские цепи. Вот оно, наглядное противостояние: народ и режим; жажда справедливости, свободы и — голая жестокая сила. Линия разлома была ощутима физически. Кончиком каждого нерва, кожей, краями одежды. Даже слепой мог, если не увидеть — почувствовать ее. Но искушенный публицист, авторитет русского патриотического движения обращал свою ярость (и гнев тысяч читателей газеты) не на тех, кто стоял с автоматами наизготовку, не на тех, кто послал их сюда, а на выдающегося борца с режимом, своего, казалось бы, союзника!

Предположим, думал я, на минуту предположим, что все претензии справедливы. Даже если так — хотя доводы Глушковой меня не убедили, — разве это сейчас главное? Разве пожилой ученый, автор "Русофобии" — враг, причем не просто враг, а номер один? А кто же тогда этот расхаживающий перед строем командир омоновцев? Кто — "силовые министры" Ельцина и "демократы", призывавшие к беспощадной расправе с народом? Неужели Глушкова открыла нечто такое, что перекрывало значение противостояния на площади, выдвигая на первый план распри в патриотическом лагере? Ах, да, отношение академика к социализму! Но вместе стояли на площади — я под монархическим, коммунисты под красным флагом. Мы были едины перед лицом общего противника. Мы сознавали, кому выгодно разъединить нас, натравить друг на друга!

Продолжение. Начало в №№ 10, 11—12 за 1994 год.

КАЗИНЦЕВ Александр Иванович родился в 1953 году в Москве. Окончил МГУ и аспирантуру по кафедре критики на факультете журналистики МГУ. Работает в "Нашем современнике" с февраля 1981 года. С 1991 года ведет авторскую рубрику "Дневник современника". Автор книг "Лицом к истории", "Новые политические мифы". Секретарь Союза писателей России.

Потом выяснилось: номер был залежалым — редакция, видимо, воспользовалась оппозиционным митингом, чтобы распродать неразошедшийся тираж. На события осени "Русский собор" откликнулся позднее. На первой полосе — фотография: крест на фоне Дома Советов и подборка стихов Т. Глушковой. Скорбь по поводу погибших, но н и с л о в а в адрес убийц. Ни одного упоминания о Ельцине. Зато в пространном — на четыре газетных полосы — интервью Глушковой, помещенном в том же номере, вновь бешеные нападки на И. Шафаревича и других писателей-патриотов ("Русский собор", № 9, 1993).

Теперь, в конце осени, все должно было стать ясно — в свете пожаров, на фоне крови. Там — чужие, а здесь — свои. Те, кто насилует Россию, и те, кто (хорошо ли, плохо ли) пытаются защитить ее. Почему же опять: никакого осуждения насильников, зато — с ненавистью! — по своим, по своим, по своим!

Понятно, далеко не каждый решился бы тогда высказать режиму то, что, сжав зубы, шепотком говорила Россия. Это теперь "демократы", задумав убрать слишком одиозного союзника, глумятся над Ельциным с той же непристойной разнузданностью, с какой еще недавно восхваляли. Осенью 1993 года в атмосфере травли патриотических сил лишь немногие отваживались на открытое противоборство с "победившей демократией". Не осуждаю Глушкову за у м о л ч а н и е. Но разве не ясно, что ее к р а с н о р е ч и е, обращенное против патриотов, поддерживало хор тех, кто требовал расправы над ними!

Кстати, в том интервью обличительница ловко отмежевывалась от оппозиции. "...На ненавидимую, допустим, и м и "Россию Ельцина" (разрядка моя. — А. К.), — изящно формулировала она, отстраняясь от н и х — тех, кто сопротивлялся режиму. Любопытно: отрекаясь, тем самым символически предавая их на поношение, Глушкова еще и компрометировала оппозиционеров, приписывая им ненависть к России (пусть и к "России Ельцина"). Тогда как каждому было ясно, что ими двигала ненависть к антинародной власти.

Минул год, но у Глушковой, неустанно воюющей с патриотами, так и не нашлось ни слова осуждения в адрес тех, кто развалил Союз, обесчестил и отдал на разграбление Россию. Более того, Глушкова п у б л и ч н о о т к а з а л а с ь о т п о л е м и к и с в л а с т ь ю! Разумеется, отказ обосновывался весьма эффектно — к славе автора: "Нельзя возродить Россию путем журналистской полемики с каким-нибудь, заведомо пошлым, Яновым или Померанцем, Ельциным или Кравчуком" ("Литературная Россия", № 27, 1994).

Какой аристократизм духа! В начале лета 1994-го "заведомо пошлый" Ельцин был еще достаточно силен. Его режим вершил судьбы страны. Распродавал Россию, не считаясь с ее народом. Разорял предприятия и выбрасывал на улицу рабочих. А стоявшие за ним дивизии внутренних войск готовы были раздавить любое недовольство. "Снисходить" до полемики с Ельциным было опасно. Говоря менее изящным языком: трогать его не рекомендовалось.

А кого же рекомендовалось — трогать, язвить, сладострастно унижать, нагромождая нелепые обвинения и награждая затейливыми ярлыками? Русских писателей-патриотов.

Сначала Глушкова выбирала отдельные жертвы. Затем, видимо, войдя во вкус, пьянея от своих бесчисленных и бесконечных разоблачений, обрушилась на всех без разбора. "...Слово русского писателя часто превращается именно в ч е р т о п о л о ш ь е слово, слово могильщика, смахивающего на мародера. Куда отлетела "души высокая свобода" от "сынов гармонии", доброхотно повергших себя в тайные и явные слуги "воровских, самозванных, преступных престолов" ("Завтра", № 1, 1995).

Даже в этой лихо закрученной фразе Глушкова благонадежно удерживается от того, чтобы назвать х о з я е в этих самых "престолов". А русские писатели, которых она безнаказанно унижает, не раз называли их! Писатели-патриоты — в отличие от других "мастеров культуры" — с самого начала не приняли режим Ельцина. Со времени обороны своего Дома на Комсомольском проспекте в августе 1991 года они сознательно выбрали противоборство. Со всеми вытекающими последствиями — репрессиями, обрушившимися на союз, прекращением финансовой поддержки изданий, нищетой. Но не отступили. Писатели боролись словом, а когда требовалось, выходили во главе колонн демонстраций и первыми принимали на себя удары омоновцев (газета "День" посвятила полосу одному из таких столкновений — 22 июня 1992 года).

Вы против русских писателей? Тогда не пора ли ответить на классический вопрос: с к е м В ы, яростная "патриотка"? Какую литературную и общественную позицию занимаете? Ваши многочисленные статьи не дают ясного ответа на эти вопросы.

Впрочем, некий образ (а не идеологически очерченная позиция) проступает сквозь многословие. Образ одинокой волчицы, стоящей в стороне от литературных и политических лагерей. "Бесстрашной" и всеми гонимой. Трогательно и красиво! В духе зачина глушковского выступления на съезде писателей России в июне 1994 года. "...Мне известно абсолютно точно, — интриговала она зал, — что нигде опубликовать это выступление я не смогу, потому что публицистического слова я лишена абсолютно в литературных изданиях бывшего Союза писателей. Выступаю теперь только со стихами — никакой публицистики, полный запрет". ("Литературная Россия", № 27, 1994).

Что же, позиция одинокого хищника, выполняющего, в сущности, работу санитара, уничтожающего все отжившее, может быть оправдана и в литературе. При соблюдении нескольких условий. Абсолютной честности. Полной бескорыстности. Активного участия в борьбе с удушителями России.

К слову, о честности. Утверждая, что ее выступление не может появиться в московских изданиях, Т. Глушкова з н а л а: все выступления на съезде в о б я з а т е л ь н о м п о р я д к е публикуются в "Литературной России".

Что касается борьбы с антинациональными силами, публицистка, как я отметил, публично отказалась от полемики с "пошлым Ельциным", а заодно и с другими известными русофобами. Лавры острого бескомпромиссного полемиста получены ею в б о р ь б е с р у с с к и м и п а т р и о т а м и. И только доверчивость да заурядная неинформированность части читателей заставляет их с замиранием сердца предполагать, что если уж своих Глушкова не жалеет, то чужих, наверняка, разит без страха и трепета.

Увы, не найти следов борьбы с чужими! Во всяком случае в статьях последних лет — времени наиболее острого противоборства патриотов с силами русофобии. С середины 80-х нас заваливают "обличительством" В. Войновича, В. Гроссмана, А. Рыбакова. Но ни словом не обмолвилась о них Глушкова... Есть несколько давних публикаций с критическим разбором произведений Д. Самойлова, Ю. Мориц. Но это сугубо литературоведческие, а не публицистические работы, они не преследовали цель защитить Россию. Достойно упоминания лишь участие Глушковой в подготовке текста Письма русских писателей, опубликованного в 1990 году сразу в нескольких изданиях и получившего большой резонанс. Однако именно в данном случае Татьяна Михайловна предпочитает не афишировать свое авторство: когда я (в пору нашего активного литературного сотрудничества) представил ее на вечере журнала как одного из авторов Письма, она выговорила мне за это...

Бескорыстие — вообще редко встречающееся качество.

Вот Глушкова упрекает патриотов за наивное стремление привлечь "своих" иностранцев (в пику оппонентам, ссылающимся на поддержку всевозможных ротари и пен-клубов и прочего "цивилизованного человечества"). Упрекает, между прочим, справедливо, тем более что это не иностранцы даже, а в основном бывшие диссиденты. Но кто же активнее всех публикует новоявленных "друзей" — разве "Наш современник" или "Литературная Россия", обличаемые Глушковой? Разве на их страницах появлялись интервью с Бжезинским и Пайпсом, "круглые столы" с Синявским и Розановой, материалы ветеранов радио "Свобода", таких, как Авторханов? Все это достояние газеты "Завтра", которую Глушкова не критикует.

Справедливы опасения, которые вызывает у публицистики пропаганда в патриотических изданиях ислама, а заодно идей "евразийской федерации", где России уготована роль сырьевого придатка тюркских республик. Однако опять критические стрелы летят не по адресу. В "Наш современник", однажды — в дискуссии! — опубликовавший статью Ш. Султанова. Но ведь этот ведущий идеолог газеты "Завтра" печатает у себя десятки подобных статей вовсе не в дискуссионном порядке. Почему же журнал и обвиняемая вместе с ним "Литературная Россия" именуются органами "измены", а газета "Завтра" — последним бастионом патриотки? В обличительном порыве Глушкова сама раскрывает секрет: "...Э. Сафонов... за все мудрые годы своего редакторства не опубликовал ни одной моей... строчки" ("Литературная Россия", № 27, 1994). А газета "Завтра" Глушкову печатает...

Не хочу натравливать публицистку на наших союзников. На мой взгляд, достоинства этого боевого издания с лихвой перекрывают его недостатки (я прилюдно говорил о них самому А. Проханову). Просто отмечаю — и не без грусти, признаюсь, — что экзамен на бескорыстие Глушкова никак не выдерживает...

Можно привести еще массу примеров. Изобличая перекрасившихся коммунистов, она в апологетическом тоне пишет о Стерлигове ("Молодая гвардия",

№ 11, 1994). А ведь известно, что этот бывший генерал КГБ отказался войти во Фронт национального спасения потому, что, мол, слишком большую роль там играют коммунисты (Шафаревича, к примеру, это не испугало). И опять разгадка проста: материалы Глушковой публиковались чуть ли не в каждом номере "Русского собора", а его издатель — Стерлигов... В газете "Завтра" (№ 1, 1995) она буквально в порошок стирает В. Крупина и В. Солоухина за участие в давней писательской встрече в Риме. Умалчивая о том, что устроителем и идеологом злополучной встречи был В. Максимов — он еще нужен Глушковой (как пример диссидента раскаявшегося в борьбе с нераскаявшимися).

Разговор о честности в данном случае особенно труден. Едва ли не каждое утверждение Глушковой представляет собой если не явную ложь (нередко и это!), то натяжку или преувеличение, искажающее реальность до неузнаваемости.

Характерный образчик — нападки на Валентина Распутина в газете "Завтра" (№ 1, 1995). В качестве "криминала" Глушкова рассматривает не прямое высказывание писателя, а пересказ его реплики в статье отца Александра Шергунова. Тут необходимо пояснение: отец Александр вместе с В. Распутиным выступили с призывом к борьбе с порнографией и аморализмом. Этот призыв был подписан многими писателями и священниками. Отец Александр рассказывает, как проходило обсуждение текста. В. Распутин, по его словам, вместо формулировки "народ, теряющий нравственность" предложил более резкую — "народ, потерявший нравственность". Показательно: священник не ставит писателю в укор эту резкость. Он и представить не мог, что найдется человек, который сделает из его рассказа далеко, фантастически далеко идущие выводы.

Однако Татьяна Михайловна, надзирающая за русскими писателями, была начеку. Ухватившись за этот эпизод, она обвинила Распутина... в русофобии и поспешила поместить писателя в весьма специфический ряд: "...Так ли уж, право, далек он по сути от карякинского: "Россия, ты одурела!"? И даже от "синявского" (А. Синявский) приблатненного обвинения России, собственно, народа ее". Тут же из-под пера обличительницы выскакивают А. Михалков-Кончаловский с его фильмом "Курочка Ряба" и В. Астафьев — цитирую — "не устающий — в пору бы сказать — материть свой родной народ".

Любому непредвзятому человеку ясно: перебор, чудовищный перебор. Распутин и Синявский, Распутин и Михалков-Кончаловский — это не один ряд, это полюса художественного и гражданского сознания!

Читатель сердцем почувствует несправедливость обвинений. Литератор может доказать их несостоятельность. Первое: Глушкова "уличает" Распутина на основании фразы, взятой из вторых рук. Как профессионал она должна знать, что при пересказе — даже самом доброжелательном, как в данном случае, — неизбежно переосмысление чужих слов, интерпретация, не всегда верная. В критике к подобным источникам прибегают в крайности, когда отсутствуют прямые высказывания писателя. О народной нравственности В. Распутин говорит в каждом произведении. Казалось бы, чего проще, открой любое — "Пожар", "Прощание с Матерой" — и узнаешь, что думает автор.

Второе: почему Глушкова, торопясь обвинить писателя, уклоняется от обсуждения его высказывания по существу — истинно оно или ложно? Обратимся к самому известному примеру — молчанию значительной части народа по поводу расстрела Дома Советов (и десятка подобных событий — расстрела в Бендерах, сбитых российских вертолетов у Ткварчала и пр. и пр.) Это ли не подтверждение правоты Распутина? Другой пример: каждый пятый новорожденный в Москве не имеет отца. Что это — свидетельство здоровой морали? Так прав Распутин по сути или не прав?

Третье: слова писателя вырваны из контекста. Самое важное в данном случае — как они были произнесены: равнодушно, язвительно, с болью? Тем, кто читал Распутина, гадать не нужно. "Пожар" — вот самое трагическое свидетельство крушения народной нравственности. Писатель пережил его как личную катастрофу, после "Пожара" он несколько лет не мог писать. А когда вернулся в литературу, возглавил движение за нравственное возрождение. Что здесь достойно порицания?

Конечно, я доказываю очевидное. Однако, искусство лжи в том и состоит, чтобы замутнить, сделать сомнительным очевидное, так что потом требуется немало усилий, чтобы очистить доброе имя от грязи, которую подло швырнули в него.

Не одно имя — десятки имен. С. Куняева обличительница представляет чуть ли не ставленником "главного архитектора перестройки". "...А. Н. Яковлев с Олимпа былого ЦК КПСС — действительно прозорливец относительно "идеоло-

гических кадров"... в разгар "перестройки" не препятствовал назначению на этот "русский плацдарм" ("Наш современник" — А. К.) вроде бы "непослушного", хотя и "номенклатурного" поэта" ("Молодая гвардия", № 11, 1994).

Бесчисленные кавычки призваны, видимо, придать этой чудовищно извилистой фразе особую многозначительность. Мол, мы-то знаем...

Напрасно Глушкова делает вид, будто посвящена во все закулисные интриги тогдашнего ЦК. Яковлев, разумеется, возражал. Но было уже решение СП РСФСР. Было ясно выраженное мнение ведущих писателей, поддержавших кандидатуру Куняева. И партийные стратеги решили не ввязываться в спор с "мастерами культуры" (их еще побаивались в те времена).

Такое решение, несомненно, явилось серьезным ударом для Яковлева. Тем более что за год до своего назначения Куняев написал резкую статью "Обслуживающий персонал", в которой публично бросил вызов этому чиновному русофобу. Поэт добился ее обсуждения на секретариате СП, после чего она была рекомендована к публикации в "Литературной России". И лишь из-за малодушия некоторых бывших писательских функционеров статья не увидела свет в этой газете. Она появилась в "Московском литераторе" в 1989 году. Разумеется, Яковлеву о ней стало известно сразу после обсуждения.

И еще — о "номенклатурном" поэте. Глушкова расчетливо ставит эти слова в конец фразы: так лучше запомнятся. Единственная "номенклатурная" должность Куняева до назначения главным редактором — пост секретаря Союза писателей Москвы. Поэт занимал его 4 года. Он был снят по распоряжению ЦК после того, как обратился в эту высшую партийную инстанцию с открытым письмом, где предупреждал об опасности сионизма и призывал к решительной борьбе с ним.

Особого внимания Т. Глушковой удостоился В. Кожинов. Она потратила много бумаги и яда, чтобы представить его человеком чуждым, нет — прямо враждебным русскому движению. Для убедительности публицистка наградила его новым именем: Ганс, "Гансик Кожинов" — по-своему признав, что ей не под силу победить ученого в интеллектуальном споре (иначе зачем понадобилось, впадая в детство, опускаться до уровня ребяческой дразнилки).

И вновь знакомая "методология" — в бесчисленных антикожиновских публикациях разговор вращается вокруг нескольких цитат. Вырванных из контекста — жизненного и книжного. Судьба отбрасывается за ненадобностью. А у Кожинова достаточно четко прочерченная судьба. Его книга "Происхождение романа" (1963 г.) произвела сенсацию в научном мире. Она вызвала поток хвалебных рецензий, была переведена на множество языков и растиражирована от Токио до Буэнос-Айреса. Однако следующую работу встретил заговор молчания. Что же произошло? Если книга о романе была сугубо теоретической, то новая рассказывала о русской классике. Ученый не скрывал любви к ней и народу, ее породившему. За что был немедленно объявлен "неприкасаемым".

Жестокий урок впрок явно не пошел, ученый оказался человеком твердых убеждений. Избрав путь служения отечественной культуре, он не делал стыдливых зигзагов. В середине шестидесятых — вместе с О. Волковым, П. Палиевским, Д. Жуковым, С. Семановым — он создает так называемый "Русский клуб", где едва ли не впервые за послевоенные годы русская идея, самобытный путь развития страны становятся предметом изучения и обсуждения. В 1966 году на базе "Русского клуба" возникает "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" — организация с миллионами членов по всей стране. Ее многочисленность, как явствует, например, из книги А. Янова, беспокоила западных советологов, пугая призраком влиятельной "Русской партии". К сожалению, как политическая структура Общество оказалось весьма аморфным, но целые двадцать лет оно служило цитаделью патриотической мысли. Не говорю о прямом назначении Общества — его вклад в защиту памятников культуры огромен.

Но главное в деятельности Кожинова — не общественная работа, а исследование и осмысление русской литературы. Он стал страстным "первооткрывателем" Н. Рубцова, А. Прасолова, Н. Тряпкина, Ю. Кузнецова, В. Шукшина, В. Белова. Целое поколение писателей, принесших в официальную советскую словесность непосредственность, самобытную красоту народной жизни, многим обязано В. Кожинову. Та же страстность отличает его прочтение русской классики. Подчас оно оказывалось столь злободневным, что вызывало бурю в критике, и даже грозные постановления ЦК.

Между прочим, н а у ч н а я добросовестность Кожинова делает его удобной мишенью для и д е о л о г и ч е с к и х обвинений. Ученый анализирует реальную ситуацию — литературную или жизненную, идеологи предпочитают говорить о

должном. Остается только отметить несоответствия между идеалом и действительностью и гвоздить ученого за то, что жизнь не столь благополучна, как того требует догма. Этим охотно занимались идеологи ЦК. Теперь "почетную обязанность" взяла на себя Т. Глушкова.

Нет, я не утверждаю, что все, написанное В. Кожиновым, бесспорно. Нередко он намеренно заостряет высказывания, как бы подзадоривая на полемику (пример — выступление за "круглым столом" журнала "Наш современник", № 3, 1993). Но полемику, если цель — истина, а не унижение оппонента, следует вести достойно. К тому же неприязнь обличительницы настолько велика, что сплошь и рядом она обрушивается на те положения, в которых идеологический "криминал" невозможно разглядеть и под микроскопом.

Наглядный пример: размышления Кожинова о хрестоматийном стихотворении И. Тургенева "Русский язык". Вот что писал исследователь: "Его часто цитируют. Между тем, оно весьма сомнительно. Во-первых, это стихотворение говорит о том, что в России как бы ничего, кроме литературы, нет... Но, на мой взгляд, это совершенно несостоятельная постановка вопроса. Потому что не могло быть великой литературы, если бы не было великого бытия".

Вдумаемся, здесь не о чем спорить, сколь бы неожиданно ни звучало критическое замечание по адресу хрестоматийного текста. В самом деле, И. Тургенев, со свойственным ему эстетизмом (который признавал и он сам, и его исследователи), вдохновенно гипертрофирует роль языка: "Ты один... опора, ...не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома!" Сказано великолепно, на века! Но в основе этой чеканной фразы — несправедливость по отношению к "дому". В России, между прочим, тогда только что закончилась война 1877—1878 годов — может быть, последний всплеск эпического всенародного единства, в жертвенном порыве соединившего всех — от императора до рядового ополченца, готового умереть за освобождение православных болгарских "братушек".

Не стану, уподобляясь Глушковой, говорить о недостатке патриотизма (в данном случае у Тургенева). Но и кожиновское высказывание к "непатриотичным" никак не отнесешь. Поистине: "не могло быть великой литературы, если бы не было великого бытия". Иначе говоря, истории тысячелетней русской славы.

Что же делает с этим высказыванием Глушкова? Она в о п и т, как профессиональная кликуша: "Полюбуйтесь, люди добрые!" (полагаю, во всей русской критике не найти второго такого комментария к н а у ч н о м у тексту). Она сознательно переводит спор в разряд базарной склоки: "...Совсем престарелый или — лучше — маститый наш русский Ганс пишет..." ("Молодая гвардия", № 2, 1994). А затем, после уличной брани, громоздит одно обвинение на другое — одно другого чудовищней. В равнодушии к родному языку, литературе, отечеству... И так воздвигается пространная статья. Серия статей. Да что там — объемистая книга о Кожинове. (При этом обличительница ничего не говорит об о с н о в н ы х работах ученого, опубликованных в последнее время — "История Руси и русского Слова", "Черносотенцы" и "Революция", "Великая книга России". Похоже, они ей попросту не по зубам).

Зато в изобретательности публицистке не откажешь. Она придумывает не только имена — случается, и "факты". В "Русском соборе" она утверждала, что И. Шафаревич ездил в Горький к ссыльному А. Сахарову. В новой статье она уже делает Шафаревича с в я з н ы м. Характерный для Глушковой прием: порою в пределах даже одной работы (а то и фразы) снова и снова повторяемая мысль доводится до градуса кипения и — по элементарному физическому закону — переходит в новое качество — гиперболы, гротеска, фантасмагории. "...Шафаревич, — утверждает она, — осуществлял "челночную связь" между "горьковским узником" Сахаровым и "зарубежными корреспондентами" ("Молодая гвардия", № 1, 1995).

О поездке (поездках?) Шафаревича в Горький Глушкова сообщала так авторитетно, что даже я, каюсь, поверил. Помнится, защищал мнимого путешественника в "Нашем современнике" (№ 9, 1993). И лишь потом узнал: визит в Горький — обыкновенная выдумка. Между тем, ухватившись за этот придуманный ею "факт", обличительница изображает Шафаревича чуть ли не подручным Сахарова. "Клевета все потрясает".

Долго не мог поверить, что такое мифотворчество возможно, пока не вычитал у Глушковой новые сведения, на этот раз о самом себе. "...Двенадцатый номер ("Нашего современника" — А. К.) за прошлый год, где некто А. Казинцев и прямо толкует о духе ТРОЦКОГО, господствовавшем в Великой Отечественной войне, — удивительно перекликается с "исторической позицией" позорно известного авто-

ра “Ледокола” В. Резуна...” (“Молодая гвардия”, № 11, 1994). Предлагаю пари любому желающему: откройте 12 номер “Нашего современника” за 1993 год и не найдете в моей статье “Переоценка” ни одного упоминания ни о духе Великой Отечественной, ни о Троцком. Статья посвящена урокам октябрьской трагедии. Единственный раз я писал о Троцком — но в другом номере, в другой статье и по другому поводу. “Поздравляю вас, гражданин соврамши” — как говаривал один из персонажей М. Булгакова.

А вот как раз о В. Резуне и о его “Ледоколе” наш журнал писал. Автор статьи А. Ланщиков камня на камне не оставил от дилетантских и недобросовестных рассуждений перебежчика (“Наш современник”, № 5, 1994). “Совпадение позиций” и впрямь — “удивительное”!

На основании десятков подобных уловок, передержек, большой и малой лжи Глушкова делает глобальный вывод: “Он (журнал “Наш современник” — А. К.) становится постепенно... журналом ИЗМЕНЫ, печатным органом ИЗМЕНЫ. Всяческой: политической, культурной, религиозной...” (“Молодая гвардия”, № 11, 1994).

Ну, если говорят об измене всяческой, да еще прибегают к устрашающе крупным шрифтам, это свидетельствует, скорее всего, о недостатке конкретных аргументов. Между тем истина — как учили со школьной скамьи — конкретна. Потому, не вовлекаясь в словопрения, напомню об основных произведениях, опубликованных в “Нашем современнике” за 1994 год — пусть читатель судит, действительно ли мы уклонились от верного пути. Проза: В. Белов “Год великого перелома”, Л. Леонов “Пирамида”, В. Личутин “Раскол”, А. Проханов “Дворец”. Публицистика: выступления М. Астафьева, С. Говорухина, В. Зорькина, Г. Зюганова, Б. Олейника; серия публикаций О. Платонова “Экономика русской цивилизации”, циклы статей С. Кара-Мурзы и митрополита Иоанна.

Где здесь измена — политическая, культурная, религиозная? И если Глушкова все-таки сумеет углядеть ее в этом ряду, ей следует признаться, что она борется не с “Нашим современником”, “изменившим” идеалам русского движения, а с самим русским движением. С нашей литературой и с патриотической оппозицией.

Похоже, дело именно так и обстоит: пространен проскрипционный список, куда обличительница зачисляет “всяческих” “изменников”: “...Русские литературные периодические издания: журналы “Москва”, “Наш современник”, “Слово”, “Кубань”, еженедельник “Литературная Россия” оказались прямо или закулисно, но жестко контролируемыми представителями двух специфических меньшинств: во-первых, бывшими диссидентами; во-вторых, эмигрантами 2-й и 3-й волны” (“Молодая гвардия”, № 11, 1994).

Сразу отмечу — ни один из названных мною авторов, чьи произведения определяли лицо журнала в минувшем году, не является эмигрантом или диссидентом. Кстати, о вопиющей безграмотности отождествления эмигрантов второй и третьей волн мы еще будем говорить. А пока — информация к размышлению. Осенью 1993 года, в пору наиболее жестоких гонений на патриотическую прессу, появилось коллективное письмо, где перечислялись те же самые издания и также в резко негативном контексте: “ В Администрацию Президента Российской Федерации... Дополнить список изданий, подлежащих закрытию, газетами “Московский литератор”, “Литературная Россия”, в течение ряда лет служившими трибуной для пропаганды националистических и фашистских идей, журналами “Кубань”, “Наш современник”, служившими идеологической базой реакции...” Призыв подписали функционеры альтернативного писательского союза, созданного “ультрадемократами”.

Как видим, несмотря на различие исходных позиций, направление ударов одно: на патриотические издания. Так ли уж важно, под каким предлогом стремятся их удушить или хотя бы скомпрометировать. Важна цель — уничтожить оппозиционную режиму прессу.

В отличие от Глушковой, не стану обвинять ее в тайном сговоре с “демократами”. Подчеркну другое: ее конфликт с русскими писателями и изданиями на руку “демократам”. Только им!

Сколько глушковских инвектив опубликовал журнал “Молодая гвардия” (любопытно, что, как правило, ее статьи появляются в период подписки — №№ 10, 11—12 за 1993год; № 11 за 1994 год). Что — разве вырос от этого тираж журнала? Зато можно наверняка сказать, что какого-то числа подписчиков недосчитались “Москва”, “Литературная Россия”, та же “Кубань” — а для этого смелого журнала, бьющегося в одиночку в провинции, каждый подписчик на вес золота.

Ну-ка, простейшая задача: кто выиграл от свары, затеянной Глушковой? Конечно, демпресса: "Знамя", "Октябрь", "Литературная газета".

Надо учесть и то, что каждый пошатнувшийся в вере, утративший доверие к тем, кто зовет на борьбу, — не просто потенциальный дезертир из рядов оппозиции, но и легкая добыча для противника. И сколько я видел бывших патриотов, которые клеймили былых кумиров с куда большей яростью, чем записные "демократы"!

Распря в патриотическом лагере доставляет огромное удовольствие идеологам режима и их западным союзникам. Не так давно почти одновременно на Западе и в Москве (оперативность, свидетельствующая о важности акции) вышла книга американского еврея У. Лакёра "Черная сотня". Используя самые грубые штампы заокеанской советологии, автор талдычит о "русском фашизме". С особой неприязнью (что в данном случае вполне понятно) он пишет об идеологах русского движения — И. Шафаревиче, В. Кожинове. И с каким мстительным удовлетворением русофоб уснащает изрядно приевшуюся словесную жвачку остренькой приправой сплетен о скандале в патриотических кругах. "Крайне правая не обходится без внутренних ссор, — не скрывая радости отмечает Лакёр. — Такие безупречные и страстные функционеры, как Шафаревич и Кожинов, подвергаются нападкам, которые со стороны воспринимаются как абсолютно несправедливые — ведь, по существу, эти люди много дали патриотическому движению. Нападающая на них госпожа Глушкова, как идеолог, не имеет никакого веса, она напоминает маленькую, но очень агрессивную собачонку, которых держат на страх почтальонам и случайным посетителям, — облаивает и кусает всех прохожих без разбора".

Профессиональные охотники на "русского медведя" имеют все основания позабавиться. Ведь "собачонка", сама того, наверное, не ведая, в своем задоре выполняет их работу! Хотя так ли уж — "не ведая"? "Госпожа Глушкова", как мы могли убедиться, "кусает" с большим разбором: "заведомо пошлых" Янова с Померанцем да хоть бы и самого не менее пошлого Лакёра она не трогает...

Естественно, то, что вызывает радость врага, печалит истинных патриотов. Некоторые добросердечные читатели советуют положить конец распре, протянуть руку примирения Т. Глушковой. Знаю, подобные письма приходят и в журнал "Молодая гвардия".

Люди, внимательно читающие "Наш современник", могли заметить: как правило, мы не ведем полемику против л и ц, мы спорим с и д е я м и. Поэтому "запретных" авторов, литераторов, на которых наложено редакционное табу, для нас практически не существует. Конечно, мы не станем опускаться до публикаций ни того же Лакёра, ни Бжезинского, ни даже Синявского с Розановой. Однако литераторы русского направления всегда могут рассчитывать на место на наших страницах. Полемика с К. Мяло или С. Кара-Мурзой не мешает признавать несомненный талант этих ведущих современных публицистов, уважать их мнение, даже если оно не всегда совпадает с мнением сотрудников редакции.

Не входит в наши планы и полемика с журналом "Молодая гвардия". У нас много общего: читатели, авторы — назову хотя бы О. Платонова, М. Лобанова, В. Бушина, В. Сорокина. И главное — у нас, надеюсь, общая цель: торжество р у с с к о й России. Свободной, богатой, сильной. Тактическими расхождениями в данном случае можно пренебречь.

Что касается полемики с Т. Глушковой, противоречия здесь глубже и резче. Об этом можно судить хотя бы по приведенным высказываниям публицистки. Однако не все попадает на журнальные страницы, некоторые моменты остаются "за кадром". Между тем они характерны и, может быть, лучше любой цитаты свидетельствуют об остроте противостояния. Судите сами — в конце минувшего года состоялся вечер, посвященный сороковому дню со дня смерти главного редактора "Литературной России" Эрнста Ивановича Сафонова; Глушкова пришла в зал с блокнотом: собирать "компромат" для очередной статьи...

Боюсь, в данном случае примирения не получится. Ибо это уже не полемика "со своими". Тут яростная непримиримость. Конечно, Татьяна Михайловна привносит в спор много, слишком много личного, что подчас фантастически искажает его предмет. Его затемняет и нежелание Глушковой ясно ответить на вопрос: с каких же позиций она критикует патриотов? Несомненно, однако, что в основе наших разногласий — и д е о л о г и я. Разные представления об исторической судьбе страны, да и о самой стране. Молчанием, уклончивыми репликами здесь делу не поможешь. Надо четко проанализировать наши разногласия и сказать о них со всей прямотой. И тогда, надеюсь, полемику, которая причиняет боль истинным патриотам, можно будет обратить во благо. Слишком серьезные вопро-

сы нуждаются в уточнении, в определении позиции русского движения по отношению к ним. Когда бы мы еще занялись их обсуждением. А тут — перчатка брошена. Надо выходить на бой.

К идеологической сути "глушковщины" мы и обратимся в следующем номере "Нашего современника". Здесь же уместно завершить разговор проблемой п с и х о л о г и и. Каждому, кто читает сочинения Глушковой, нельзя не задуматься над одним в общем-то лежащим на поверхности, но и м е н н о п о э т о м у редко обсуждаемым вопросом. Последние годы Глушкова занята целиком и исключительно одним "делом" — "разоблачением" деятелей русской культуры, заслуживших уважение и любовь множества своих соотечественников, притом, список ее "жертв" постоянно увеличивается. К настоящему времени Глушкова "успела" так или иначе обличить или, в "лучшем" случае, высокомерно "поучить" таких, например, людей, имеющих за плечами многотрудную и богатую содержанием жизнь, как В. Белов, Л. Бородин, С. Залыгин, В. Кожинов, Ю. Кузнецов, С. Куняев, М. Лобанов, М. Назаров, В. Распутин, Э. Сафонов, А. Солженицын, В. Солоухин, И. Шафаревич и т. д. (не приходится уже говорить о более молодых — Н. Карташевой, С. Ключникове, П. Паламарчуке и др. — на них Глушкова обрушивается с прямо-таки площадной руганью). И нет сомнения, что список "жертв" будет расти и дальше, ибо для яростного "разоблачительства" Татьяны Михайловны требуется все новая и новая пожива....

Речь идет вовсе не о том, что с перечисленными людьми нельзя или не о чем спорить, что их недопустимо или не за что критиковать; ни один человек не свободен от слабостей и заблуждений... Речь о том, что Глушкова как бы присвоила себе особое "право" взирать на людей, чьи заслуги нередко во много раз превосходят ее собственные, с некой абсолютной "высоты". Можно это же выразить и по-другому: Глушкова стремится убедить читателей, что о д н а она "идет в ногу", а все остальные — неведомо как. Кстати сказать, если подойти ко всему, что написала когда-либо сама Глушкова, с той "методой", которой она пользуется в своих "обличениях", от ее сочинений ровно ничего не останется...

Во многом вся непомерно длинная серия "разоблачительных" статей Татьяны Михайловны порождена психологией неудовлетворенного с а м о у т в е р ж д е н и я. Она более тридцати лет выступала в качестве литературного критика; уже в 1963 году появилась, скажем, ее хвалебная статья о стихах Анатолия Поперечного, которого ныне не очень многие знают... К сожалению, за тридцать лет Глушкова-критик не сумела "открыть" ни одного подлинно значительного писательского имени, никого не отстояла, и ее "позитивный" вклад в критику современной литературы оказался, мягко говоря, не очень значительным.

Очевидно, именно поэтому в какой-то момент ею овладело стремление "возвысить" себя на противоположном пути, и она занялась рьяным о т р и ц а н и е м наиболее признанных "авторитетов". Первые ее шаги на этом пути оказались слишком явно неудачными. Она попыталась доказывать, что Анна Ахматова, Михаил Булгаков, Марина Цветаева и другие писатели этого ряда были чуть ли не враждебны русскому народу и якобы взирали на него с неким презрением. Вскоре Глушкова поняла, что этот номер не пройдет, ибо образы названных людей уже откристаллизовались в русском сознании, и ей не удастся их дискредитировать.

Тогда она набросилась на еще живущих, еще не приобретших завершенного облика. При этом Татьяну Михайловну отнюдь не смущало, что иных из "разоблачаемых" ею она сама еще не столь давно рассматривала как своих единомышленников! Так, в конце 1989 года она в следующих словах сопоставляла свою статью "О "русскости", о счастье, о свободе" ("Наш современник", №№ 7, 9, 1989) с тогда же опубликованной статьей Игоря Шафаревича "Русофобия": "Как хорошо, что на разном материале (зарубежно-советологическом у Шафаревича) и местном литературном (у меня) оказались возможными одинаковые выводы". Однако прошло не так уж много времени, и Глушкова обрушила на ту же "Русофобию" все возможные проклятья...

И, как ни прискорбно, на иных читателей ее проклятья действуют: знать, она сильна, думают читатели... Да, путь "разоблачительства," в самом деле, принес Глушковой ранее не дававшуюся ей в руки известность в более или менее широких читательских кругах. Но это, в сущности, "слава Герострата.

(Окончание следует)

Татьяна ОКУЛОВА-МИКЕШИНА,
кандидат исторических наук

"ВРЕМЯ СЛОВ ПРОШЛО — НУЖНЫ ПОДВИГИ"

Заметки к 100-летию со дня смерти Н. С. ЛЕСКОВА

Н. С. Лесков сразу же попал в разряд отпетых "шовинистов", говоря нынешним языком, после выхода в свет своего романа "Некуда", вскрывшего в зародыше язву нигилизма и космополитизма... Сегодня, отмечая столетие со дня смерти Лескова, мы отдаем дань памяти не только великому художнику, но и выдающемуся публицисту, борцу, который с честью отстаивал свои убеждения, идеалы и пронес через всю жизнь верность идее праведничества, своим антинигилистическим принципам.

* * *

Лесков был первым, кто твердо встал на пути нигилизма, распространившегося в России в середине XIX века и представлявшего величайшую опасность для русского народа. Нигилистам — в марксистском лексиконе "революционным демократам" (а ныне "демократам") — не терпелось устроить бунт, кровавый переворот, разрушить устои государственности и народной жизни. Решительный бой нигилизму дал Лесков в нашумевшем тогда романе "Некуда" (1864 г.), развенчав опасные утопии его приверженцев за несколько лет до "Обрыва" Гончарова (1869 г.), за 9 лет до "Бесов" Достоевского (1873 г.), предсказавшего нашествие на Русь в XX веке шигалевских идеек и легионов петров верховенских с их методами государственного терроризма, внедрения в общественную жизнь анархии, насилия, всех видов растления. По интересному замечанию критика Ю. Селезнева (автора книги "Достоевский" — из серии ЖЗЛ.— М., 1981), образ-мотив "некуда" в "Преступлении и наказании" (1866 г.) родился не без влияния романа Лескова, вышедшего на два года раньше. Кстати, по мнению этого же критика, исход из "некуда" (понимаемого как всеобщий социально-нравственный тупик) есть. Исход этот, по Лескову и Достоевскому — в идеале "народного богатырства", способности на подвиг, могущий сокрушить зло.

Бесовским идеям нигилистов (этих исторических "нетерпеливцев"), авантюристическому прыжку в "светлое будущее" Лесков противопоставил идеал терпеливого труженика, путь постепенных реформ, учитывающих национальное самосознание, традиции, уклад жизни русского народа. "Я знаю Русь не по-писаному,— говорит один из любимых лесковских героев Розанов ("Некуда").— Она живет сама по себе, и ничего вы с нею не поделаете. Если что делать еще, так надо ладом делать, а не на грудцы лезть". Может быть, именно потому Лесков как художник не принадлежал ни к одному определенному мировоззрению ("прогрессистскому" ли, "консервативному"), что он всегда был верен жизни, которая неизмеримо богаче любой теории, не может вместиться ни в какие философские, партийные системы.

Писатель сразу же подвергся травле и гонениям со стороны революционно-демократического лагеря. Д. Писарев (причисливший Лескова к "людям отпетым"), В. Зайцев ("Некуда"—"чудище, которое уж совершенно со всякого толка сбивает", "плохо подслушанные сплетни") и другие прогрессисты не останавливались ни перед чем, чтобы опорочить Лескова как бездарного ретроградa, не достойного того, чтобы порядочные, "здравомыслящие люди", по их словам, подавали ему руку, как никчемного автора, обреченного на скорое забвение.

Поставленное Писаревым — Зайцевым клеймо "отвержения" Лескова на десятилетия отпечаталось в русском интеллигентском сознании, продолжало существовать и в последующие исторические периоды. В этом легко убедиться, если прочесть, например, статью С. Венгерова о Лескове (в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона) 1896 года, в которой, хотя и в смягченном виде, бросается в глаза защита нигилизма (даже само это понятие автор берет в кавычки). Характерно, что указанную статью выделяет как наиболее серьезную (из написанных о Лескове) Р. Сементковский, автор вступительного критико-биографического очерка к полному собранию сочинений писателя (СПб., 1902—1903).

* * *

В последнее время вокруг творчества Н. С. Лескова заметно оживились дискуссии, однако интерес к нему проявляется зачастую явно специфический. Так, Г. Померанц (журн. "Дружба народов", № 4, 1994) ловко использует полемическое высказывание Г. Федотова, где произвольно извлеченная из лесковского рассказа "Чертогон" (причем "рождественского рассказа", заканчивающегося, по традиции, обращением к празднику, к вере. — **Т. О.**) дикость и дурь связывается с историческими событиями в России: разинщиной, пугачевщиной, всякой "смутностью", даже ленинщиной, — чтобы, как гвоздь, вбить в голову тем, кто это все читает, что корень зла в национальной основе русского характера. (Кстати, Г. Федотов особенно люб нынешним проводникам этой идейки тем же своим нигилизмом по отношению к Московской Руси, которую считал источником всех бед в последующей истории государства, в том числе — и советского периода, причиной большевизма.)

Другой "почитатель" Лескова, Л. Аннинский, вот уже много лет кругами бегающий вокруг блохи из знаменитого сказа о Левше (злорадствующий, раздувающий "проблему" подкованной, но не прыгающей блохи) дарит читателю все новые и новые столь же проблемные статьи. Примечательно, что названный литературовед, можно подумать, давно подготавливал общественное мнение к своеобразному прочтению писателя в то время, как в "демократическом" котле вываривалась идея разгосударствления, перевода страны на новые, "цивилизованные" рельсы. Еще за пару лет до августовского "путча" он с блошиной активностью выискивал у писателя "казусы" (говоря лесковским языком), в которых обнаруживалась бы "народная глупость",— все то, что порочит русский народ, пуская в ход все средства для достижения своей цели.

Известно, что сам Лесков считал своей главной задачей создание положительного героя (впрочем, как и Гоголь, во многом и подвигнувший его на это своей заповедью возвеличить "в торжественном гимне незаметного труженика" и "сказочное русское богатырство"; как и Достоевский с его призывом показать во весь рост "положительно-прекрасного" русского человека, которому можно было бы поклониться, что он и стремился сделать в своих творениях, и прежде всего в романе "Идиот"). Целый том своего собрания сочинений Лесков посвятил праведникам; и в дореволюционное, и в советское время выходили специальные сборники его рассказов (например, "Русские Богоносцы", СПб., 1880; "Легендарные характеры", М., 1989), посвященные этим "прямым и надежным" людям.

Какую "блоху", казалось бы, можно выискать в праведниках? Но выискивается (впрочем, каждый, говорят, видит то, что носит в сердце). Так, в своей книге "Три еретика" (1988 г.) Аннинский доказывает тщетность и бессмысленность поиска Лесковым положительных типов русских людей. Вскоре лесковед побывал в Орле, в Доме-музее писателя и, посидев там за столом "лектора", "возле бюста Патрона (Лескова. — **Т. О.**), пронзающего пространство зала неистовым взором", осчастливил "орловскую интеллигенцию" самыми свежими своими мыслями о "Патроне", призывая читать Лескова "свежими глазами". Затем он просветил и всесоюзную (тогда еще) читательскую аудиторию, поделившись с нею своими новыми открытиями в лесковедении (еле вместившимися на газетной полосе —"Правда", 1989): "праведника от татя не отличаем", "честных нет, но все — святые". В сюжете "Несмертельного Голована" Аннинский видит один "шантаж и вымогательство", по его убеждению, праведники на Руси — ну, "очень русские" — "кентавры добра и зла", "незлобия и агрессивности": они служат "самой изощренной и неправедной лжи" и "миру, который смеется над ними". И "так и эдак" выходит: "праведность обречена, непрактична, невоплотима" в этой русской "крючкотворной антижизни" и т. д. и т. п.

Что бы сказал по поводу этих оскорбительных, русофобских выпадов Лесков, который "вырос в народе", любил его и, критикуя нередко, стремился поднять его духовно, нравственно... Лесков, который "буквально изнемогал душою", если кто-то пытался превратить литературу в "лавочку", "в которой выгодно торгуется тем или иным товаром" на потребу замкнутого кружочка лиц, способных ради своих расчетливых замыслов все перевернуть и перемешать. По вине таких "умников", как заметил другой великий борец с нигилизмом Достоевский, получается, что "негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута". Не в виде ли шута предстает русский писатель в глазах иных лесковедов, которые с помощью манипуляций оставляют от него "рожки да ножки", превращая нередко в "праздник абсурда" (выражение Аннинского).

Тем же "праздником абсурда" Аннинский угощает и учителей, и школьников, натаскивая их, регулярно публикуя в приложении к газете "Первое сентября"— "Литература" и в журнале "Литература в школе" (членом редколлегии которой является) вот такие, как выразился бы Лесков, смутительные уроки: "Поговорка о туляке — насмешливая: кому подкованная блоха нужна?" (газета "Литература",

№ 1, 1994). Та же неумирающая "блоха" прыгнула и в № 19 той же газеты, где дошли уже руки и до "Очарованного странника." Упомянутый автор называет эту прелестную повесть даже "чудищем", приписывает Лескову антипатриотическую, "ядом напоенную", "многослойно-коварную интонацию".

Тот же "пафос"— и в высказываниях Аннинского-телеведущего, который делает свои "литературные открытия" в унисон с градом телеразглагольствований о нашей нецивилизованности, отсталости, варварстве, исторической абсурдности, творческой неполноценности и т. д., все в духе ядовитой нигилистической шутки, что в России "даже кнута и того сами не выдумали". Интересно опять-таки, что бы сказал телеведущий в воображаемой беседе с Николаем Семеновичем, который не без желчи, мягко говоря, относился к подобным "шуткам" падающих ниц перед Западом поклонников "прогресса". Любопытно, что, фальсифицируя лесковский текст, он еще берет в "союзники" самого писателя. Так он резонерствует: "Когда разваливается одряхлевшая диктатура и из-под ярма вихрем вырываются безумные демократические страсти, и крутятся по старому кругу междоусобная рознь и первобытная ненависть, — начинаешь подозревать, что не Семнадцатый век проступает из-под Двадцатого, а нечто куда более глубокое и древнее: хитрый степняк косится из-под наскоро оглашенного христианина. Тут нам становится нужен Лесков".

И школьнику известно, что превращать наших русских предков-земледельцев в кочевников, степняков — это все равно что делать англосаксов — папуасами, а французов — эскимосами! В духе известного космополита, русофоба Варфоломея Зайцева, увидевшего в пророческом романе Лескова "Некуда" "чудище", варфоломеи зайцевы наших дней (уже не в открытую, а приемами, более изощренными) делают из лесковских подвижников (по словам их создателя, напоенных одним христианским духом) —"чудище", варвара, "степняка".

А ведь есть, оказывается, оригинальный способ "изничтожения" лесковских праведников, о котором хорошо сказал В. Розанов в отношении критиков-нигилистов к Пушкину: "Встретить его тупым рылом. Захрюкать. Царя слова нельзя победить словом, но хрюканьем можно... Три рыла поднялись к нему и захрюкали.

Не для житейского волненья...

— Хрю!

— Хрю.

— Еще хрю.

И пусть у гробового входа.

— Хрю!

— Хрю! хрю!

И Пушкин угас. Сгас. "Никто более не читает" (В. В. Розанов. Мимолетное. — М., 1994).

Глубокий, правдивый анализ творчества Лескова, его "праведнического" цикла дает современный литературовед В. Троицкий, отмечающий высокий патриотический пафос героев писателя.

Если иным здешним лескововедам претят объективность исследования наших ученых, то им следовало бы хотя бы поинтересоваться опытом зарубежных специалистов. Иностранцы — не в пример им — более добросовестно относятся к своему делу, стремятся объективно оценить, к примеру, смысл подвижничества, характеры героев Лескова. Американский исследователь X. Маклин, автор интереснейшей книги "Николай Лесков. Человек и его искусство"[1], уделяет несколько глав лесковскому "праведничеству", причем само это понятие — как уникальное, русское — часто пишет по-русски в английской транскрипции. Он считает, что, несмотря на сложность задачи, Лескову удалось убедительно показать положительные характеры, которые имели и своих реальных прототипов (об этом подробнее пойдет речь дальше. — **Т. О.**). Далекий от понимания ортодоксального православия, Маклин тем не менее делает вывод, что добродетелие — в крови праведников. Посвятив, скажем, главу "Левше", профессор калифорнийского университета в отличие от здешних "одемократиченных" лескововедов выделяет, в первую очередь, "замечательный патриотизм" талантливого оружейника-самоучки, покорившего западных мастеров этого дела, и его дружелюбие к англичанам, отсутствие национальной спеси. По этому поводу американец даже вступает в полемику кое с кем из советских исследователей, считая "верхом иронии" сравнивать патриотизм Лескова с "патриотизмом бьющего по столу ботинком Хрущева".

Можно понять американского исследователя, занимающегося поисками модных на Западе фрейдистских комплексов у лесковских героев, но американцу даже в голову не пришло написать, что сюжет "Несмертельного Голована"— это "шантаж и вымогательство". Тем более не мог он увидеть яд в патриотизме Лескова, ибо у каждого народа есть свои Франциски Ассизские, свои донкихоты. О донкихотском начале в лесковских героях как раз и пишет заокеанский автор, ибо писал о русских донкихотах с любовью и сам Лесков, считая, что Россия необычайно богата такими характерами — благородными и великодушными.

Не раз повторял Лесков слова английского историка Карлейля, высоко

ценимого им: "... Кротко сияющий луч спокойно совершает то, что не в состоянии сделать свирепая буря". И если есть даже один такой человек-"луч",— зло нельзя считать всеобщим.

Стремление к той же объективности — и в библиографической работе швейцарской исследовательницы И. Мюллер де Морог[2], которая в своем тематическом указателе по творчеству писателя выделяет такие, скажем, понятия, как "патриотизм" и "христианское благочестие". О положительных женских типах в творчестве русского классика размышляет историк и искусствовед из Бельгии Каролина де Мэгд-Соеп[3], отмечающая влияние византизма, догматов церкви и уникального, по ее словам, исторического документа —"Домостроя" на мировоззрение русского человека.

Посвящая отдельную главу "русскому супермену Ивану Северьяновичу Флягину", "очарованному страннику", литературовед из Калифорнии Маклин, к примеру, замечает и такую "деталь": русский герой обладает, по его словам, совершенно иной "грамотностью", нежели та, которую дает нам чтение газет, "mixture of newspapers" ("мешанина из газет"), что зорок он духовным зрением, исходящим из глубин Евангелия, Жития Тихона Задонского... Именно это чтение становится источником его духовных прозрений. (Кстати, особый интерес к личности Тихона Задонского проявлял и Достоевский.) Сравнивая "очарованного странника" с героем древнерусской "Повести о Горе и Злосчастии", американский исследователь считает, что, в отличие от него, монастырь для Флягина — не финал жизни. Предчувствуя "всегубительство" на Руси, слыша "провещающий дух", который "все свое внушает: "ополчайся", Иван Северьяныч испытывает, как писал Лесков, "протягновение на подвиг", готовность умереть за свой народ, о чем с подлинным уважением пишет американский автор. Он подчеркивает способность русских к самопожертвованию.

Та же жертвенность — предмет особого интереса и другого американского исследователя, Стивена Лаперуза, который на недавней встрече с сотрудниками Института мировой литературы говорил об актуальности в современной мировой цивилизации такого духовного феномена, как русская самоотверженность. Именно такие ценности, по его мнению, способны противостоять в современном мире американскому цивилизованному потребительству — рационалистичности и прагматизму.

Кстати, в своем фундаментальном труде о Лескове соотечественник Лаперуза упомянутый Маклин замечает "парадоксальный эффект", которого добивается Лесков-художник: за обманчивой, порою отталкивающей внешностью героя он умеет, не впадая в сентиментальность, показать его удивительную человеческую теплоту, великодушие. Американца, в отличие от иных здешних лескововедов, интересует, почему народ творит легенды о таких, как тульский Левша, и почему писатель ставит его в один ряд с богатырями из русских преданий. Вообще иностранные исследователи уделяют много внимания фольклорным мотивам в лесковском творчестве, вслед за нашими серьезными учеными стремясь увидеть за каждым словом или делом того же Левши тайну, уходящую в глубины русской истории, в вековую даль. Тайны эти требуют отгадки, фольклорной мудрости. Тут надобно увидеть лицо за маской, за лягушиной шкуркой — царевну, а в Иване-дураке — суметь узнать Ивана-царевича, и тогда герои воскреснут не в страшном, а в прекрасном, своем подлинном облике.

* * *

В романе "На ножах" (в котором тот же Аннинский видит почти одну русскую "дурь") — Лесков предрекает надвигающуюся катастрофу, смертную борьбу между нигилистическими учениями и христианской этикой, "старой правдой", побеждающей в конце концов. Разверзшиеся пропасти, все эти поджоги, заговоры, доносы, убийства, совершаемые с маниакальной жаждой разрушения "людьми без родины", наглыми и невежественными, распутными, сочиняющими между делом острые, злободневные статейки в радикальные издания. ("Бездна призывает бездну", "Темные силы", "Через край"— названия частей романа.) Мужицкая Русь, по мысли серьезного исследователя творчества Лескова А. Горелова, становится в романе полем для махинаций авантюристов, вместе с тем истинные народные защитники (типа Подозерова) подвергаются политической дискредитации и травле и выглядят какими-то чудаками (в том же виде шутов, которые со временем превратятся в "чудиков". — Т. О.) Один из персонажей романа, циник нигилистического закваса, способный на любые провокации, пытается "сочинить бунт среди невозмутимой тишины святого своим терпением края", а затем требует из города войска для подавления мнимого крестьянского восстания.

Гиперболичность у Лескова более чем правдоподобна. Возьмите такой тип чудовищного нигилиста, как Варнава Препотенский, учитель, "проводник научного знания" ("Соборяне"). Решив доказать своим ученикам, что души нет, так

как она нигде не помещается, он варит труп утопленника и выставляет кости в доме матери-просвирни у окна, выходящего на храм. Занимаясь поисками всего написанного Лесковым — публицистом, в одной из газет того времени я наткнулась на заметку о некоем лекаре Борхмане, разрывшем на кладбище могилу и унесшим отрубленную им голову трупа домой для дальнейших научных опытов.

Русского писателя мучило предчувствие и более глобальных социальных сатанинских экспериментов, о чем с особой силой сказал он в романе "На ножах", завершающемся пророческими словами Подозерова (обращенными к священнику Евангелу): "Да, да, нелегко разобрать, куда мы подвигаемся, идучи этак на ножах, которыми кому-то все путное в клочья хочется порезать; но одно только покуда во всем этом ясно: все это пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить".

И тут интересно привести высказывание В. Розанова о романе: "Мальчикам и девочкам в правильных русских семьях следовало бы давать читать "На ножах". Это превосходная "прививка оспы". Натуральная оспа не вскочит и лицо не обезобразится, если прочтут роман в 16—17 лет — фазу возраста "как раз перед социализмом". Роман этот, по словам того же Розанова, "хорош, интересен и, конечно, верен, как "списанное *с окружающего*"... Это "Бесы" Лескова, как Достоевский мог бы своих "Бесов" назвать "на ножах"... И вот 2 таких русских человека, как Лесков и Достоевский, произносят о явлении одно и то же слово". "Я своей Русью доволен,— ну вас к черту",— ответил он (Лесков. — **Т. О.**) энергично и *прекрасно* Чернышевскому и "Современнику".

"Надо было иметь огромное мужество, чтобы выступать против варваров прогресса в годы, когда они казались героями,— подчеркивал современник Лескова, выдающийся публицист М. О. Меньшиков.— Лесков знал, что рискует литературною карьерой, и пренебрег этим, он продолжал бороться и.., когда имя его было затоптано в грязь".

Лесков, по словам того же Меньшикова, был "на ножах" и с "циниками либеральной идеи", осквернившими более всего идею народной нравственности, "за нее, именно за эту чистоту скорбел он". Писателю претили и либерально-салонные прогрессисты, с их "чуждательством от русского мира", с их смердяковским пресмыкательством перед Западом, которое исконно чуждо было народной среде.

Кстати, в неопубликованных дневниках и записных книжках М. Меньшикова (хранящихся у его наследников) есть такое место, написанное в день смерти писателя: "1895 год — несчастный для меня год. Большое несчастье — смерть Лескова". Молодой публицист на страницах своего дневника делится мыслями, впечатлениями от произведений писателя, встреч с ним, писем, которые, по его словам, "совершали какую-то подсознательную работу в глубинах" его души. Лесковские советы звучали в нем, где бы он ни был, даже когда он гулял с сыном в парке, "слушал соловья". Но главное, что стало завещанием Лескова Меньшикову,— это призыв к борьбе с пошлостью в литературе (чтобы "сложить на этом свою умную голову"), к "мобилизации всех благородных, одаренных натур", к мужеству в исполнении гражданского и патриотического долга. Характерно, что перед кончиной Николай Семенович завещал молодому публицисту "именно о Достоевском написать ряд статей, поработать над ними основательно".

"Служить Богу в людях, т. е. лучшим человеческим инстинктам, отдать жизнь идее высокой"— вот они, уроки Лескова.

И сегодня мы черпаем у Лескова то, что в наше разрушительное время служит созидательному инстинкту народа.

* * *

Лесков видел в народе ту почву, без которой невозможно появление "подвижников духа", выразителей национального самосознания. В этом он был схож с Достоевским, сказавшим: "Есть праведники и страдальцы за правду — видим мы их иль не видим",— готовые спасти народ в "нужную всеобщую минуту". (Вспомним слова Александра Невского: "Бог не в силе, а в правде".)

"Прошло не время веры и идеалов, а прошло время слов",— убеждал герой лесковской хроники "Соборяне" протопоп Туберозов, чей образ сразу же был отнесен современниками писателя к "категории вечных, то есть таких, которые никогда не забудутся". Как говорил один священник, — тоже современник Лескова (и писатель часто приводил в пример его высказывание): "Время слов прошло — **нужны подвиги**".

За спиной героев Н. С. Лескова — духовные подвиги русских святых (недаром он мечтал создать жизнеописание Нила Сорского). Писатель был убежден, что народ способен служить "общественной пользе", "служить с образцовым самопожертвованием даже в такие ужасные исторические моменты, когда спасение отечества представлялось невозможным..." И в этом он был близок историку В.

Ключевскому, считавшему, что “одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения”.

Герои-праведники не всегда были плодами вымысла художника, многие из них имели своих реальных прототипов.

Только что, просматривая подшивку газет прошлого века, я обнаружила вдруг не учтенную ни в одной библиографии произведений Н. С. Лескова заметку, подписанную псевдонимом писателя, где приводится пример редчайшего бескорыстия и истинного русского христианского “доброделия”. Совершив в 1872 году путешествие на Валаам, “эту незыблемую колыбель русского иночества”, он пишет, как о чуде, — о рождении нового храма на холодном берегу Ладожского озера, как о “залоге великого сближения православных людей”. “Безо всяких огласок, как шептун-трава, скоро и тихо” вырос этот храм, возник благодаря подвижничеству скромного русского человека купца Елисеева...

Соборность. Это достояние России и каждого русского. Об этом много говорят, но многие, возможно, этого не понимают. Вот воздвиг нестяжательный купец Елисеев на отдаленной земле храм. Ну и что, скажете вы? А я вам скажу из своего жизненного опыта: вот в такой же, наверное, храм, созданный доброделием моих прадедов,— в древней Мологе, — полузатопленный потомками нигилистов, ездили на лодках в гонимое время женщины из окрестных деревень, чтобы помолиться и покрестить детей. И храм этот, даже погруженный в мутную воду, несмотря на гонения и угрозы, продолжал служить людям верой и правдой.

В одной из газет, в которой регулярно печатался Лесков, я нашла неизвестную статью без подписи (предположительно написанную Лесковым), в которой идет речь о талантливых русских инженерах, нисколько не уступающих иностранным специалистам. Знаток лесковских прототипов, историк из Тулы В. Ащурков приводит любопытное свидетельство англичанина Джона Джонса из Бирмингема, 17 лет проработавшего главным механиком Тульского оружейного завода. Говоря о мастерстве русских оружейников, Джонс подчеркивал, что “едва ли в Англии найдутся подобные им мастера”. Прославился среди лондонских оружейников талантливый туляк Алексей Сурнин, посланный при Екатерине II в Англию для изучения русскими специалистами зарубежного опыта. Ему предлагали остаться там на выгоднейших условиях, но Сурнин, который был “неутомимым в приобретении успехов в пользу России”, как писал русский посол в Англии, отклонил “такие приманки”, имея “доброе сердце” и “усердную любовь к Отечеству”. Лесков, который интересовался историей тульских оружейников, надо полагать, мог знать и о судьбе этого незаурядного инженера-патриота, и, по мнению тульского краеведа, факты из его жизни могли подсказать писателю образ Левши.

Кстати, вопрос о прообразах лесковских героев всегда интересовал зарубежных исследователей, что видно и в упомянутых работах швейцарки Инэс Мюллер де Морог и американца Хью Маклина, увлеченного поисками прототипов того же Левши, русских донкихотов. Очень симпатичен американцу “орловский джентльмен Илья Иванович Козюлькин”, кромский дворянин, который, по словам самого Лескова, был прообразом его Дон-Кихота — Доримедонта Рогожина, героя “Захудалого рода” (такими людьми, по словам писателя, подчеркивавшего (в письме И. Аксакову) историческую достоверность, непридуманность своих персонажей,— “кишели мелкопоместные губернии”). Так же, как литературный герой с его благородной стойкостью (“Меня перервать можно, а вывернуть нельзя”), реальный кромский Дон-Кихот был — безо всякой “утрировки” — “благороден и честен до того, что требовал, чтобы у него в указе об отставке после слова “холост” было записано: “но детей имеет”. Вечно странствуя, “приют имел” он у богатой орловской помещицы Зиновьевой, послужившей, как считается (вместе с бабушкой Лескова Александрой Васильевной и теткой Пелагеей Дмитриевной), прототипом героини этой “семейной хроники князей Протозановых” Варвары Никаноровны. С теплотой пишет американский исследователь о возможных прообразах жены протопопа Туберозова Натальи Николаевны (“Соборяне”) — в ней также воплотились лучшие черты русских женщин: благородство, самоотверженность, с которыми выполняют эти “маленькие великие люди” свои жизненные обязанности. Об этом прекрасно сказал Лесков и устами своего Туберозова: “Да и вправду, поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, родятся такие женщины, как сия добродетель?”

* * *

Жизненность лесковских образов подвижников с особой убедительностью подтверждается сегодня, в нынешнюю смуту и разруху. Побывав в Орле (в этих заповедных лесковских местах) во время пленума СП России, я поняла, что живет этот дух подвижничества в делах земляков писателя. Лесков звал каждого человека не кивать головой на другого, а делать что-нибудь, может быть, и невеликое, на первый взгляд,— на благо России. И орловцы делают сегодня более того, и в

наше убийственное время они не опозорили светлой памяти своего великого земляка.

Глава администрации Орловской области Егор Семенович Строев рассказал о положении дел в области, о том, что делается, чтобы обеспечить социальную защиту трудящихся, начиная от цены на хлеб (тогда была вдвое дешевле, чем в Москве) и кончая заботой о детях, которые, как в недавние времена, имеют возможность бесплатно проводить лето в пионерлагерях. Даже странной показалась нам, москвичам, относительная нормальность местной жизни.

Дорога из Орла привела писателей в Никольско-Вяземское, где восстановлена родовая усадьба Толстого и церковь, там выросла деревня, построены школа и культурный центр, новые жилые дома (в том числе и для беженцев из бывших советских республик). И все это — благодаря местным подвижникам — директору Тульского оружейного завода В. Усову (и коллективу рабочих), а также главе администрации Чернского района Тульской области А. Волкову.

В. Ганичев, более 10 лет связанный с этим краем, организовавший здесь праздник "Бежина луга", как о чуде говорил о том, что ежегодно на этой земле возникают все новые и новые культурно-просветительские заведения...

Прав был Лесков, утверждавший: "У нас есть люди, которые в буквальном смысле совершали и совершают *чудеса*, свидетельствующие о необычайной способности русского человека устроять изумительные дела не только без всякого содействия властей, но даже при самом старательном их противудействии". И подвиги сегодня от них требуются не меньшие, чем от лесковского героя Голована, когда тот входил для оказания помощи страждущим в зачумленные язвой лачуги, ибо люди сегодня зачумлены "демпропагандой", телевизионными бесами, и тут, как сказал бы мудрый Николай Семенович, нужен тот самый "чертогон", "иже беса чужеумия испраздняет".

И вера у этих русских людей —"ПРИРОЖДЕННАЯ" (как писал Лесков), и живет она у человека "не в далеком отвлечении", а "по-домашнему, за пазушкой" — где бы этот человек ни был, — хоть "на краю света", например, в Башкортостане, как подвижник из Уфы М. Чванов (с которым мне довелось познакомиться в поездке по Орловщине). Тихий, немногословный, отнюдь не богатырского телосложения, он и есть подлинный богатырь, подвижник духа, хранитель русского культурного наследия, как надежный мост, соединяющий Россию с культурами других народов.

Вспоминая застенчиво-невеликий Орлик (где нет-нет, да и всплеснет, как бывало, "резвый окунь"), откуда "жертвица" "несмертельного Голована" прошла по всей Руси великой, хотелось бы верить, что отсюда каким-нибудь чудом, что ли, и начнется оздоровление России, нашей жизни, ибо у нас не переводились да и не переведутся люди той драгоценной породы, которых так любил Лесков и считал, что они сильнее других делают историю. Это поистине "однодумы" о родине своей, "мягкосердечной Руси", — своим самоотверженным "умным деланием", ежедневным сопротивлением злу они теснят зло, обязательно завоевывая что-то для жизни, для России. С тихой русской доблестью, скромно, как "шептун-трава", делают они свое дело в школах, в библиотеках (см., например, уроки по Лескову — журнал "Литература в школе", № 5, 1993), воодушевляя детей, воспитывая в них то, что Лесков называл "прямою добродетелью гражданина" (как заведующая читальным залом одной из московских детских библиотек Н. Мартыненко), и вручая им незаметно "одолень-траву" (любимое слово писателя С. Шуртакова) для борьбы со злыми силами, "веяниями".

Хоть труд этих "прямых и надежных" людей, может быть, уничтожит и не все зло жизни, главное-то в том, что они не дают расползтись ему по всей земле. Главное — не унывать и даже сейчас радоваться каждому доброму лицу, каждому доброму делу.

Время подтвердило мысль Н. С. Лескова об особой судьбе России, в недрах которой, несмотря на неправедность социального строя, спасен в народе праведнический идеал. Вспомним еще раз девиз Лескова: "Бодрый, мужественный пример часто служит на пользу ослабевающим и изнемогающим в житейской борьбе. Это своего рода маяки. Воодушевить угнетенного человека, сообщив его душе бодрость,— почти во всех случаях жизни — значит с п а с т и его, а это значит более, чем выиграть самое кровопролитное дело".

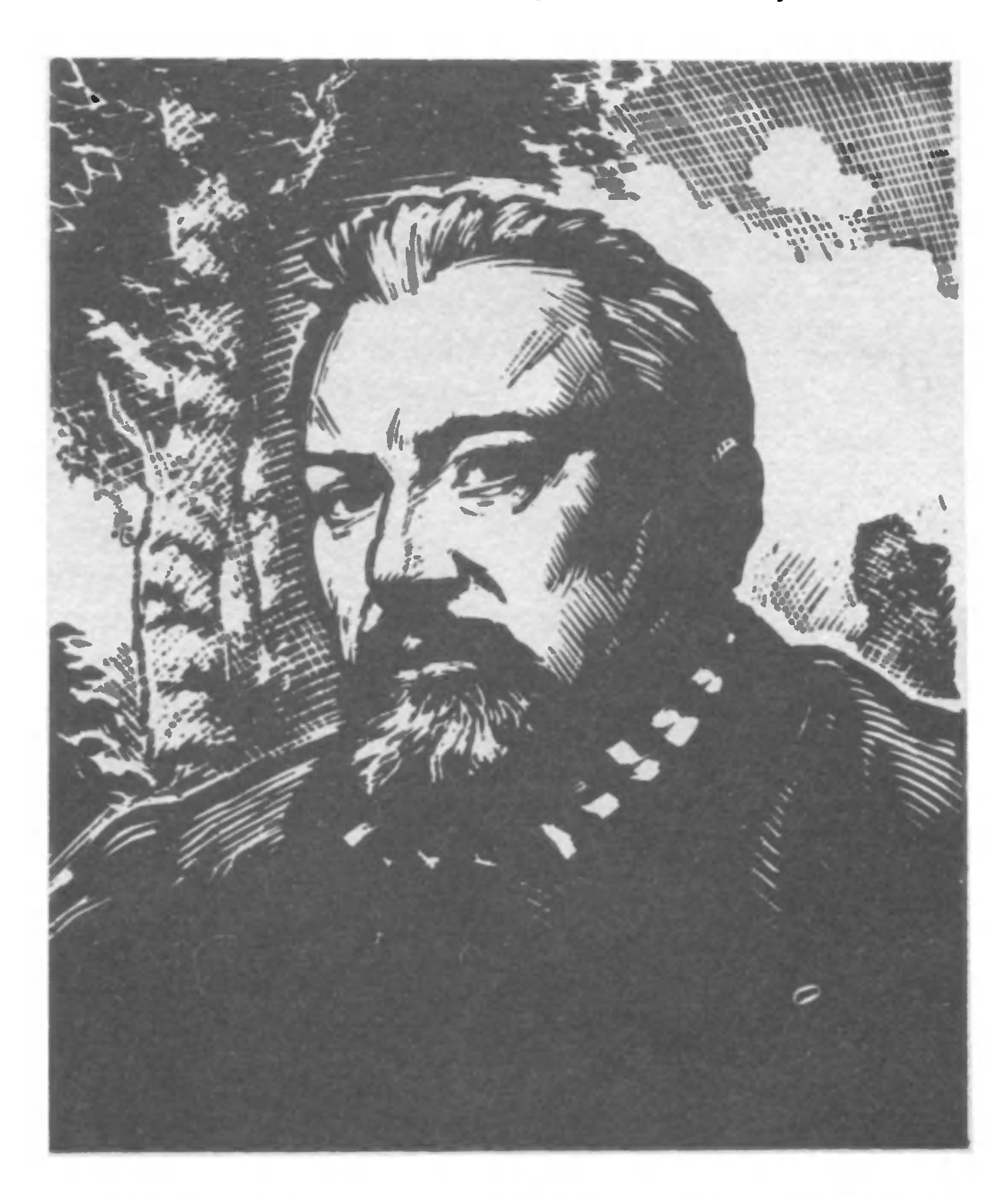
ЛИТЕРАТУРА

1. McLean, Hugh. Nicolai Leskov. The Man and His Art.— Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1977.

2. Muller de Morogues, Inès. L'oeuvre journalistique et litteraire de N. S. Leskov. Bibliographie. Peter Lang, Berne, Frankfort-s. Main, New York, 1984.

3. De Maegd-Soëp, Carolina. The Emancipation of Women in Russian Literature and Society. A Contribution to the Knowledge of Russian Society during the 1960's. Ghent State University, 1978.

Н. С. ЛЕСКОВ (1831—1895)



Более ста лет назад на вопрос, каким ему представляется будущее России, Лесков ответил, что она может пойти двумя путями: "Придут, может быть, немцы, шведы, какие-нибудь новые норманны и завоюют нас... Может быть, и это будет. А, может быть, все будет хорошо у нас; и обязательное образование, и община, и национальные вопросы — все устроится к общему благополучию". Поразительная точность прогноза, умение смотреть "в долготу дней" этого "писателя будущего", как называл Лескова Л. Толстой. Действительно, сейчас Россия стоит на перепутье. Ей реально грозит завоевание "новыми норманнами" (скорей всего, американцами). Это превращение России в колонию свершится не иначе, как с помощью наследников тех нигилистов, с которыми всю сознательную жизнь воевал Лесков, — "нетерпеливых" "перестройщиков", общечеловеков — "людей без родины", которые бесовской тучей обложили нашу страну и готовят ей погибель. Но есть и другой путь у России, когда "все будет хорошо у нас".

"Время гнусное, — говорил писатель, — но тем теснее надо добрым людям стоять друг возле друга и поддерживать друг в друге веру в человека". Веру в постепенное улучшение благосостояния и общественных порядков в России, подъем ее науки и культуры, улаживание межнациональных отношений. Лесков заявлял, что он "за реформы — всегда, за утопии — никогда". Будем же держать эти его слова в памяти. Тогда мутная пелена всякого рода утопий исторических "нетерпеливцев" (вроде Хрущева с его программой построения коммунизма в СССР к началу 80-х годов или сонма нынешних "перестройщиков" с их программами создания у нас "капиталистического рая" в "500 дней" и прочие кратчайшие сроки) не заслонит от нас предназначенного России пути национального оздоровления.

Вся жизнь его была гражданским подвигом. И подвижниками были его главные герои. Материал о Лескове, который бедствовал, но всегда оставался верен себе, писал только то, что считал "честным и полезным", никогда не кланялся властям предержащим и не был "фаворитным писателем", "перевертнем", умеющим "держать нос по ветру", — читайте на стр. 186.

Цена договорная Индекс 73274

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Новый 1995 год — год Великой Победы над фашизмом — ознаменовался для редакции "Нашего современника" началом самостоятельного юридического бытия в качестве негосударственной некоммерческой организации культуры.

Это значит, что у нас есть теперь свой финансовый расчетный счет (в том числе даже валютный).

Это значит, что мы теперь напрямую отвечаем перед вами за своевременность и качество выпуска журнала (за доставку по-прежнему отвечает почта).

Это значит, наконец, что отныне только ваша поддержка — и подписка, и посильные пожертвования — обеспечит выживание "Нашего современника", начавшего "свободное плавание" в бурных водах безжалостного к культуре "дикого" рынка.

...Всякое даяние — благо; мы будем сердечно признательны любому из вас и за скромную лепту, и за спонсорский взнос на частичное покрытие растущих вместе с ценами убытков по изданию журнала.

Давайте же все вместе сохраним "Наш современник" — культурное достояние патриотической России!

Сообщаем для всех наших друзей, единомышленников и меценатов новый юридический адрес журнала и реквизиты нашего расчетного счета:

Россия, Москва, 103750 ГСП,
Цветной бульвар, дом № 32, строение 2

р/с 61700807 в Московском филиале
"Тверьуниверсалбанка"

по Москве и Московской обл.:
код участника ТС, условный номер по МФО 997812,
номер 8-значного МФО 44585210

по России и СНГ:
корреспондентский счет 210161600 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ,
код участника Н6, МФО 201779, номер 8-значного
МФО 44585000

Валютный счет: 6 МР 070123/001
в Новослободском отделении "Тверьуниверсалбанка"